ЧЕЛОВЕК, УВИДЕВШИЙ МИР

Александр
ХАРЬКОВСКИЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Я понял трагедию человека, который мечтает, чтобы люди любили друг друга, но не может осуществить свою мечту. И мне открылась его наивная, красивая и вместе с тем реальная мечта. Может быть, мечта эта – вуаль, скрывающая трагедию художника? Я тоже был мечтателем, но я желаю автору не расставаться со своей детской, прекрасной мечтой. И призываю читателей войти в эту мечту, увидеть настоящую радугу и понять, что мы не сомнамбулы.

- Александр ХАРЬКОВСКИЙ
  - (Документальная повесть о В.Я.ЕРОШЕНКО)
  - Глава I. РОССИЯ (1890 – 1914)
  - Глава II. ЯПОНИЯ. (1914 – 1916)
  - Глава III. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (1916 – 1919)
  - Глава IV. ЯПОНИЯ (1919 – 1921)
  - Глава V. ПРИМОРЬЕ
  - Глава VI. КИТАЙ (1921 – 1923)
  - Глава VII. НА РОДИНЕ (1923 – 1952)
  - "ЕРОШЕНКО ПРОМЕЛЬКНУЛ, КАК ЗВЕЗДА"
  - ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. Я. ЕРОШЕНКО

Александр ХАРЬКОВСКИЙ

ЧЕЛОВЕК, УВИДЕВШИЙ МИР

(Документальная повесть о В.Я.ЕРОШЕНКО)

ОН ПРИШЕЛ К ТЕБЕ, РОССИЯ!

Мне никогда не забыть жаркий июльский день 1921 г., когда в мой кабинет руководителя "красного" профсоюза рабочих Китайско-Восточной железной дороги вошел высокий стройный мужчина с чистым русским лицом, но с плотно закрытыми глазами и спросил, не могу ли я помочь ему уехать в Советскую Россию. Он был слепой, и под руки его поддерживали двое японцев, видимо студентов. Помнится, я сказал, обращаясь к ним:

– Вот вы физически зрячие, а привел вас сюда человек, который видит сердцем. Но дорогу выбрал он. И дорога эта – верная…

А потом спросил Ерошенко, почему он пришел к нам, к большевикам. И он ответил, что большевики на Дальнем Востоке – сила, что советская власть пришла в Дальневосточный край навсегда. А я заметил, снова адресуясь к японцам:

– Есть вещи, которые видны даже слепому, а некоторые зрячие видеть их отказываются.

Потом Ерошенко сел за пишущую машинку, отпечатал свою автобиографию и просьбу разрешить ему проезд до советской Читы – эти дорогие для меня документы и сейчас хранятся в моем архиве. После семилетних скитаний по Востоку он очень хотел скорее попасть домой. Я попытался ему помочь, но сделать тогда ничего не смог – сложная была в Харбине обстановка. Ерошенко уехал в Шанхай. Но я продолжал следить за судьбой этого удивительного человека.

Впрочем, услышал я о Ерошенко много раньше. Мы с Василием Яковлевичем ровесники (я старше его всего на три недели), бывали мы в одно и то же время в Японии и Китае, у нас были общие знакомые – А. Н. Шарапова, Д. Л. Арманд, С. М. Третьяков. Кроме того, нас объединяли общие идеи – мы, большевики, считали "красного пропагандиста" Василия Ерошенко нашим товарищем по революционной борьбе. И хотя встречались мы не часто, линии наших жизней соприкасались.

Вскоре после окончания русско-японской войны я несколько раз приезжал в Японию. Вспоминаю, как в 1914 г., посетив токийскую школу слепых, я увидел среди ее студентов высокого

русского парня – Василия Ерошенко. К сожалению, тогда мы с ним не познакомились, но мне было радостно, что среди японцев учится русский – мне это казалось предвестием той грядущей эпохи, когда между нашими странами установятся дружеские отношения.

Потом на какое-то время Ерошенко исчез из поля моего зрения. Снова я услышал о нем, когда британские власти выслали его из Индии и он бежал с английского корабля в Шанхае. После этого я следил за его выступлениями в Японии, на митингах и съездах социалистов. Радовали меня и его публикации в японской печати – стихи, сказки. Дело в том, что в годы революции я участвовал в борьбе с белыми на Дальнем Востоке, в строительстве ДВР и живо интересовался революционным движением в хорошо знакомой мне Японии.

О высылке Ерошенко из этой страны я узнал из газет. Мы могли бы встретиться с ним во Владивостоке, но как раз в те дни прихвостни японцев, купцы Меркуловы, совершили там контрреволюционный переворот, и нам, революционерам, пришлось отступить в сопки.

Только участник тех волнующих событий может до конца представить себе, какой гнев в сердцах тысяч людей вызвали арест и высылка Василия Ерошенко. Об этом писали прогрессивные газеты ДВР, Китая, Японии, Индии. Горячо протестовал великий китайский писатель Лу Синь. Подумать только: слепого человека бросают в тюрьму, избивают и "как большевика" в сопровождении японского жандарма отправляют во Владивосток – на расправу к белогвардейцам.

А как ведет себя Ерошенко? Быть может, он юлит, скрывает свои идеалы? Как бы не так! На вопрос во владивостокском порту, не большевик ли он, Ерошенко скромно и гордо отвечает: "Большевизм я пока только изучаю!" О жизни Ерошенко вы прочтете в документальной повести А. Харьковского. Я же как участник описываемых событий хочу добавить следующее: над Ерошенко во Владивостоке готовился суд, точнее расправа, но наши товарищи его вовремя предупредили, и он успел уехать. А сколь коварно умели расправляться со своими врагами японские милитаристы и их прихвостни, я хорошо помню. Вспоминается, как в 1920 г. японские офицеры пришли к нам, представителям ДВР, с красными бантами на гимнастерках, уверяя, что они теперь тоже "барсуки" (так выговаривали они слово "большевики"), а на следующий день неожиданно арестовали революционное руководство Владивостока, и в том числе моих друзей – С. Лазо, В. Сибирцева, А. Луцкого. Все они были сожжены в паровозной топке.

Ерошенко был врагом японских реакционеров. Люто ненавидел он и их ставленников, белогвардейцев. Об этом он сам писал в своих "Записках о высылке из Японии". Об этом же свидетельствуют товарищи, помогавшие ему на его пути в Советскую Россию. Встретив Ерошенко в Харбине, я обрадовался, что ему удалось добраться туда живым и невредимым.

Возвращение писателя на родину оказалось нелегким и непростым. Но я хочу подчеркнуть, что он никогда не отрывался от своей страны. Отправившись в Японию в 1914 г., он бежал от суровой действительности царской России, где ему была уготована судьба нищего слепого музыканта. Перешагивая через языковые барьеры, обучая детей в Таиланде, Бирме и Индии, читая лекции по русской литературе в университетах Китая и Японии, Ерошенко всюду был представителем своей страны.

Хочу для иллюстрации рассказать об эпизоде, который не вошел в данную книгу. В 1922 г. Ерошенко приехал в Москву. Восемь лет он не был на родине и теперь хотел остаться здесь навсегда. Но известный писатель и публицист С. М. Третьяков, незадолго до того возвратившийся из Китая, очень просил Ерошенко вернуться еще на год на преподавательскую работу в Пекинский университет – до тех пор, пока в Пекине не начнут читать лекции советские профессора Б. Васильев и А. Ивин. И Ерошенко вновь отправился в Китай.

Василий Яковлевич горячо любил свою Родину, новую Россию. Едва услышав о том, что произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, он сразу же из колониальной Бирмы стал пробираться домой. О своей революционной стране он рассказывал в Индии, Японии, Китае, за что и подвергался арестам и высылкам. В книге говорится о восторженном отношении Ерошенко к вождю революции В. И. Ленину, о вере Ерошенко во власть рабочих и крестьян. Люди, знавшие В. Я. Ерошенко лично, могут подтвердить: так оно и было.

Василию Яковлевичу досталась нелегкая доля: ему, слепому, приходилось к тому же бороться за наши идеалы вдали от родной земли. Но тем более достойны удивления и восхищения его политическая зоркость и упорство. Я бы сказал, что у него было зоркое сердце, которым он чувствовал правду. Мне хочется сравнить его с маленьким кораблем, бороздившим дальние моря под красным флагом.

Признаюсь: мне очень близок этот добрый, чем-то похожий на ребенка человек, известный путешественник и писатель. Его написанные по-японски сказки настолько проникнуты русским духом, что о них можно сказать: "…Здесь Русью пахнет". Понятно мне и его увлечение эсперанто. В эпоху революции многие

увлекались этим языком, мечтая о том, что он поможет объединить разноязыких пролетариев всех стран. В числе эсперантистов были и большевик-дальневосточник Всеволод Сибирцев, и японский коммунист Акита Удзяку, и сам Лу Синь. А в том, что Ерошенко возлагал на язык эсперанто особые, подчас и несбыточные надежды, сказался максимализм слепого поэта. Автор книги поступает верно, когда, рассказывая о своем герое, не скрывает ни его увлечений, ни противоречий в характере Ерошенко: его несколько абстрактной веры в братство народов, наивный гуманизм – все, что слепой поэт преодолевал по мере своего идейного роста.

Документальная повесть Александра Харьковского – плод долгого труда и упорных изысканий. Он взялся за нелегкую задачу: рассказать о человеке, который сравнительно недавно стал известным у себя на родине. В 1977 г. Главная редакция восточной литературы выпустила "Избранное" В. Ерошенко. Однако и после этого ряд произведений (в их числе пьеса "Персиковое облако") остаются неизвестными русскому читателю. Я уже не говорю о жизненном пути слепого поэта – в СССР о нем долгое время знали лишь по небольшим журнальным публикациям.

Как же создавалась эта книга? Во-первых, автору удалось собрать многое из написанного Ерошенко на языках Запада и Востока – а это было весьма непросто, ведь слепой писатель публиковал свои произведения подчас в очень редких теперь журналах, печатавшихся либо выпуклым шрифтом, по Брайлю, либо обычным, плоским шрифтом. Во-вторых, эти тексты (что немаловажно) нужно было прочесть – большинство из них написаны либо по-японски, либо по-китайски, либо на эсперанто. В-третьих, необходимо было записать воспоминания друзей и современников слепого поэта, живущих в Англии, Франции, Германии, Японии, Бирме, Таиланде, Индии, Китае и у нас, в СССР – в Туркмении, на Чукотке. В-четвертых, все это следовало объединить определенной авторской концепцией. Немалую помощь оказали автору работы других исследователей творческого и жизненного пути В.Ерошенко (прежде всего Р.С.Белоусова), а также переводы, выполненные японоведами и китаеведами.

Рассказывая о творчестве Ерошенко на Востоке, А.Харьковский не только приводит много неизвестных даже нам, знавшим Ерошенко, фактов из жизни этого человека, но и знакомит русского читателя, насколько это возможно в объеме документальной повести, с произведениями Василия Ерошенко.

Всюду, где позволяет материал, автор книги оставляет читателя наедине с ее героем, давая высказаться самому Ерошенко. И этот прием мне кажется правомерным: читателю, мало знающему о Ерошенко из других источников (они немногочисленны), нужно знать, где в повести документированные факты, а где авторский домысел. А. Харьковский почти всюду предоставляет ему эту возможность. При этом автор широко пользуется воспоминаниями героя о его детстве, о путешествии по Чукотке, сказками и стихотворениями, написанными в России, Япония и Китае.

Должен признаться, что даже мне, знавшему Василия Ерошенко на протяжении большей части его жизни (в последний раз я разговаривал с ним в Москве, незадолго до его смерти), он по-настоящему открылся именно сейчас, после прочтения книги А. Харьковского.

А. С. Пушкин как-то заметил, что нет науки более занимательной, чем следовать за мыслями замечательного человека. Книга А. Харьковского предоставляет нам такую возможность. С ее помощью к нам возвращается наш замечательный соотечественник, поэт Востока – сын России. И предваряя рассказ о его жизни, я бы хотел, чтобы Василий Яковлевич Ерошенко, его судьба и его сказки, стали так же популярны в СССР, как они популярны на Востоке. Это была мечта и самого Ерошенко, видевшего в своей Родине сказочную "Страну Радуги".

Н. Н. Матвеев-Бодрый,

Участник Гражданской войны на Дальнем Востоке

Глава I. РОССИЯ (1890 – 1914)

Ранняя ночь

"Я слепой. Ослеп я четырех лет от роду. С мольбой, весь в слезах покинул я красочный мир солнца. К чему это, к добру или злу, я еще не знал. Ночь моя продолжается и не кончится до последнего моего вздоха. Но разве я проклинаю ее? Нет, вовсе нет.

Слепой писатель мистер Хаукс писал в своем "Проклятии черной тропы": "Солнце в небе подарило мне видимый мир с его открытыми для всех прелестями – ночь раскрыла передо мной вселенную – бесчисленность звезд, бескрайность пространства, удивительную загадку жизни. И если ясный день познакомил меня с миром людей, то ночь приобщила к миру божьему. Конечно, она принесла мне боль, вселила в душу робость. Но только ночью я услышал, что звезды поют, почувствовал себя частицей природы и познал то, что управляет всем сущим".

Так пишет человек, который в детстве лишился ноги, а в пятнадцать лет ослеп. И все-таки, несмотря на все это, стал известным писателем-натуралистом и прославился в Америке своими рассказами из жизни зверей.

Мог ли я мечтать для себя о чем-то похожем? Живи я, как он, в лесном доме, среди родных и близких, быть может, и я когда-нибудь смог бы сказать о себе нечто подобное. Но, тоскуя вдали от полей и лесов, я вынужден жить в духоте и шуме гигантских городов… где уж сквозь их грохот пробиться тихому пению звезд и приобщить меня к таинствам природы!"

Так начинается автобиография Василия Ерошенко. Этот человек никогда не знал дня: только забрезжило утро, и для него сразу наступила тьма. И все-таки жизнь его началась со света. Четыре года он жадно смотрел на мир и успел вобрать в свою память и засохший лист, и персиковое облако, и орла, и бабочек, догоняющих солнце, – все то, что хранил затем в бесконечной ночи и оживил на страницах своих сказок.

Четыре года, много это или мало? Лев Толстой говорил, что несколько детских лет дали ему столько же впечатлений, сколько вся остальная жизнь. С не меньшим основанием мог бы сказать нечто подобное о своих зрячих годах Василий Ерошенко.

Пройдут годы. Ерошенко будет говорить: "Вчера я видел Токио", "Какой красивый город Пекин", "Чудесный вид

открывается с Фудзиямы". Он "увидит" пагоды Моулмейна (1), снега Чукотки и пески Каракумов. И все потому, что памяти слепого будет с чем сравнить все это: в сердце его жили и солнце, и лица родных, изба и церковь за окном, деревня и лес, прозрачная речушка Оскол и снежные холмы Курского края – милая родина, где впервые – и так ненадолго – он увидел свет.

Обуховка, родное село Василия Ерошенко, находится недалеко от города Старый Оскол. Всего двадцать верст, и на дороге появляется большая рубленая церковь. Поодаль от нее, в белой кипени вишневых садов, прячутся белые мазанки и крытые соломой темные избы: здесь, на Курской земле, издавна живут сыны двух братских народов – русского и украинского.

Сразу за церковью стояла большая изба Якова Васильевича Ерошенко. Отец его, хлебороб, пришел сюда с Украины. Нажил своим горбом и эту избу, и сад с огородом. Правда, пахотной земли не имел. Зато арендовал бахчи и держал небольшую лавку.

После смерти отца дети разделились. Яков взял к себе мать. Ему досталось хозяйство и изба. Сюда он и привел жену – русскую женщину из Старого Оскола – Евдокию. В 1887 году двадцатилетняя Евдокия родила Якову дочь Нилу, а год спустя и сына – Александра. 31 декабря 1889 г. (12 января 1890 г. по новому стилю) у Якова и Евдокии родился второй сын, и гости в избе радовались и Новому году, и новому человеку. "Наследник родился, помощник" – говорили они, поздравляя мать и отца.

Через несколько дней почти вся деревня собралась в церкви, Стоял солнечный морозный день, а в церкви от дыхания людей было тепло и даже душно. Священник крестил сына и нарек его Василием.

В четыре года Вася заболел корью. Болезнь протекала тяжело, и богомольные тетки решили помочь мальчику быстрее встать на ноги.

– В церкву отнеси сына, – посоветовали они Евдокии. – Милостив бог, и безгрешен ребенок.

Стояли крещенские морозы, Вася спал, тетки боялись его разбудить, поэтому не очень кутали. Бабка хватилась на улице, но было уже поздно – не возвращаться же домой.

Говорят, отец уехал в город, мать спала, а бабка с помощью двух богомольных теток попросту выкрала внука. Возможно, все это так и было. А, может, вспоминалось так уже после несчастья?

Батюшка долго отпирал остывшую церковь, ворчал, что пришли в неудобный час, вечером. Вася проснулся, заплакал, слезы сразу замерзли. Так, с закрытыми глазами, и внесли его в церковь, раздели. Тело ребенка горело, его сотрясала дрожь.

Поп пробормотал молитву: "Во имя отца и сына и святого

духа", бросил пригоршню холодных капель в глаза Васи. Мальчик заплакал. Тетки наспех закутали малыша и потащили его домой. И хотя идти было недалеко – церковь-то рядом с домом – ребенок простудился, началось воспаление легких. (2)

И вот пришла ночь. Нет, еще не та, что окружит его на всю жизнь. Пока он мог видеть сквозь щелки опухших глаз. Мальчик метался в бреду. Приехавший из города доктор предсказал ему скорое выздоровление, но неизлечимую слепоту. Прошли недели. Болезнь, казалось, отступила, Вася медленно приходил в себя. В доме все говорили шепотом.

– Мама, почему темно? – спросил как-то мальчик.

– Ночь на улице, сынок. А лампа не горит – нет керосину.

Василек протянул руку, нащупал широкоскулое лицо матери, усы и бороду отца. Почувствовал на пальцах слезы. И вдруг услышал шум дня. Потянулся к окну над кроватью – оно было раскрыто. Ощутил на лице свет солнца. Солнца, которого он не видел.

Много лет спустя он говорил японским друзьям, что, ослепнув, сделался очень трудным ребенком: все дни сидел в темном углу, как пойманный волчонок, огрызался на каждое слово и плакал, плакал. Мать брала его за руку, выводила на улицу. Он на что-то натыкался, падал и снова забивался в свой угол.

Читая написанный много лет спустя рассказ Ерошенко о слепом мальчике (3), можно представить, как все это было. В родном доме он натыкался на порог, кочергу, табуретки. Шел на кухню погреться у печи, но огонь, похоже, только и ждал, чтобы ожечь ему руки, чайник брызгал в лицо кипятком, а вилка больно вонзалась в пальцы. И во дворе на каждом шагу его подстерегала опасность – то больно ударится о камни, то упадет в яму. Сначала Вася боялся всего – и огня, и камней, и собак, которые еще недавно лизали ему руки. Но ослепший мальчик пересилил самого себя и сделал свой первый, самый трудный шаг из тьмы.

Все началось с первых "незрячих" шагов по отцовской избе – он рассчитал расстояние от кровати до двери и оттуда до печи. Потом он научился ходить, уже не считая шаги, а чувствуя расстояние по усталости мышц. Так он дошел до 'калитки. Однажды мальчик обошел ночной сад и присел у порога, прислушиваясь к звукам ночи. Из ближнего леса доносились голоса птиц, из болота слышалось лягушечье кваканье. Грянул гром, и эхо его донеслось уже издалека. Мальчик помнит: там еще роща есть, а в ней пруд – он не раз ходил туда купаться. И вот калитка позади. Он идет по селу. Обостренным чутьем слепого чувствует, что впереди – церковь. Ну да, она здесь, рядом, он

правильно запомнил. По эху определил: хаты справа, не так далеко, у ближнего леса. Стало холоднее, на траве роса. Значит, скоро утро. Он услышал – просыпаются птицы, и подставил лицо самому первому лучу утреннего солнца.

Пройдут годы. Василий Ерошенко сохранит в своей зрительной памяти лишь небо, лицо матери, голубей на заборе и церковь, где его ослепили. В глубоком мраке, куда он погрузился, не нашлось ничего, что могло бы закрепить другие образы видимого мира. Он будет помнить, что глаза кролика красные, но не сможет представить их, эти самые глаза. Весь мир его воплотится в звуках. Он будет трепетать от радости, встречая на разных языках слово "свет": "лайт", "люмьер", "люмо", – каждый раз представляя себе солнце. И все потому, что в те самые трудные для него ночи сумел перекинуть первые мостки из мира тьмы, звуков и ощущений в царство света.

На какое-то время ночная тьма стала для него другом. Только ночью он мог ходить по деревне, не слыша приглушенного шепота за спиной ("а у Якова-то сынок темный"), бродить свободно, словно зрячий, не вызывая тревожных окликов матери. Вскоре он научился ориентироваться в деревне, в лесу, в поле не хуже, чем в отцовской избе.

И вот как-то днем Вася открыл калитку и, отбросив палку, походкой зрячего пошел по Обуховке. Крестьяне долго смотрели ему вслед. Однажды, когда он ушел за околицу, кто-то, видимо нездешний, попросил указать дорогу в город – принял его за зрячего.

За месяцы болезни и сидения дома мальчик стал серьезным и молчаливым. Товарищи не желали с ним играть, даже не подходили – побаивались его. А ему было нужно, чтобы признали, приняли к себе. И он страдал.

Шли годы. Но даже в родной семье Вася чувствовал себя одиноким: слепой в хозяйстве только обуза. А в деревне к нему привыкли и даже перестали удивляться, когда он свободно шагал без палки.

Однажды, стоя у церкви, он заслушался пением слепого кобзаря – о краях заморских, о казацких походах в Туретчину. В самое сердце запала ему песня: мир велик, если бы можно было убежать, чтобы не слышать шепота жалости за спиной.

А кобзарь, словно подслушав Васины мысли, погладил его русые кудри, ощупал невидящие глаза и сказал:

– Пидэмо зи мною, хлопчику. Що ты маешь тут робыть, слипенький? Пидэмо и маты тэбэ видпустыть.

(1) Моулмейн – город в Бирме.

(2) Об этом писала сестра В.Ерошенко М.Я.Безуглова.

(3) Об этом В.Ерошенко рассказал в новелле "Обреченный жить".

Детская казарма

Яков Ерошенко давно уже подумывал, куда пристроить сына. У слепого в России большого выбора не было – либо в богадельню (куда попасть было совсем непросто!), либо в школу слепых – их было несколько на страну и среди них – петербургская для дворян и московская для простого люда.

Как удалось отцу пристроить Василия в школу слепых в Москве, остается загадкой. Видимо, у него, человека бывалого, исколесившего на почтовых лошадях почти всю Среднюю Россию, были знакомые среди купцов, на пожертвования которых существовала эта школа.

"Девяти лет, – писал в своих воспоминаниях Ерошенко, – я был послан из деревни, чтобы научиться чему-нибудь в школе слепых. Это было учебное заведение, отгороженное от всего мира, нам не только запрещалось самим выходить за ограду, но даже в каникулы нас не отпускали домой. Днем и ночью мы были здесь под надзором".

С деревенского приволья мальчик попал в затхлый мирок "детской казармы". Массивный особняк школы на Второй Мещанской, глухой забор, а за ним небольшой двор, названный ребятами "сковородкой". Здесь разрешалось гулять лишь по часу в день, девочкам – в одно время, мальчикам – в другое. Днем и ночью над головами детей свистела плеть директора школы, отставного полковника А.Г.Витте – за малейшую провинность их нещадно наказывали. А по воскресеньям учеников собирали в школьной церкви, где они молились о здравии "благодетелей"-купцов.

Между детьми и их наставниками шла глухая борьба: учителей то и дело изводили "глупыми" вопросами. ("В нашем классе, – замечал Ерошенко, – разрешалось задавать только умные вопросы"). К примеру, педагог объясняет: наша планета так велика, что на ней для всех хватает места. А Ерошенко спрашивает: "Почему же у моего отца нет даже клочка земли, и он арендует ее у графа Орлова?" Наказав дерзкого ученика плетью, учитель продолжает: человечество делится на расы, причем самая цивилизованная – белая. Но его снова прерывают вопросом: "Потому ли мы лучше других, что цвет нашей кожи белый?… А

как же летом, когда мы загораем, становимся ли мы от этого менее цивилизованными, чем зимой?".

Рядом со школой, где учился Ерошенко, находился дом известного купца Перлова; фирма его вывозила из Китая чай. В гости к нему однажды приехал некий господин Ли. Узнав, что по соседству с домом Перлова находится школа слепых детей, господин Ли решил посетить ее. Он пришел к детям в старинном одеянии, с косой на голове. Разумеется, слепые не могли этого увидеть, но господин Ли был так добр, что разрешил им ощупать его китайскую одежду и даже косу.

"Зная, что китайцы принадлежат к желтой расе, я взял его руку и пробежал по ней кончиками пальцев, пытаясь уловить разницу между его кожей и моей. Затем я отошел и тихо спросил учителя, правда ли, что наш гость желтокожий. Учитель подтвердил.

– Но я не нашел разницы между рукой белого и желтого человека, – сказал я вполголоса".

В школе слепых детей старались еще раз ослепить – духовно. Учителя воспитывали их в духе преданности существовавшему строю, в головы детей вдалбливались сословные предрассудки, национальная и расовая рознь. И, казалось бы, сама действительность России – "тюрьмы народов" способствовала тому, чтобы дети, тем более слепые, принимали эти слова за истину.

Каким же чутьем должен был обладать мальчик, чтобы "смотреть на мир своими, а не чужими глазами, думать своей головой и открывать мир своим сердцем?" Эти слова Ерошенко произнес в Японии в 1916 г., но зародились у него такие мысли, быть может, еще здесь, в Московской школе слепых.

Несмотря на то, что попечительство изолировало школу-тюрьму от всего мира, веяния жизни проникали и туда. То к кому-то из ребят приедут родители из де-ревни и расскажут, что помещику подпустили "красного петуха", то школьный сторож проворчит, что вот, мол, обнаглели господа студенты – захватили университет, отстреливаются от полиции. Иногда детей заставляли молиться за "подло убиенного" царского чиновника, кляли на чем свет "проклятых анархистов".

Внешне в школе все оставалось по-прежнему. Как и раньше, два раза в неделю приходил проверять успеваемость инспектор Гетлинг (он говорил с сильным немецким акцентом, и ребята часто передразнивали его). Все так же щелкал хлыстом по головам ребят директор школы отставной артиллерийский полковник А. Г. Витте, а жена его, богомольная немка, которая фактически заправляла всеми делами, водила детей на прогулки,

заставляя молиться у каждой часовни. И председатель школьного совета "милейший" Вячеслав Семфарионович Кохманский – святоша и ханжа – встречал "чистую публику" у входа в школьную церковь, где на пороге, возле тарелки для пожертвований, сидела опрятная девочка, а за амвоном пел хор слепых.

И все-таки над школой сгущались тучи. Это чувствовал А. Г. Витте, который, сменив сапоги на тапочки, прятался у дверей спален, чтобы подслушивать разговоры. Понимали это и учителя – в последнее время ребята просто засыпали их "глупыми" вопросами.

В "Странице из моей школьной жизни" Ерошенко писал: "Однажды учитель сказал нам:

– В каждой стране есть свой правитель, и государство без него не может существовать, так же как наша школа без дежурного преподавателя.

Мы заулыбались: ведь школа больше всего нравилось нам, когда дежурный учитель был болен и мы могли делать то, что нам захочется. В какие игры мы тогда играли, сколько веселого рассказывали перед сном!…

– …Россией правит император в золотой короне и дорогом одеянии; он восседает на троне со скипетром в руке, – говорил тем временем учитель.

Лапин прервал рассказ:

– Ну, а если бы император оказался на улице без скипетра и короны, в обычной одежде, могли бы люди узнать, что перед ними сам император? Вопрос был признан глупым. Лапин остался стоять. Однако он запротестовал:

– Но, господин учитель, мы не можем видеть ни корону, ни царскую одежду, как же мы узнаем при встрече императора?

Этот вопрос был оценен как очень глупый: Лапин был поставлен на колени…

Учитель продолжал:

– Так же как в школе есть плохие мальчики, вроде Лапина, которые все время досаждают учителям, так и в государстве находятся негодники, мешающие правителям исполнять свой долг. Таких людей называют социалистами и анархистами. Мы должны их опасаться и презирать.

Но мы не боялись Лапина. Наоборот, никого в школе ребята не любили так сильно, как его. Что ж, поду-мал я, если эти "негодяи" такие же плохие, как наш Лапин, значит, незачем их опасаться…

Вскоре после этого урока нашу школу должен был посетить дядя самого императора Николая II, великий князь Сергей Александрович…

В объявленный день все было готово. Мы ожидали лишь звонка, чтобы собраться в классе. Но он прозвенел минут за пятнадцать-двадцать до назначенного срока. Думая, что наш коридорный проявил излишнее рвение, мы не очень спешили и вышли из спальни минут через десять после звонка.

По дороге меня задержал какой-то человек и спросил, куда я иду. Я ответил:

– На встречу с дядей императора. Он вновь спросил:

– Хорошо ли ты сегодня пообедал?

– Ну, а если нет? Разве вы дадите мне другой, более сытный обед?

– Почему же, это вполне возможно, – ответил незнакомец.

– Тогда вам придется каждый день кормить меня обедом. И ужином тоже, потому что ужины здесь так же плохи, как и обеды.

Незнакомец рассмеялся:

– Может ли тебе нравиться то, чего ты не видишь?

– Разумеется. Я не вижу своих друзей, но люблю их.

– Ну, а я нравлюсь тебе?

– Как вы можете нравиться мне, если я вас совсем не знаю? Однако вот-вот придет великий князь, у меня нет времени тут с вами разговаривать.

Сказав это, я пошел в класс. Потом узнал, что слышавшие нашу беседу учителя не находили себе места от страха: ведь со мной разговаривал сам великий князь, который жестом приказал им не вмешиваться.

После отъезда высокого гостя меня заперли в чулан, а учителя собрались решать мою судьбу. Я был почти уверен, что меня исключат. И вот меня пригласили на "суд".

– Как ты осмелился так грубо разговаривать с дядей императора? – строго спросил учитель.

– Я не знал, что этот человек – сам великий князь.

– Но почему? Допустим, ты не мог видеть его роскошный военный мундир и бриллиантовый орден, которого нет ни у кого другого в России. Но ты должен был почувствовать изысканность его манер, услышать, что рядом стоят телохранители-черкесы, офицеры и адъютанты. Ты не видел всего этого, но услышать и понять ты, безусловно, мог.

– Но я и в самом деле ни о чем не догадывался. Мне казалось, что я разговариваю с кем-то из полицейских, которые ходят по школе и грубо ведут себя".

На этот раз мальчика простили. Но он и в дальнейшем не изменил своего поведения и не стал таким, каким хотели бы видеть его учителя.

Однажды, когда ребят вели в баню, Ерошенко, повстречался

на улице с нищим, неглупым и обходительным человеком, и принял его за великого князя. За разговор с побирушкой мальчика высекли. И все же он продолжал больше верить своим чувствам, чем словам окружавших его учителей и наставников. "Ночь, – писал Ерошенко, – научила меня сомневаться всегда и во всем и не верить ни учителям, ни самым большим авторитетам… Я не верю, что бог милостив, а дьявол зол и коварен. Я не верю правительству, а также обществу, которое ему доверяет… Мой девиз: все подвергай сомнению!"

Воспоминания всегда несколько субъективны. Да и вряд ли можно судить о жизни человека только по тому, что он сам о себе написал. Важно, что вспоминалось ему через много лет.

Конечно, при желании Ерошенко мог бы припомнить и немало хорошего из своей школьной жизни. Например, летние каникулы, когда детей отправляли на дачу в Останкино. Там, набив мешки соломой, они спали прямо на траве, вдали от шума большого пыльного города. Ведь это были самые первые "путешествия" Ерошенко!

И если через много лет он не вспоминает об этом, то только потому, что темные стороны школьной жизни сильнее запечатлелись в его памяти. Но что же тогда удерживало в стенах такой школы деревенского мальчика, который считал, что в жизни не может быть ничего горше неволи? Отчего Василий Ерошенко оказался в числе немногих, получивших свидетельство об окончании Московской школы слепых?

Скорее всего удержала его здесь колдовская власть слова.

Во втором классе учителя раскрыли своим незрячим воспитанникам пленительную тайну шести выпуклых точек – из их сочетаний под пальцем рождались буквы, из букв – слова. Плотная, вся в пупырышках бумага зазвучала для Ерошенко, заговорила голосами героев пушкинских сказок, стихов Некрасова и Шевченко. "Счастливей меня человека нет: я вижу солнце, я вижу свет", – так выразил он свою радость от встречи с книгой в письме к родителям.

Чем стало для него, слепого, ощутимое, "выпуклое" слово? Быть может, тропой в полузабытый светлый мир детства, который так внезапно разрушила тьма? Или дорогой в будущее – из ночи в день, из одиночества к людям?

Ночью, когда школа затихала, Ерошенко брал с собой толстый том и, водя под одеялом пальцем по точкам, читал вслух. Обычно его слушали до десятка ребят. Они торопили, переспрашивали, требовали все новых и новых рассказов, а книги из школьной библиотеки были уже все прочитаны. Тогда мальчик понемногу стал сочинять – то сказку продолжит, а то и новую

выдумает. По просьбе товарищей ему вновь и вновь приходилось рассказывать свою придуманную сказку, тогда Ерошенко стал записывать свои сочинения.

В школе никто и не думал поддерживать одаренных детей. Здесь учили другому – делать щетки, плести корзины. И хотя Ерошенко со временем обучился этому ремеслу, душа его тянулась к другому – к литературе и к музыке. Обладая хорошим слухом и голосом, он учился играть на скрипке и гитаре, посвящая этому большую часть своего свободного времени. Мальчик также пел в школьном хоре и даже в виде исключения посещал занятия по классу рояля (игре на этом инструменте здесь учили только девочек).

Перед окончанием школы в оркестре слепых детей Ерошенко играл первую скрипку, и учителя прочили ему карьеру музыканта.

В 1907 году, сдав выпускные экзамены, Василий Ерошенко вступил в самостоятельную жизнь.

В Обуховке

Высокий, русые волосы до плеч, в белой вышитой рубахе, за спиной гитара, в руке скрипка – таким предстал перед родителями Василий Ерошенко. Отец крепко обнял сына, мать заплакала, младшие братья и сестры знакомились с ним, как с чужим. Только взрослые Нила и Александр, да пятнадцатилетняя Поля помнили брата.

С приездом сына в избе Ерошенко стало как-то тише, все говорили вполголоса, словно в доме был больной, и только мать откровенно выражала свою радость. Люди, приходившие в отцовскую лавку, заглядывали в избу, сочувственно вздыхали:

– Ой, Евдокия, сын-то у тебя темный!

Повторялось все то, что уже было испытано в детстве.

Как ни трудно было слепому юноше бывать на людях, он больше не прятался от них, как в детстве, – старался помогать матери по дому и даже ходил с отцом в поле. Кто знает, быть может, он надеялся найти себе дело в родной Обуховке. Но чем ближе он узнавал жизнь в деревне, тем больше понимал – здесь не то что слепому, но и зрячему прокормить себя трудно.

Главной бедой этих мест было безземелье. Большая часть земли принадлежала крупному собственнику графу Орлову-Давыдову. Граф отдавал ее в аренду по грабительской цене:

десятина – двадцать два рубля. Большинству крестьян это было не по карману, и они занимались отхожим промыслом, уходили в города, на шахты.

Не всем хватало места в деревне. Тесно становилось и в избе Якова Ерошенко. Нила и Александр завели уже свои семьи. У Якова было много хлопот, а тут еще прибавились новые – нужно было пристроить к какому-нибудь делу "темного" Васю. И отец все чаще посматривал на скрипку сына.

Однажды юношу позвали в дом управляющего имением Алексея Александровича Пермейского. Праздник был тогда какой-то, или просто Пермейские давали бал, но только по обширным владениям графа Орлова-Давыдова разъезжали тройки и собирали "чистую" публику – учителей, купцов, попов. Пригласили туда и Василия Ерошенко: захотели послушать его скрипку.

На балу Ерошенко чувствовал себя одиноко. Лилось дорогое французское вино, слышались шутки и смех, скользили по паркету пары, а он стоял на возвышении, прижав плечом скрипку, и играл, играл. Никто не заговорил с ним, для всех он был просто слепым музыкантом. Ему все казалось, что у ног его звенят пятаки, словно это был не бал, а ярмарка.

Глубокой ночью, ни с кем не попрощавшись, Ерошенко ушел. Это было уже дерзостью необыкновенной. Пермейский послал за ним вдогонку верхового. Спрятавшись в поле, Василий услышал цокот копыт.

А наутро Яков Васильевич пошел к Пермейским извиниться за сына. С тех пор в деревне стали поговаривать, что Вася не в себе, странный какой-то. И отец оставил сына в покое: пусть сам решает, что будет делать, чем займется.

Отчего не хотел Вася стать сельским музыкантом?

Ведь знал же он, что в деревне для него не было тогда другого занятия. Или, может, ему, десять лет учившемуся нудной профессии щеточника, вообще опостылела любая работа? Нет, он уважал крестьянский труд. Об этом писал в "Утиной комедии" Лу Синь: "Ерошенко… считал, что каждый должен доставать себе пищу собственным трудом; и всегда утверждал, что женщины должны разводить домашний скот, а мужчины – обрабатывать землю. Когда ему случалось встретить знакомого, он уговаривал его сажать во дворе капусту. Жене Чжун Ми советовал разводить пчел, кур, свиней, коров, верблюдов…" Но труд на земле был недоступен для слепого. И он страдал, когда его, крестьянского сына, пытались превратить в попрошайку.

Той весной к Василию пришла любовь – первый раз в жизни. Деревенская девушка Клава была и глазами его, и сердцем, и

помогла слепому еще глубже войти в мир поэзии.

Много дней провели они в лесу, на мельнице у запруды, возле реки, на болотце Муховеньке – посреди вода, по краям трясина. Возле болота рос рогоз, стебли которого охотно ели мальчишки. Клава срывала цветы. И плела из них венки. Вскоре Василий сам мог отыскивать и чабрец-траву с мелкими сиреневыми цветами, и выбоины на деревьях, где дятел искал червячков; узнавал птиц по голосам и на ощупь находил тропу через трясину, где тонули иногда коровы.

Деревенская идиллия? Но для слепого Васи Ерошенко это был первый "лесной университет". Впоследствии, переводя его пьесу "Персиковое облако", Лу Синь изумлялся, как это слепой мог населить ее таким множеством сказочных персонажей – животных и растений. Конечно, к тому времени Ерошенко успел побывать и в садах Японии, и в джунглях Индии, и на равнинах Таиланда. Но прежде – была Обуховка, вот эта Муховенька и девушка Клава, научившая его понимать родную природу.

Как дерево рождается из семени, так и "слепой русский поэт Ерошенко" (как называл его Лу Синь) вышел из Обуховки. В далеком Пекине помнилась ему Муховенька на закате солнца. Он жаловался Лу Синю, что в Пекине даже лягушек нет ("Лягушачье кваканье!" – мечтательно восклицал Ерошенко). А за этим стояла его тоска по Обуховке: мол, в лягушках ли дело, если он хочет быть дома.

Родина незримо присутствует во всех произведениях слепого писателя. Читая его сказки, поражаешься упорству, с каким герои Ерошенко стремятся в край счастья и мечты, в страну радуги. Автор пишет: нужно только ступить на разноцветный мост и пройти по нему до конца… Ничто – ни вечная ночь, ни горе и невзгоды бродячей жизни не могут остановить его на пути в выдуманную им страну радуги. И все потому, что вырос он в тех местах, где верили, что радуга жива и в плохую погоду – просто она прячется в туче. Нужно дождаться хорошего дня, подкараулить, когда "радуга из колодезя воду пьет", загадать желание, и оно непременно сбудется.

Обуховка подарила ему целый мир. Здесь на темном небе лежали большие звезды: тусклая звезда – грешная душа, та, что блестит, – святая; тянулся по небу Млечный путь – дальняя дорога в Киев. Здесь в пятницу нельзя было пылить, а на Параскеву – прясть, на Троицу – белить холсты, а на Ивана Постного – есть яблоки. "И хотя наша деревушка была очень мала, головы ее немногих жителей были забиты таким количеством страхов, предрассудков и суеверий, что их, пожалуй, хватило бы на население какого-нибудь огромного города". Так писал

Ерошенко много лет спустя.

Все будет в его жизни – под его пером оживут индийские, бирманские, чукотские сказания. Он органично воспримет чужое, потому что в нем вечно жило свое, русское: тихие обуховские вечера, поверья курского люда, леса, болота, реки – милая сердцу родина.

…Признаться, труднее всего было найти материал о детстве и юности героя. Сам Василий Ерошенко почти не оставил воспоминаний о том времени (если не считать небольших по объему записок); свидетелей той его самой ранней поры уже почти не осталось. Да и много ли примечали они за никому тогда еще не известным слепцом, простым парнем? Документы? Но что могут сказать они, если нас интересует внутренний мир героя, "биография его души"?

И все-таки свидетельства той поры сохранились – это те, увы, немногие произведения Ерошенко, где, переплетая фантазию и быль, он говорит о своей родине и о себе. Такой, удивительно русской по духу, является его написанная по-японски в 1922 году в Китае "Зимняя сказка". Первая половина ее относится как раз к тем временам, о которых мы ведем рассказ.

"…Было это давно, лет десять назад, – писал Ерошенко, – Жил я тогда в небольшой деревушке…

Неподалеку от этой деревни начиналась тополиная роща, простиравшаяся на много верст вокруг…

Крестьяне говорили, что тот, кто повадится ходить в эту рощу, рано или поздно тронется умом, бросит свою деревню, пропадет без вести где-нибудь на чужбине и вообще навлечет на себя неслыханные бедствия. Однако я не обращал внимания на эти вздорные речи и больше всего любил бродить по тополиной роще…

Однажды ночью, когда падал густой снег и близ села отчаянно выли волки, я направился в эту рощу. Сейчас я и сам не могу объяснить, почему в такую страшную ночь я отправился туда… Наверное, мне казалось, что в оглашавшем окрестности диком волчьем вое я сумею различить обращенный к тополям ласковый шепот весны…"

И вдруг, вспоминает автор, он увидел на опушке странную старуху, закутанную в медвежью доху, на голове шапка из выдры, на поясе – фонарь. Это была Царица-Зима. Она повела его в свой дворец, где жил сказочный Тополиный Мальчик. Подслушав их разговор, автор понял, что сам он уже мертв, но может вернуть себе жизнь, если вырежет на груди Тополиного Мальчика знак любви. "Когда я подрасту, – объясняет ему мальчик, – мне предстоит… стать факелом… А чтобы ярче гореть… нужен знак –

знак "любовь".

Автор выполнил просьбу мальчика и вернулся к жизни.

Прошло много лет. В Россию пришла желанная пора, которую так ждали простые люди. Ерошенко возвратился на родину и вновь повстречал знакомую старуху. Только она уже не была царицей, жила в избушке и собирала хворост.

– А мальчик – что же стало с ним? – спрашивает Ерошенко. Старуха отвечает:

– …Парнишка стал каким-то чудным и все твердил, что ему хочется обнять весь мир и теплом своим согреть всех людей на свете…

– И что же дальше?

– Потом он и стал факелом и освещал людям путь сквозь тьму, пока не догорел до конца…

"Вечером на постоялом дворе я спросил хозяина, знает ли он что-нибудь о старухе, собирающей хворост в роще.

– Знаю, конечно, – отвечал хозяин. – Эту сумасшедшую бабку знают здесь все. Многие считают ее колдуньей. Она что, повстречалась вам? И, наверное, говорила про знак "любовь"? Она все что-то колдует над дровами и твердит, что если на них вырезать знак "любовь", то они будут ярче гореть и давать больше тепла. С нами крестная сила! – трижды перекрестился хозяин.

– А как погиб ее сын? – спросил я его.

– Да очень просто. Он вступил в большевистскую партию и был отчаянным партизаном. Да, на наше счастье, в том году белогвардейцы многих партизан поймали. Кого порубали на месте, кого потом казнили. Только это нас, справных хозяев, и спасло, – добавил он, понизив голос до шепота.

– А каким способом их казнили? – снова спросил я.

– Чтобы сильнее припугнуть эту братию, говорят, их живьем сжигали, а может, просто злые языки так про белых судачат, а на самом деле вовсе и не так было. Да и кому какое дело, как их там казнили. Только старуху жалко. Она после этого рехнулась и стала заговариваться. Все твердит, что, мол, сын ее стал факелом, чтобы светить людям в темноте, и сгорел. Мелет всякий вздор, тьфу! – сплюнул хозяин. – Однако, не следует на ночь говорить про колдовство и убийства, с нами крестная сила! – добавил он и, боязливо поглядывая на окно, несколько раз перекрестился.

Я замолчал и с тоскливым чувством смотрел, как он крестится. На дворе становилось все темнее и на моем сердце тоже… О мое сердце. Что мне поделать с тобой?"

Из этой сказки читатель немало узнает и о ее авторе – о его жизни, симпатиях, идеалах. Дворцы, похожие на тюрьмы, солдаты, отдающие честь обитателям дворцов, крестьяне,

живущие во тьме предрассудков, – это его страна, старая Россия. Вынужденный под давлением обстоятельств покинуть родину, он возвращается туда после революции, когда в России, наконец, наступила весна. Эту весну принесли с собой революционеры, большевики: они согрели родную землю огнем своих сердец. Движимые любовью к народу, многие из них, как Тополиный Мальчик, пожертвовали своей жизнью.

Читая сказку Ерошенко, вспоминаешь и легендарного Данко, отдавшего свое сердце людям, и реального большевика Лазо, которого японские оккупанты сожгли в паровозной топке. "Сгорая самому, светить другим", – вот девиз автора сказки. "С самых ранних лет я мечтал, чтобы на моей родине не было несчастных людей… Лишь этим мечтам и надеждам я обязан тем, что до сих пор живу", – писал он.

Все свои сказки Ерошенко создавал во имя мечты о будущем, подчас туманной, зыбкой. Но он не убегал от жизни в мир вымысла и не отделял себя от своих героев. В этих произведениях, подчас резонерских и наивных, четко прослеживается позиция писателя, звучит его голос.

"Хочу увидеть мир!"

Такасуги Итиро писал: "Нет абсолютно никаких данных о том, чем занимался Ерошенко после того, как он окончил школу и до поездки в Англию в 1912 году". И в самом деле, до последнего времени об этих годах его жизни мы почти ничего не знали.

А между тем эти пять лет в жизни слепого юноши очень важны: именно тогда решалась его участь – разделить судьбу тысяч других слепых или попытаться устроить свою жизнь иначе.

Почему же Ерошенко не захотел "быть таким, как все?" Словно отвечая на этот вопрос, он писал: "Других слепых ночь научила все принимать на веру и ни во что не вмешиваться. Большинство моих товарищей, поверивших всему, что говорили учителя, доверяют теперь каждому слову авторитетов. Они заняли хорошее положение в обществе, стали музыкантами или учителями, живут в комфорте, окружены заботами и любовью близких. А я так и не достиг ничего. Сомневаясь во всем, я, как перекати-поле, скитаюсь из страны в страну…".

Правда, начинал он, казалось бы, как многие. В начале века двое незрячих энтузиастов – Д. С. Разин и В. В. Разумовский –

создали в Москве хор и оркестр слепых. Выступали на празднествах, в церквях, ресторанах, обычно перед "чистой публикой" – промышленниками, купцами, и вот весной 1908 года Ерошенко, пройдя нелегкий конкурс, был принят в этот оркестр. Поселился он в "Солодовках" – доходном доме для слепых на Мещанской улице. Подвесная койка в комнате-пенале, ниже этажом столовая и библиотека. Рядом с домом попечительство, контора хора и оркестра – все на небольшом пятачке, недалеко от места, где была и его школа. Казалось, в жизни слепого оркестранта наступили благополучные дни.

Между тем, работая в оркестре, Ерошенко не оставлял своей заветной мечты – отправиться в дальнюю дорогу. Но для этого нужны были деньги. Тридцать лет спустя ветеран оркестра М. В. Великанов вспоминал об очень странном музыканте, который всегда держался особняком – не пил, не курил, девушками не интересовался, жил чуть ли не на одних сухарях. "Уж как мы подтрунивали над Васей, – писал он, – даже монахом называли, а он слушал молча, улыбался, упрямо наклонив голову, и продолжал вести себя по-прежнему. Грустный он был какой-то".

Каждый вечер на сцену ресторана выходил высокий юноша с гитарой. Страдальческая улыбка освещала нежное, даже чуть женственное лицо. Он откидывал волнистые льняные волосы, ниспадавшие до плеч, и начинал петь. Заказывали обычно цыганщину; платили щедро.

А потом Ерошенко шел ночной Москвой домой, смяв в кармане заработанные рубли. Утром он отдаст их вечно голодному актеру, который за это будет читать ему Пушкина, Андерсена и Шекспира.

Книги открывали ему новый мир. А окружали его шум и угар ресторана, суета и грохот большого города…

Много лет спустя Ерошенко писал:

"Я родился в холодной стране. Глубокий снег и толстый ледяной покров с детских лет были моими ближайшими друзьями. Суровые мрачные зимние дни тянулись в моей стране бесконечно долго, а прекрасная теплая весна и лето пролетали быстро, как золотой сон…

Люди в моей стране, как и во всем мире, всегда делились на счастливых и несчастливых. Мне выпало на долю жить среди последних… От суровой, мрачной действительности, царившей в моей стране, у меня коченели не только тело, но и душа. Зарывшись лицом в холодную подушку, я скрежетал зубами, до крови кусал губы и жалобно, словно мяукающий котенок в студеной ночи, плакал, проклиная свою судьбу…

Сколько раз мне… хотелось уснуть и никогда не просыпаться.

И это желание было свойственно не только мне одному, но и многим другим. Оно как бы носилось в воздухе, им была пропитана вся атмосфера".

Ерошенко угнетала вековая неподвижность окружавшей его жизни. Ему казалось – сегодня будет все, как вчера, как десять или сто лет назад, и так останется навеки… О чем он думал долгими бессонными ночами, когда все спит и слышно лишь тиканье часов? Он сам рассказал об этом в сказке "Мудрец-Время".

"…До меня донесся строгий, монотонный голос самого господина Времени… О, червяк-человек!

…Тик-так, тик-так…

Человек не сейчас превратился в червяка, он всегда был таким. И прежде… и теперь, и потом…

…Тик-так, тик-так…

Ты хочешь сказать: кем бы ни были отец и дед, я чту их память. Чти, пожалуйста! Червяк, коленопреклоненный у могилы своих предков-червяков. Куда как красиво!

…Тик-так, тик-так…

Дети твои родятся тоже червяками, совершат много червячьих дел и умрут такими же. Они не забудут поклониться твоему праху и праху твоих предков.

…Тик-так, тик-так…

Со слезами на глазах я слушал речь Мудреца-Времени".

Все это представлялось Ерошенко правдой – правдой жизни. И спасаясь от того, что сам он называл "оледенением сердца", Ерошенко уходил в мир мечты о дальних странах, где люди счастливы и где всегда светит солнце. Казалось, ему повезло. Вскоре, хоть и ненадолго, Ерошенко попадает в цветущий солнечный край – летом 1911 года оркестр выехал с гастролями на Кавказ.

Однажды в ясный воскресный день юноша отправился в горы. Он шел уверенной походкой "зрячего", почти не опираясь на трость. Солнце светило то в спину, то сбоку, где-то неподалеку шумел ручей. Ерошенко запоминал дорогу и думал, что легко, как на равнине, найдет обратный путь. Но горы есть горы – он заблудился. Три дня скитался без пищи, пока наконец не наткнулся на пастухов. Они накормили его, но поговорить с ними Ерошенко не смог – горцы не понимали по-русски.

Несколько дней провел он в горах, чувствуя себя не только слепым, но и немым. Теперь он понял: для него мир кончается там, где смолкает его родной язык.

И вот Ерошенко снова в Москве, в надоевшем ему ресторане – водка, спертый, прокуренный воздух, пьяные разговоры, хохот…

Кто знает, справился бы он со своей грустью или она постепенно перешла бы в отчаяние. Помог случай.

Однажды вечером Ерошенко подозвала к столику какая-то женщина. Представилась – Анна Николаевна Шарапова.

– У вас есть способности, – сказала Шарапова. – Но музыке надо учиться. Правда, в России слепых в консерваторию не принимают. А вот в Англии есть специальная музыкальная академия для незрячих – это в Норвуде при Королевском институте слепых.

Ерошенко в ответ лишь грустно улыбнулся: кто его туда примет? К тому же там – чужая Англия, а на пути разноязыкая Европа – нет, ему, пожалуй, туда не доехать. Ерошенко поделился с Анной Николаевной своими сомнениями; он поведал ей о приключении на Кавказе и добавил, что путешествия не для таких, как он, слепцов.

– Вы, вероятно, ничего не слышали о международном языке эсперанто? Однако именно для таких, как вы, романтиков, создал этот язык доктор Заменгоф. А выучить эсперанто много проще, чем, допустим, французский или немецкий; говорить на нем можно уже через несколько месяцев. И – что важно для вас – учат этот язык, как правило, с голоса, без учебников и словарей.

Со следующего дня Ерошенко начал увлеченно заниматься эсперанто и благодаря упорному труду уже через месяц заговорил на этом языке. Сказались ли здесь легкость усвоения языка эсперанто или необычайные лингвистические способности слепого юноши? Вероятно, и то и другое. Как бы то ни было, уже в 1911 году Ерошенко посещал Московский эсперанто-клуб в Лубянском проезде, где быстро освоился и почувствовал себя своим. В клубе собирались артисты, писатели, поэты, частыми гостями были иностранцы, здесь ставились скетчи, готовились материалы для журнала "La ondo de Esperanto".

Клуб стал для Ерошенко окном в мир, эсперанто – ступенькой к изучению других языков. Оценивая значение эсперанто в своей судьбе, Ерошенко писал: "Поистине могу сказать, что лампа Алладина не могла бы помочь мне больше, чем зеленая звездочка – символ эсперанто. Я уверен: никакой джинн из арабских сказок не мог бы сделать для меня больше, чем сделал для меня гений реальной жизни Заменгоф, творец эсперанто".

Преувеличение? Несомненно. Неискренность? Нет. Лу Синь писал, что его русский друг честен и не знает, что такое ложь. И чтобы читатель с самого начала поверил Ерошенко, понял его, нужно иметь в виду, что на движение эсперантистов в России начала века прогрессивная общественность возлагала большие надежды.

Автор международного языка эсперанто Л. Заменгоф был не только выдающимся лингвистом, но и утопистом-демократом. Он считал разноязычие главной и чуть ли не единственной причиной национальной вражды и верил, что созданный им язык приблизит время, "когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся". Его последователи, пропагандируя "язык дружбы", не могли не критиковать тяжелую действительность царской России. Поэтому власти запрещали эсперантские книги и статьи. А в 1911 году министр внутренних дел Коковцев нашел предлог, чтобы распустить Российскую эсперанто-лигу. Но Ерошенко не пугали гонения.

Видимо, уже в те времена у него зародилась наивная мечта – добиться, чтобы все люди понимали и любили Друг друга в этом жестоком, расколотом мире, мечта, которая, как заметил Лу Синь, привела затем к "трагедии художника". Но, рассказывая о нелегкой судьбе друга, китайский писатель все-таки желал ему "не расставаться со своей детской, прекрасной мечтой".

Всю свою жизнь Ерошенко нацелил на осуществление этих благородных идеалов. Эсперанто был для него не самоцелью, но посохом на трудном жизненном пути.

Интерес к международному языку и страсть к путешествиям сблизили Василия Ерошенко с С. В. Обручевым, работавшим тогда редактором журнала "Ла ондо де эсперанто". С. В. Обручев, который в свои двадцать лет успел побывать и в Европе, и в степях Центральной Азии, ввел Ерошенко в дом своего отца, знаменитого русского путешественника, ученого и писателя В. А. Обручева. Здесь, по-видимому, и окрепло желание слепого мечтателя "увидеть" мир, побывать в разных странах. Сергей Владимирович вспоминал, как Ерошенко, слушая рассказы его отца о путешествиях в Китай, однажды спросил:

– А вы бы взяли туда с собой слепого? Почему же он, незрячий, так хотел "увидеть" мир? В сказке "Трагедия цыпленка" писатель в аллегорической форме сам отвечает на этот вопрос.

"Это был очень странный цыпленок. Он никогда не играл со своими братьями и сестрами. Ему всегда хотелось провести время в утиной семье, поиграть с красивым утенком… В один прекрасный день… цыпленок спросил утенка:

– Что тебе нравится больше всего?

– Вода! – ответил утенок…

– О чем ты думаешь, когда плаваешь?…

– Я мечтаю о том, чтобы поймать рыбку.

– Только об этом?

– Конечно.

– А когда играешь на берегу? – продолжал цыпленок свои

расспросы.

– На берегу я вспоминаю о том, как хорошо было в воде.

– И больше ни о чем?

– Ни о чем…

– Мне бы так хотелось поплавать вместе с тобой в пруду!

– Боюсь, что это тебе не понравится, ведь ты не ешь рыбок.

– А разве в воде нет больше ничего хорошего, кроме рыбок?…

На следующий день, едва рассвело, цыпленок прыгнул в пруд и утонул. Утенок горделиво вытянул шею и, грациозно перебирая лапками в воде, заявил:

– Не уметь плавать, не любить рыбу и все-таки прыгнуть в пруд – это ужасная глупость!".

Такая вот история!… Автор ее в начале 1912 года объявил товарищам из оркестра, что отправляется путешествовать.

– Хочу увидеть мир! – упорно твердил Ерошенко. А оркестранты, подобно утенку из сказки, уверяли своего товарища, что он делает глупость: разве слепой может увидеть?

На поиски Эльдорадо

Анна Николаевна Шарапова со свойственной ей энергией стала готовить Ерошенко к путешествию через четыре страны в Англию. Прошло немного времени, и она получила ответы на свои письма зарубежным эсперантистам. Из Варшавы, Берлина, Кёльна, Брюсселя, Кале и Лондона ей отвечали, что друзья будут рады помочь слепому юноше добраться до Англии – передадут его с рук на руки, организуют "зеленую эстафету".

Ободренный этими обещаниями, Ерошенко после недолгих сборов отправился в Англию.

Произошло это в феврале 1912 года. "Сказав на вокзале в Москве свое последнее "прости" друзьям, – писал впоследствии Ерошенко, – я почувствовал начало чего-то нового, дотоле мне неизвестного. Странное беспокойство проникло в мое сердце, овладело мыслями, словно нечто важное я недоделал, оставил забытым".

И вот остались позади Можайск, Смоленск, Минск, Брест-Литовск. В Варшаве его должны были встретить и посадить в другой поезд, следовавший в Берлин. Но на вокзал никто не пришел. "Я продолжал свое путешествие в тревоге, – писал Ерошенко, – Подъехали к границе, вот она уже позади. Лихорадочный жар охватил меня. Я окружен чужими людьми.

Они говорят на непонятном мне языке. О чем это они? Отчего весь мир так далек от меня в этот вечер?… "Что, брат, нервы шалят? А что если и в других городах тебя не встретят?".

В Берлин поезд пришел ранним утром. Заметно волнуясь, Ерошенко ступил на перрон. Он потрогал зеленую звездочку на груди – знак, по которому узнают эсперантистов, и с грустью подумал: "Зачем ты светишь, звездочка? Кому нужен твой свет ясным утром? Разве только одному слепому".

О своем пребывании в Берлине Ерошенко вспоминал:

"В это морозное февральское утро можно было не прийти встретить и лучшего друга. Надеяться, что совсем незнакомые люди ждут меня, было глупо. Я решительно зашагал по платформе… Но боже, не сон ли это? Я слышу свое имя, сердечные приветы, радостные восклицания. Мне жмут руку, спрашивают о здоровье, желают знать о всех подробностях моего пути… Зеленая звездочка сияла не напрасно.

Новые друзья спросили меня, что я желаю увидеть в Берлине. Я попросил отвести меня в Институт слепых в Штейглице. И мы отправились… В институте нам оказали радушный прием. Было показано все самое интересное: мастерские, классы, типография… Все пояснения, которые давал один из заведующих, переводились на эсперанто".

Пройдут годы, Ерошенко "увидит" мир, но впервые это слово "видеть" он произнесет в Институте слепых, под Берлином. Здесь ему "показали" единственный тогда в мире музей слепых, позволили ощупать его экспонаты, познакомили с библиотекой, где хранилось несколько тысяч брайлевских книг. Воспитанники института рассказали Ерошенко о своей жизни.

За Берлином последовали Кёльн, Кале, десятки небольших городов – повсюду русского слепца встречали друзья.

Так Ерошенко благополучно проехал всю Европу.

Современному читателю может показаться странным, что об этой поездке писали многие отечественные и зарубежные журналы: пассажир, пусть и слепой, проехал по железной дороге от Москвы до Лондона. Что здесь особенного? Однако по тем временам подобное путешествие для слепых бедняков (а таких среди незрячих было большинство) действительно явление необычное. Чаще всего они бродили лишь от церкви к церкви, побираясь "именем божьим".

Кроме того, путешествие Ерошенко говорило о возможности взаимопомощи людей разных стран, подкрепляло его идеи о братстве народов.

Конечно, следует иметь в Виду, что поездка Ерошен-ко за границу была организована эсперантистами прежде всего в

рекламных целях. Но на своем пути русский юноша встретил так много неподдельной людской доброты, что это помогло ему поверить в свои силы; и несколько позднее в своей первой статье он с восторгом написал о впечатлениях от этой поездки.

Полгода в Англии

14 февраля 1912 года поезд привез Ерошенко на лондонский вокзал Черинг-кросс. Извещенные телеграммой из Кале, на перроне его встречали супруги Блэз – бельгиец Поль, преподаватель французского языка, и его жена Маргарет, англичанка, хозяйка пансиона. Они ожидали увидеть неотесанного парня, в сапогах и рубахе навыпуск, с котомкой за спиной, и были приятно удивлены, встретив вполне интеллигентного на вид молодого человека в тужурке, с гитарой.

Приведя Ерошенко к себе в пансион, супруги Блэз собрали нечто вроде консилиума друзей. Гость вел себя непринужденно, прямо и независимо отвечал на вопросы, что не очень понравилось встретившим его господам. Они пришли к выводу, что следует научить русского хорошим манерам, прежде чем представлять его мистеру Кемпбеллу, директору колледжа, куда собирался поступить их гость.

"Госпожа Блэз, – писал Ерошенко, – стала учить меня хорошим манерам так, словно я был еще ребенком. Например, она говорила: "Когда пьешь чай, держи чашку за ушко, а не за донышко… не прерывай человека во время разговора и тому подобное". Но в то же время В. Ерошенко с глубокой благодарностью отзывался о своем пребывании у Блэзов.

"Десять дней провел я у супругов Блэз, и эти дни были самыми счастливыми за все время, прожитое мной в Англии. Они вместе с консулом для слепых господином Меррик сделали для меня очень много – нашли новых знакомых, рекомендовали тем, кто мог быть мне полезен, и, наконец, познакомили с господином Филлимором. Этот добрейший человек обучил меня английскому языку. Он нашел мне комнату в английской семье… и на протяжении всего времени пребывания в Англии заботился обо мне – господин Филлимор стал для меня лучшим другом, о котором я мог только мечтать".

Через три месяца после приезда Ерошенко в Англию супруги Блэз и мистер Филлимор отвезли его в небольшой город Норвуд, недалеко от Лондона, где находился Королевский институт и

Музыкальная академия слепых – так официально называлось главное английское учебное заведение для незрячих. Ерошенко прошел собеседование и был принят в институт.

Королевский институт привел Ерошенко в восторг. Здесь делалось все, чтобы слепой чувствовал себя полноценным человеком: бассейн, где не только плавали, но и учились спасать утопающих; дорожки для бега на роликовых коньках; стадион для игр, где юноши, надев браслеты с бубенцами, ориентировались в играх по слуху.

В Музыкальной академии слепые слушали выдающихся музыкантов, учились у них, выступали сами, а нередко и состязались с ними. Недаром институт был расположен возле музыкального центра Англии той поры, Хрустального дворца. Здесь, в Норвуде, Ерошенко полюбил серьезную музыку – Бетховена, Генделя, Баха. Можно представить, чем стал этот новый, музыкальный мир для него, жившего в основном в мире звуков, – ведь пока что он не слышал ничего лучшего, чем Московский оркестр слепых.

Ерошенко упорно учился музыке. Он обладал завидной памятью и слухом, однако пальцы двадцатидвухлетнего мужчины уже не обладали той гибкостью, которая необходима для овладения виртуозной техникой. А быть посредственным исполнителем Ерошенко не хотел. В эти годы он становится максималистом, его девиз – если делать что-то, то делать лучше, чем другие (в том числе и зрячие).

Но как ни странно, именно этот юношеский максимализм и увел его из Королевского института для слепых. Закончить колледж, чтобы стать секретарем, настройщиком роялей или посредственным музыкантом? Для того ли он проехал через всю Европу? Конечно, Ерошенко стремился извлечь как можно больше пользы из этой поездки, в первую очередь интересуясь всем, что так или иначе могло помочь его слепым собратьям.

Ерошенко даже собирался привезти в Россию усовершенствованную пишущую машинку, на которой слепые могли бы печатать как для зрячих, так и для слепых.

При знакомстве с биографией Ерошенко удивляет тот факт, что он затратил массу сил, чтобы попасть в Королевский колледж для слепых, а проучился там недолго: Так стремиться в Англию, и вернуться оттуда уже через полгода (4). Почему?

Конечно, если бы Англия и впрямь была той землей обетованной, какой она виделась ему из России, то он не поспешил бы так скоро домой. Однако Англия ему откровенно не понравилась. Вот уж где общество дели-лось на "этажи", где "всяк сверчок знал свой шесток!" (Ерошенко говорил об этом не раз).

Какое же место занимал в этом обществе русский гость? Он был "сайзером" – бедным студентом, принятым в колледж из милости. Понятно, что он не мог вносить такую же плату за обучение, как богачи, которые даже обедали вместе с профессорами.

Сломать веками закрепленный в Кембридже и Оксфорде порядок? Но об этом он вряд ли мечтал. Другое дело, эпатировать "отцов" Норвуда, потребовать равных условий для слепых…

И здесь мы встречаемся с легендой. Такасуги пишет о слепом всаднике, который скакал во весь опор по ночному Норвуду, наводя страх на его обитателей и вызывая мысли о "конном призраке". Излишне добавлять, что всадником считался Ерошенко. Было ли все это на самом деле? По-видимому, было.

В 1973 году английский эсперантист Стефан Шейнфельд разыскал немногих оставшихся в живых стариков, которые помнили Ерошенко по колледжу. Один из них, мистер Уотлинг, подтверждает, что Ерошенко называли там "ночной птицей". Англичанин вспоминает, как русский студент, вскочив на лошадь садовника, несся по ночному Норвуду, громко распевая русские песни. Все называли его "казаком" и очень любили.

Любопытно, что именно таким запомнился своим английским друзьям Ерошенко и много лет спустя. Рас-сказывая о его жизни в Англии, они с улыбкой вспоминали случай, который послужил поводом к исключению "казака" из колледжа. А было так…

По ухоженному парку в Норвуде ухоженные господа наставники совершали моцион на ухоженных лошадях. И вдруг случилось невероятное, незрячий студент вскочил на коня и понесся вскачь по аллеям. Возмущенные профессора собрались у входа в колледж.

– Господин Ерошенко, как вы посмели? Вы могли задавить человека – вы же слепой.

– Да, я не вижу, но конь-то зрячий!

– Но вы нарушили право частной собственности – сели на чужую лошадь.

Возможно, тогда он впервые понял, что слепой в состоянии видеть суть вещей лучше, чем многие зрячие, не подозревающие о своей духовной слепоте. После этого случая ему пришлось уйти из колледжа. Однако это не огорчило юношу: главное, к чему он стремился, было достигнуто – он познакомился с лучшими по тому времени методами обучения слепых.

Ерошенко переселился в Лондон. Вместе с приятелем, французом Марселем Симоне, он посещал Британский музей. Потом ходил туда уже один, отказавшись даже от трости.

На Грейт-Рассел-стрит нередко можно было встретить

высокого человека в котелке и черном костюме, бодро шагавшего по улице, и вряд ли кто-либо догадывался, чего стоила ему такая прогулка. Лондон был большим, шумным и дымным городом, и Ерошенко сначала растерялся в нем: шум он воспринимал как тьму – он не слышал эхо, не мог представить ширину улиц, размеры площадей. Шум наваливался на него, давил, прижимал к земле, заставляя опираться на трость. И он стал гулять по городу ночами. Запоминал запахи – пекарни, фабрики, ресторана; цоканье копыт полицейской лошади вызывало отражавшееся от стен домов эхо и помогало определить контуры улиц. Ночью он "видел" лучше, чем днем. А потом, во время прогулок, слушая пояснения Марселя (у которого он, кстати, учился французскому языку), сравнивал дневные впечатления с ночными и запоминал. Так он изучил дорогу в Британский музей, а оттуда до кафе, где можно было недорого пообедать.

Вскоре Ерошенко нашел путь на Шарлотт-стрит, 107, где помещалось Общество российских политэмигрантов – в эти годы в Лондоне их было уже несколько тысяч. Здесь он стал завсегдатаем Герценовского кружка – искал ответы на "проклятые" вопросы российской действительности, которые волновали его еще в школе: о земле, о правах крестьян, о воле.

В обществе он не раз слышал выступления лидера анархистов князя П. А. Кропоткина. Кропоткин предстал перед Ерошенко в ореоле своей тогдашней славы – ученый, аристократ, поступившийся карьерой во имя революции; человек, бежавший из крепости, куда его заточили. Юноше захотелось познакомиться с ним поближе.

После одной из лекций Кропоткина Ерошенко подошел к его дочери и тихо сказал:

– К сожалению, я не все понял. Но мне бы не хотелось сейчас обращаться к вашему отцу. Раньше я почитаю его книги. Только вот удастся ли мне снова его увидеть?

– Ничего нет проще, – ответила она. – Соберите своих товарищей и приезжайте к нам, в Брайтон. Отец любит беседовать с молодыми людьми.

Недели через две в гости к Кропоткину отправилась довольно разношерстная компания – социал-демократы, анархисты, кадеты. Они спорили всю дорогу, и Ерошенко даже трудно было разобрать, в чем суть их спора. У Кропоткина они застали группу русских и среди них графа Орлова-Давыдова – того самого, кому принадлежали земли в Курской губернии, в том числе и Обуховка.

Кропоткин рассказывал о взаимопомощи среди животных, о том, что нечто подобное должно происходить и среди людей –

только тогда, по его мнению, они добьются полного равенства в анархистских коммунах, где не будет ни профессиональных администраторов, ни подчиненных.

– Но как это возможно? – сказал Ерошенко. – В каждом деле нужен главный. Чтобы быть, к примеру, капитаном корабля, нужно учиться.

– Вы знаете, – живо откликнулся Кропоткин, – точно такой вопрос задал мне один швейцарский рабочий. Я ответил, что среди пассажиров всегда найдется человек, который сможет повести корабль.

– И он с вами согласился? – спросил Василий.

– Нет, он сказал, что не решился бы поехать на таком пароходе.

– Я тоже, – рассмеялся Ерошенко.

– Вы оба неправы, – возразил Кропоткин. – В будущем не должно быть ни руководителей, ни подчинённых. Наша цель – полное равенство.

– Но как вы заставите помещика жить наравне с крестьянами, отдать им свою землю?

– Силой морального воздействия, – ответил Кропоткин. – Если он откажется это сделать; мы подвергнем его общественному презрению.

– О, тогда у вас есть возможность тотчас доказать нам это на деле, – живо откликнулся Ерошенко. – Рядом с вами сидит помещик Орлов-Давыдов. За десятину земли он берет с крестьян двадцать два рубля в год! Попросите его для начала хотя бы уменьшить цену. Уверяю вас, он скорее съест эту десятину.

В комнате раздался дружный смех. Граф Орлов-Давыдов, пробормотав что-то по-французски, бросился к двери. Хозяйка дома попросила его остаться!

Однако после этого беседа стала вялой. Кропоткин, сказавшись больным, отпустил гостей.

Видимо, с той поры Ерошенко и стали причислять к анархистам. Даже восемнадцать лет спустя японский критик Хираока Нобуру утверждал, что Ерошенко "анархист в душе", хотя он и не "является носителем философских идей, как Прудон или Кропоткин" (5).

А между тем у Ерошенко не было тогда еще определенных социальных взглядов – друзья даже несколько лет спустя говорили о его неискушенности в общественных вопросах. Впоследствии он стал бунтарем, социалистом, но слепой ненависти к любому государству, свойственной анархистам, у Ерошенко никогда не было.

Однако у молвы свои законы: в Японии, где жил

впоследствии Ерошенко, вероятно, рассуждали так: разговаривал с автором "Записок революционера" и не попал под его влияние? Такого не может быть. В те годы Кропоткин был там весьма популярен.

Тем не менее все было не так. Кропоткин, по воспоминаниям Ерошенко, показался ему человеком, способным бунтовать лишь на бумаге. Разочаровавшись в анархизме, юноша стал искать ответа в книгах восточных мудрецов, увлекся буддизмом, для чего даже изучил язык пали – и все это будучи еще в Лондоне.

Как много успел Ерошенко за полгода – выучить, "увидеть", понять! Но это он осознает позже, на Востоке. Пока же еще ему были неясны дальнейшие планы. -

Возвращаться в Россию, чтобы снова играть в оркестре, не хотелось. И кто знает, сколько бы прожил он на берегах туманного Альбиона, если бы не случайный конфликт с супругами Меррик, заставивший его переехать к своему учителю мистеру Филлимору. Оста-ваться в Англии он больше не хотел.

Получив из России от Шараповой деньги, Ерошенко решил ехать домой. В конце сентября господин Филлимор посадил его на пароход, идущий в Гамбург. На немецком берегу Ерошенко встретили местные эсперантисты. "Зеленая эстафета" продолжалась, но теперь она ему практически была уже не нужна.

На душе у него было сумрачно. Мучила мысль – а не зря ли он вообще поехал в Англию?

(4) "Когда господин Ерошенко получше освоится с английским языком, его могут принять в этот колледж на один месяц", – писал журнал "Вокруг света" (1912, N 24). Однако он пробыл там вдвое дольше. В ответ на запрос А. Масенко и А. Панкова из Кисловодска дирекция института сообщила, что Ерошенко учился там с 20 мая по 23 июля 1912 г.

(5) Японская писательница Хирабаяси Тайко писала недавно, что по своим убеждениям Ерошенко был весьма далек от идей анархизма, поэтому никак не следует относиться к нему как к истинному анархисту.

В Японию

Пребывание в Англии, казалось, ничего в жизни Ерошенко не изменило. Один из его товарищей по оркестру, А. Белоруков, рассказывал: "Все мы тогда были молоды. Играли в ресторане на Сухаревской площади… Второй скрипач Василий Ерошенко,

научившись говорить на языке эсперанто, вздумал побывать в Лондоне… Месяцев через восемь он возвратился, владея уже не только эсперанто, но и английским". В общем, "съездил в отпуск", вернулся, словно речь шла о самой обычной поездке, – видимо, мало что рассказывал о ней Ерошенко.

А между тем путешествие в Западную Европу сделало его другим человеком. Он понял, что может ездить один, преодолевая языковые барьеры и трудности пути. Его захватила манящая радость дороги, знакомства, волнения, расставания, встречи, когда, кажется, один день вмещает месяц, а то и год оседлой жизни. Правы древние, говорил Ерошенко, "дорога – это жизнь". И возвращаясь домой, он твердо знал, что путешествие в Англию – не последняя его поездка.

В Англии он поверил в свои силы, здесь созрело его решение отправиться на Восток, в Японию. И не только потому, что из Лондона, столицы большой колониальной империи, Восток казался ближе, чем из России. Дело в том, что английские друзья, знавшие, как не хотелось Ерошенко возвращаться домой, искали для него "землю обетованную", где слепому живется тепло и вольготно.

В Японии, говорили они, – слепые – самые уважаемые люди; экипажи всегда уступают им дорогу. Незрячие музыканты – лучшие гости и в хижине крестьянина, и во дворце императора. Некогда один ослепший принц передал даже в монополию слепых право играть на народных музыкальных инструментах – кото и сямисэне и практиковать массаж. Да что слепые, там все живут, как в сказке, – чудесная природа, восхитительная Фудзияма, чайные церемонии, язык садов…

Правда, раздавались и другие голоса. Они предупреждали Ерошенко, что европеец в Японии всегда чувствует себя чужим; японцы охотно открывают красоты своей страны, но не свою душу. Но эти голоса только укрепляли решимость Ерошенко отправиться в Японию.

Отсюда, с берегов туманного Альбиона, солнечная Япония казалось ему сказочным Эльдорадо. Он верил, что там, на Востоке, в стране древних тайн, знают, как расцветить вечную ночь. И мечтал узнать мир, непохожий на Англию и Россию, ощутить его, вобрать в себя.

Вот почему сразу же по возвращении домой Ерошенко стал готовиться к путешествию на Восток: учил японский язык, переписывался с эсперантистами Японии, Кореи, Бирмы, запасался письмами к друзьям в Сибири.

В 1914 году московский журнал "La ondo de Esperanto" сообщил: "Слепой московский эсперантист господин Ерошенко,

предпринявший в прошлом году поездку в Англию, отправляется теперь в Токио (Япония). Господин Ерошенко путешествует без поводыря. Он хорошо говорит на эсперанто и собирается воспользоваться услугами Универсальной эсперанто-ассоциации".

Глава II. ЯПОНИЯ. (1914 – 1916)

Цветок сакуры

Русский корабль "Амур", следовавший из Владивостока, прибыл в японский порт Цуруга. Ерошенко вышел на палубу, слегка опираясь на трость. Казалось, он пристально вглядывается в толпу встречающих. Но он лишь ощущал, слушал. До него доносился чужой, пугающий гул толпы. Прохладный ветер с берега подсказывал слепому, что на востоке, где еще только поднималось солнце, должны быть холмы; его воображение рисовало портовую площадь, окруженную домами.

Волнуясь, Ерошенко пошел к трапу. Капитан козырнул странному пассажиру, которого, как выяснилось, ни-кто не встречал.

Что ж, Ерошенко специально никому не сообщил о своем приезде – не желал, чтобы его опекали, водили за руку, как маленького, И показав таможеннику свой нехитрый багаж – мешок, гитару и пишущую машинку, слепец зашагал в сторону вокзала, который, как он понял, почувствовав запах паровозного дыма, был где-то совсем неподалеку.

К счастью, в это время раздался далекий гудок паровоза. Ерошенко весь напрягся, запоминая направление. Он было уже зашагал дальше, когда кто-то решительно схватил его багаж, а самого потащил к коляске. Ощупывая колесо, Ерошенко вскарабкался на сидение. Обоняние подсказало ему, что лошади вблизи не было. Прежде, чем он окончательно осознал это, коляска тронулась. "Ну да, рикша, как же я это сразу не сообразил", – подумал Ерошенко.

Он представил себя едущим чуть ли не верхом на человеке и постарался поскорее рассчитаться с рикшей. Заплатил ему иену, а сам пошел к железнодорожным кассам. Однако в очереди его разыскал всё тот же рикша и, повторяя "Токио, Токио", сунул ему маленький картонный билет. Ерошенко поклонился и выговорил заученное им витиеватое японское приветствие: "Утро подобно бутону лотоса, освеженному росой". Рикша ответил тирадой, которую Ерошенко, конечно же, не понял. Но и после этого японец неотступно следовал за ним, а на перроне вышел вперед, прокладывая Ерошенко путь через толпу. Рикша посадил Василия в вагон, устроил его у окна и, сказав что-то, исчез.

Поезд шел несколько часов, и в Токио прибыл только под

вечер. Ерошенко, уставший от духоты и давки, поспешно вышел на перрон и зашагал к остановке трамвая. План его был прост – добраться до какого-нибудь отеля, а оттуда позвонить Накамура, человеку, с которым вот уже два года вел переписку.

На площади перед вокзалом собралась огромная толпа. Повсюду раздавались сдержанные возгласы: "Вассё!" ("Даешь!").

Мимо Ерошенко пробежал рикша с седоком. Он крикнул на ходу: "Суторайки!" (1) и побежал дальше. "Так вот в чем дело, – подумал Ерошенко. – В Токио забастовка, трамваи не идут. Придется опять нанимать рикшу".

Но подозвать рикшу он не успел – к нему подошел полицейский: видимо, этот европеец, стоящий посреди бушевавшей толпы, вызывал у него какие-то подозрения. Как ни объяснял Василий, что ему нужно в отель, его препроводили в участок. Навстречу вышел какой-то начальник, понимавший по-английски, он внимательно рассмотрел паспорт Ерошенко и спросил, куда он едет. На последний вопрос Ерошенко отвечал неопределенно: он сам не знал пока, где будет жить, да это было и неважно, главное, считал он, – попасть в Японию.

– Но есть здесь кто-нибудь, кто мог бы за вас поручиться?

– О да, – господин Накамура. Я не могу написать иероглифами его имя, но, по-моему, оно означает что-то вроде "средняя деревня".

Начальник начертал на карточке какие-то слова и передал девушке, сидевшей за столиком в углу. Она зашелестела телефонной книгой и набрала номер. Ответил не тот Накамура. Потом был второй, десятый, двадцатый – все не то. Казалось, справочник состоял из одних Накамура. Надо же было, чтобы у корреспондента Ерошенко была такая распространенная в Японии фамилия.

– Я вынужден вас задержать. Переночуете в камере. Завтра позвоним в управление.

Щелкнул замок портфеля – начальник собирался домой. В отчаянии Ерошенко стал перебирать вещи в чемодане.

– Вот письмо Накамура. Начальник повертел конверт.

– Здесь нет обратного адреса, указан всего лишь номер почтового ящика.

– Но я напишу ему. Он – директор главной метеорологической обсерватории. Ерошенко услышал, как начальник уселся в кресло.

– Накамура Кийоо? Член императорской академии? Так что же вы раньше не сказали?

Через пятнадцать минут Накамура был в участке. Он обменялся с Ерошенко несколькими фразами на эсперанто, а

затем обратился к шефу полиции. Тот взял под козырек и донес до машины чемодан слепого. Автомобили тогда в Японии были редкостью, и Накамура гордился своей роскошной машиной. Ерошенко ощутил едкий запах бензина и лака. А потом, когда машина свернула с магистрали в узкую улочку, где стоял дом профессора Накамура, ветер донес до Ерошенко еле уловимый аромат цветущей вишни. Несколько лепестков попали на ветровое стекло и забились там, как белые бабочки. Накамура снял их и, положив на ладонь, сказал:

– Сакура.

"Вот я, наконец, и в Японии", – подумал Ерошенко.

(1) Суторайки – от англ. strike – забастовка.

Первые шаги

Ерошенко поселился в доме Накамура. В первые же дни он рассказал профессору о всей своей жизни – с детских лет до приезда в Японию. Накамура тепло отнесся к слепому.

Почти каждый вечер они проводили вместе. Профессор возил Ерошенко по Токио, часто они отправлялись на машине за город. Гость из России рассказывал о своем желании познать Японию – новый для него мир, непохожий на тот, что окружал его дома, слушать его, осязать, пройти его с котомкой за плечами.

– О, как я хотел бы родиться заново! – с жаром сказал Ерошенко.

Профессор полушутя ответил:

– Я давно мечтал о таком сыне, как вы, Ерошенко-кун (2). С завтрашнего дня наша семья будет относиться к вам, как к новорожденному.

Из дневника Ерошенко:

"…Сегодня в семь утра я вновь родился на свет. Каймей (3) еще не состоялся, поэтому имени у меня пока нет. Я не умею еще говорить по-японски. Наша семья – отец, мать и семеро детей, включая меня. Я – второй сын. Старший брат – наследник профессора Накамура. Мы все должны почитать его и называть "ниисан", т. е. господин старший брат.

Обращаясь к Накамура, нужно стать на колени и коснуться лбом пола, произнося при этом "почтеннейший отец". Мать в семье таким уважением не пользуется. С сестрами следует разговаривать вежливо, подчеркивая всем своим видом, что они – существа низшего рода.

В первый день после приезда профессор обучил меня этому минимуму этикета, когда я нечаянно чуть не на-нес оскорбление его жене – пожалуй, самое большое из тех, какие можно вообще нанести терпеливой и все прощающей японской хозяйке, – я пытался прямо в ботинках войти в дом – ведь на улице было сухо, а к тому же мы приехали на машине. Накамура задержал меня, и я переобулся у порога в домашние туфли.

Хотя профессор получил образование во Франции, живет он, как и большинство японцев, в одноэтажном деревянном доме. Одно и то же помещение служит и гостиной, и столовой, и спальней. На ночь стол, за которым мы ужинали, убрали и мне приготовили постель: положили на пол татами – соломенные циновки длиной примерно два метра и шириной с метр: сверху их покрыли толстыми покрывалами – футоны. Я переоделся в нечто напоминающее халат – юката из хлопчатобумажной ткани – и уснул.

Утром, задвигая за перегородку свою циновку, узнал, что должен относиться к ней с особым почтением. Татами – мера многих вещей, говорят даже – комната площадью в десять татами. Эта циновка – символ дома, семьи, "татамосида" означает нечто вроде домашнего очага, хотя речь идет, разумеется, не об огне, а о соломенной циновке.

Собственно очага я в доме не обнаружил. Есть хибати – сосуд с тлеющими углями, над которым можно погреть руки, и похожая грелка для ног. Накамура-сэнсэй (4) разрешил мне их ощупать, они холодные, потому что сейчас весна. А пищу его жена готовит в садике, подальше от боящегося огня дома – оттуда доносятся вкусные запахи. Японцы очень опасаются пожаров, деревянные домики вспыхивают, как спички. Раньше я думал, что жилища здесь строят из дерева из-за боязни землетрясений. Однако такое мое замечание Накамура встретил улыбкой: ведь подземные толчки вызывают пожары, поэтому каменные дома были бы лучше, но дерево дешевле, к тому же японцы привыкли именно к этому материалу. В Японии сейчас век дерева и бумаги.

… Сегодня совершил первое путешествие по дому. Одновременно учился говорить. Накамура сказал, что день мне засчитывается за несколько месяцев и такому взрослому ребенку, как я, уже пора начать понимать по-японски. Меня опекает самая младшая из моих сестер – Тосико, девочка лет семи-восьми. Делает она это очень серьезно, как взрослая. Как только я притрагиваюсь к какому-то предмету, она произносит его название. Я повторяю за ней, и несмотря на мой варварский русский акцент, она не смеется надо мной – поправляет. Звучание слов записываю на карточках по Брайлю – буду ощупывать их по

ночам и заучивать наизусть.

Проснувшись, я сказал Тосико: "Охайо годзаимос!" ("Доброе утро!"). Девочка ответила мне столь длинным приветствием, что от многочисленных поклонов, которые пришлось сделать, у меня заболела спина. Я чувствую себя новорожденным, потому что мне приходится учиться самым простым вещам – например, кланяться или сидеть. У японцев это настоящее искусство. Женщина сидит обычно на пятках, сложив руки на коленях. Мужчины принимают такую позу только в общественных местах или в присутствии гостей: дома же среди своих они сидят, скрестив ноги, но не так, как буддийские монахи в пору размышлений, – так легче отдыхать. Я убедился в этом сегодня, хотя, говорят, японцы учатся сидеть таким образом в течение полугода. Сидеть по-мужски женщина не имеет права; чтобы отдохнуть, она может высунуть из-под кимоно ноги и отвести их чуть в сторону.

Научившись сидеть с помощью "ниисана" и Тосико, я встал. Слава богу, ходят японцы, как все люди. Правда, только мужчины. Женщины в деревянных сандалиях, гэта, видимо, вышагивают мелкими шажками, как бы пританцовывая (звук при такой ходьбе напоминает цокот) .

Я ощупал стену. Это – деревянные планки, оклеенные бумагой. Дерево естественное, строганое, но ни в коем случае не крашеное (красят свои дома только иностранцы, вызывая презрительные насмешки японцев). Деревянные планки протирают полотном и с годами дерево становится "сибу". Ни Тосико, ни сам "господин старший брат" не могли объяснить мне, что это означает. И очень хорошо, потому что найди я эквивалент этому слову, не состоялся бы разговор с профессором Накамура о японской эстетике. Попробую его записать.

Для того чтобы подчеркнуть различное эстетическое отношение к человеку, рисунку, одежде, японцы пользуются четырьмя словами, которые едва ли имеют точный перевод на русский язык. Об офицере в форме и при всех орденах, о молодой щеголихе, отправляющейся на бал, можно сказать, что они "хадэ". Слово это не подчеркивает отношения говорящего – ни уважительного, ни презрительного. Так говорят о новом экстравагантном танце или ярком девичьем кимоно. Развязные туристы кажутся японцам весьма "хадэ". Но этим же словом определяют и циркачей, выступающих на базарной площади.

Об актере театра, да еще одетом в кимоно, нельзя сказать "хадэ", только "ики". Так же говорят об утонченных городских гейшах. Быть может, "ики" значит "шикарно"? Отнюдь нет. "Ики" – это нечто традиционно красивое, тогда как понятие "шик" зависит от моды. Поэтому даже со вкусом одетая европейская женщина не

может быть "ики" – ее модная одежда будет казаться смешной уже через 20 – 30 лет, в то время как красота кимоно, в котором щеголяют гейши, непреходяща.

С годами и мужчины, и женщины носят более "осенние" кимоно. Их цвет обозначается словом "дзими". Правда, каждое новое поколение стариков носит менее яркую одежду, чем носили их однолетки раньше. Но так как молодежь одевается все более "хадэ", то оба эти слова – "хадэ" и "дзими" – являются антонимами.

…Профессор еще долго знакомил меня с японской эстетикой, но я признался, что понял совсем немного. Он улыбнулся и ответил: для такого "младенца", как я, это действительно сложно, но мне пора уже повзрослеть и пойти в школу.

Эту приятную новость Накамура припас напоследок: министерство просвещения разрешило принять меня в Токийскую школу слепых – правда, "студентом на особом положении" (интересно, что это значит?). Я поблагодарил Накамура-сэнсэй за его хлопоты и сделал это так усердно, что у меня до сих пор болит от поклонов спина".

(2) Кун – "дорогой, любимый" (яп.).

(3) Каймей – традиционный обряд перемены имени. Новый член семьи, например, зять или приемный сын, может взять себе другое имя.

(4) Сэнсэй – букв. "учитель" – в Японии уважительное обращение к образованному человеку.

"Дом света"

Осенью 1914 года Ерошенко стал вольнослушателем Токийской школы слепых. Как "студент на особом положении" он получил для занятий отдельную комнату, для него специально пригласили преподавателя массажа, а курс японской литературы читал ему профессор, говоривший по-русски.

Ерошенко был несколько смущен таким исключительным вниманием, которое к нему проявляли, и не знал, чем это вызвано. Видимо, здесь не обошлось без влияния академика Накамура. Как бы то ни было, благодарный студент с головой окунулся в учебу; ему, как вольнослушателю, представлялся выбор, и он решил изучать четыре предмета – психологию, медицину, музыку, японский язык и литературу.

Говорят, учиться никогда не поздно, но в 1914 году Василий Ерошенко был уже великовозрастным студентом – ему минуло

двадцать четыре года, он закончил школу слепых в Москве, занимался в колледже под Лондоном. Что же привлекло его в японскую школу? Ответ содержится уже в самом вопросе – школа эта была японской: отсюда для Ерошенко открывались дороги на Восток, где он собирался прожить не один год.

В Токийской школе слепых помимо японского языка Ерошенко осваивал иглоукалывание и массаж, кроме того овладевал искусством игры на кото и сямисэне.

Музыка открывала слепому душу народа: слушая ее, он как бы впитывал культуру Японии. Ерошенко быстро овладел мелодией японского стиха; он выучил около двухсот пьес, из века в век исполняемых на кото и сямисэне.

В одной из своих статей Ерошенко сравнивал положение слепых музыкантов на Западе и на Востоке. Где-нибудь в Европе, писал он, незрячий исполнитель всегда уступает зрячему, ведь он вынужден заучивать наизусть то, что другой читает с листа. На Востоке же они оказываются в равных условиях: для игры на кото и сямисэне не надо знать нот. Ну а там, где дело касается памяти, зрячему состязаться со слепым тяжело. Вот почему лучшими знатоками и авторитетами в японской классической музыке, как в старые времена, так и в наши дни, всегда были слепые музыканты. Многие из них занимали высокие посты при дворах сёгунов и императоров.

Высшая школа для слепого недоступна. Правда, в законе нет параграфа, который запрещал бы ему учиться в университете, но ведь для этого нужно раньше закончить среднюю школу, а туда в соответствии с законом может поступить лишь человек с нормальным зрением. Таким образом, слепой в Японии, как некогда и в России, оказался отстраненным от высшей школы…

Ерошенко не собирался становиться ни массажистом, ни музыкантом. Вероятнее всего, его интересовала дорога в высшую школу. Тяга к знаниям у него была так велика, что даже десять лет спустя, несмотря на возраст, он слушал лекции в Геттингене и Сорбонне.

Однако в то время, о котором идет речь, Ерошенко волновала не только учеба. Токийская школа была для него прежде всего окном в Японию. И все же он страдал от одиночества. Специальный педагог, отдельная комната для занятий – все это, наверное, хорошо для того, кто решил посвятить себя только науке. У Ерошенко же были иные цели: его интересовала страна, люди, которые в ней жили, а здесь его мир ограничивался школой и общежитием. К тому же со студентами поначалу у него сложились довольно странные отношения. Молча приходили они послушать его гитару, так же молча слушали его неправильную

японскую речь.

Сказывалась ли в этом сдержанность японцев по отношению к иностранцу, или он и впрямь еще плохо владел языком, и его не понимали? Этого Ерощенко не знал. Но он чувствовал, что между ним и студентами существует барьер – языковый, психологический и какой-то еще.

От одиночества Ерошенко искал спасение либо в международном клубе эсперантистов, либо в кафе "Ма-цуисита", где они собирались. Кроме японцев – профессора Накамура, переводчика Оно Вадзиро, поэта Ито Таканоске, философа Курио Семи – туда приходило обычно немало иностранцев. За столом слышались шутки и смех, то там, то здесь вспыхивали споры: допоздна звучала гитара Ерошенко.

Это был гостеприимный остров в пугающем, чужом океане людей, какой представлялась в то время Василию Ерошенко Япония.

В школе слепых у Ерошенко был товарищ – простой деревенский парень Тории Токудзиро. Как-то Ерошенко привел его в кафе "Мацуисита". Позднее с помощью Тории он организовал в школе кружок эсперанто. Обучал слепых с голоса, разыгрывал с Тории сценки, пел песни, которые Тории переводил на родной язык. Таким образом, обе стороны изучали языки: Ерошенко – японский, японцы – эсперанто.

Впрочем, для Ерошенко изучение эсперанто никогда не было самоцелью, с его помощью он хотел лишь "увидеть" мир. Однажды, рассказывая студентам о своей поездке в Англию, Ерошенко предложил собрать группу энтузиастов и отправиться в Америку. Он уже списался с американскими эсперантистами, и те согласились помочь.

Студенты – смутились – как же они одни поедут в Америку, так далеко, если даже в Токио не могут обойтись без поводыря? Что же, сказал Ерощенко, было бы желание, а он готов научить их ходить по городу самостоятельно, "по-зрячему".

К этому времени русский слепец уже неплохо ориентировался в Токио. Об этом в 1963 году вспоминал Хасиура Ясуо: "Ерошенко был сверх меры наделен остротой ощущения… Я нередко встречал его возле угла Оцука. Дальше улица сильно сужалась и шла вдоль обрывистой речки Когава, бесконечно петляя и извиваясь. Он шел, держа палку в правой руке навесу, но не ударял ею о землю. Когда он слышал, что едет телега, давал ей приблизиться и в самый последний момент уступал дорогу.

Я также частенько видел его в Канда синкатай и в других местах. Он всегда шел, не касаясь палкой земли, совершенно точно поворачивал в переулок, что около госпиталя Сано, и шел

дальше. Когда же уличное движение усиливалось, он останавливался, пережидал и затем, перейдя на другую сторону, входил в переулок, словно был совершенно зрячий.

Я спросил его однажды: "Как вам удается правильно находить дорогу?" Он ответил: "Помогают звуки, колебания воздуха, я чувствую их лицом"".

Хасиура Ясуо, видимо, не догадывался, сколько усилий тратил Ерошенко на такую "зрячую" прогулку. Токио и в начале века был уже шумным городом (а шум для слепого, не раз говорил Ерошенко, то же, что для зрячего – темнота). Вероятно, в этом большом городе ему было труднее определить направление, чем скажем, в Лондоне или Москве, – вокруг были чужие, незнакомые звуки: перестук гэта и скрип коляски рикши, шелест кимоно.

Научившись ходить по Токио, Ерошенко стал поводырем для своих незрячих товарищей. Об этом свидетельствует случай, описанный Такасуги Итиро в книге "Слепой поэт Ерошенко".

Известно, что в Токио в начале века часто случались пожары. И вот однажды, когда Ерошенко гулял по городу со студентами школы слепых, он почувствовал запах дыма. Слепому показалось, что горит дом их любимого учителя. Несмотря на то что полиция оцепила район пожара, Василий какими-то одному ему известными тропами привел студентов к дому. К счастью, пожар прошел стороной. Как же радовались студенты, что им удалось проникнуть туда, куда не попали зрячие!

В это время Ерошенко начал проявлять себя как педагог. Он учил студентов не зависеть от зрячих, быть самостоятельными во всем, ничего не принимать на веру и сам был в этом для них примером.

Однажды группа слепых во главе с учителем школы поехала в город Камакура к могиле основателя династии сёгунов Иоритомо. Пока учитель рассказывал о жизни и деяниях Иоритомо, Ерошенко перелез через ограду и стал ощупывать выпуклые изображения и иероглифы на памятниках.

Учитель спросил Ерошенко, почему он так поступил:

– Господин учитель, вы видите глазами, а мои глаза – это руки. Как же иначе я могу убедиться, что это действительно могила Иоритомо? – ответил тот.

Вряд ли его скептицизм был по вкусу учителям и студентам школы слепых. Здесь учили все принимать на веру, чтобы незрячий амма (массажист) или музыкант нашел свое место в обществе. Ерошенко же был человеком со стороны, "студентом на особом положении". Быть может, поэтому в школе у него были только соученики, но не близкие друзья.

Акита Удзяку

Февральским днем 1915 года Ерошенко сидел, задумавшись, в парке Нара, куда он приехал отдохнуть. Неожиданно незнакомый человек обратился к нему по-английски:

– Простите, не говорите ли вы по-японски?

– Да, немного (5), – ответил Ерошенко.

Это был уже известный тогда драматург Акита Удзяку, который только что возвратился с Хоккайдо – созданный им и актером Савада Сёдзиро (6) театр "прогорел". Несчастья преследовали Акита, и он подумывал уже свести счёты с жизнью. И вдруг ему встретился человек, который, казалось бы, должен быть несчастнее его.

– У меня отец слепой, – сказал Акита. – Он ослеп уже на моей памяти и очень скучает по свету. А вас угнетает тьма?

– Да, конечно, ведь и я с рождения был зрячим. Вначале, когда ослеп, мне было очень тяжело. Потом научился связывать свет со словами. Мне, например, очень нравится, когда женщина носит имя Светлана или Клара – ведь "клара" значит "светлый, ясный".

– Вы различаете день и ночь?

– Конечно, всем существом своим я чувствую ясный день, яркое солнце. Поэтому я люблю вашу страну – здесь так много солнца!

– Только мне одному оно не светит, – тяжело вздохнул Акита. – Родители назвали .меня Токудзо (7). Они должны были бы дать мне другое имя – три несчастья.

И Акита поведал Ерошенко о своих бедах. Вначале умерла его маленькая дочь, потом за упущение по службе был посажен в тюрьму отец, и вот рухнуло дело, на которое он возлагал столько надежд.

– Я не знаю, как мне дальше жить, – тихо сказал Акита.

– У нас, в России, есть поговорка: "Пришла беда – отворяй ворота". Да, конечно, вам сейчас очень трудно. Но не кажется ли вам, Акита-сан, что вы тот человек, который, как говорят русские, "из-за деревьев не видит леса?" Признаюсь честно: я боюсь одиночества, и когда мысль о том, что до конца дней своих не увижу света, приближает меня к отчаянию, я иду к людям, с головой ухожу в работу я вскоре убеждаюсь – жить всегда стоит. – И Ерошенко повел Акита в пансион Хайшикуа, где жил сам,

познакомил с товарищами, помог получить жилье и работу.

Ерошенко все время чем-то занимался – лепил фигуры из глины, устраивал диспуты об искусстве, выступал перед студентами с пением русских песен. Акита все это увлекло, к тому же он, как и Ерошенко, 'боялся одиночества, того состояния, которое японцы выражают словом "сабисий".

Но особенно заинтересовал Акита язык эсперанто. Он так писал об этом в "Автобиографии": "Когда я совершенно отчаялся в жизни и дошел до крайней степени нигилизма, в поле моего зрения появился Василий Еро-шенко. Я узнал, что Ерошенко, будучи слепым, с огромным энтузиазмом трудится на благо мирового движения эсперантистов. Я сразу же начал изучать язык эсперанто". Общие интересы сблизили Акита и Ерошенко. Японского писателя привлекала русская культура, история России. Еще до встречи с Ерошенко Акита написал пьесу "Первая заря", направленную против русско-японской войны: в ней он с большой симпатией изобразил русских. Позднее в память казненного правительством японского анархиста, революционера Котоку, им была создана драма "Лес и жернова" – подлинный гражданский подвиг Акита Удзяку. Эти пьесы произвели на Ерошенко сильное впечатление, он был восхищен мужеством японского друга.

Той же весной 1915 года Акита познакомил Ерошенко со своими товарищами, которые так же, как и он сам, интересовались русским языком и литературой (8). Катагами Нобуру, молодой преподаватель университета Васэда, мечтавший о создании первой в стране кафедры русской литературы, собрал в лавке "Накамурая" на Синдзюку кружок энтузиастов – Акита Удзяку, Ёсие Такамацу, Кацураи Масаюкискэ, Сома Кокко. Здесь, вспоминает Акита, собиралось "Общество красношапочников", все члены которого носили красные фески. Это был дискуссионный клуб, где спорили о политике, о жизни, о литературе. Под руководством некоего Найта, выпускника токийской православной школы св. Николая, они начали изучать русский язык. Однако Катагами Нобуру мечтал, чтобы занятия вел не англичанин Найт, а кто-либо из русских. И когда Акита порекомендовал ему Ерошенко, тот с радостью согласился.

Душой литературного общества, собиравшегося вечерами в лавке "Накамурая", была журналистка Сома Кокко, хозяйка кафе и магазина. К Ерошенко она относилась по-матерински: поселила его у себя в доме, платила деньги за то, что ой обучал её русскому языку. Русский слепец казался ей большим ребенком, которого жестоко обидела жизнь – лишила возможности видеть. В свою очередь, Ерошенко от души привязался к госпоже Сома.

Благодаря ее заботам "Накамурая" стал родным домом Ерошенко.

Акита и Ерошенко объединяла также страсть к театру. Теперь мы знаем, что это увлечение нашло и конкретное проявление. Одним из наиболее значительных произведений Ерошенко стала написанная на японском языке пьеса "Персиковое облако", высоко оцененная Лу Синем. Быть может, этот успех слепого писателя был определен тем, что с японским театром знакомил его такой знаток драмы, как Акита Удзяку.

Известный актер Сасаки Такамару в 1973 году вспоминал в "Акахата", что в годы пребывания Ерошенко в Японии в доме Сома Кокко образовался кружок "Цутино кай" ("Земля"), которым руководил Акита Удзяку. Из этого кружка родился знаменитый "Передовой театр" ("Сэнкудза"), который, в свою очередь, дал жизнь таким театральным труппам и коллективам, как "Театр в чемодане" ("Торанку-гэкидзё"), "Авангард" ("Дзэнъэй гэкидзё"), "Пролетарский театр" ("Прорэтариа гэ-кидзё") и "Левый театр" ("Саёку гэкидзё") (9).

"В занятиях нашего кружка, – вспоминает Сасаку, – принимали участие… госпожа Сома Кокко и ее дочь Тикако. Неизменными слушателями были сам хозяин – господин Сома Айдзо и Ерошенко… Критические замечания Ерошенко, как правило, были острыми, порой даже резкими. При этом он не щадил даже свою благодетельницу, госпожу Сома, которая любила его, как мать. Я лично объясняю это следующим: лишенный зрения и полагавшийся только на слух, Ерошенко обладал способностью очень точно улавливать смысл реплик той или иной роли…"

Пройдут годы, театральные критики, оппоненты слепого писателя из разных стран будут говорить ему: "Как вы спорите, если вообще ничего не можете увидеть на сцене – вы же слепой?" Ерошенко с достоинством ответит: "О, вы даже не догадываетесь, как много может увидеть в театре незрячий?!"

И впервые он так ответит здесь, в Японии, в доме Сома – ответит резко, даже рискуя потерять и стол и кров, потому что не было для него на свете ничего дороже правды…

Акита открыл для своего русского друга японский театр. Сопровождая Ерошенко на спектакли и комментируя ему все происходящие на сцене действия, Акита стал его глазами. Хасиура Ясуа, живший неподалеку от друзей, вспоминал, что чаще всего они ходили в театр "Новой драмы" и "Кабуки". Причем Акита был просто поражен критическими замечаниями слепого друга. Ерошенко, отмечал Хасиура, всей душой чувствовал истинную сущность вещей, чутко воспринимая все происходящее на сцене.

Акита как-то раз вспоминал, как они с Ерошенко смотрели пьесу, в которой по ходу действия появляется буддийское божество Сакья-Муни (10).

– Разве в Японии на сцене могут появляться боги? – спросил Ерошенко.

– Да, а что? – удивился Акита.

– В России святых никогда не изображают на сцене.

– Вот как!? У нас подобный запрет распространяется только на лиц императорской фамилии, – иронически заметил Акита.

Ерошенко рассмеялся: неестественно напыщенный Сакья-Муни напоминал великого князя Сергея Александровича, и Василий представил их себе на сцене рядом. Став завсегдатаем японского театра, Ерошенко, разумеется, не пропускал ни одной пьесы русских авторов. И всегда рядом с ним был Акита. Однажды они смотрели в театре Энгидза драму писателя-декадента Сологуба. Зал так холодно принял постановку, что Ерошенко стало жаль актеров. Когда после спектакля к нему подошел артист Камияма Сёдзи, Ерошенко сказал:

– Вы не виноваты – актеры играли с вдохновением. Просто никто из вас не понял смысла пьесы. А есть ли в ней вообще смысл? Впрочем, нечто подобное произошло с этой пьесой и в Москве.

Всего через год после приезда в Японию Ерошенко вполне освоился в обществе и уже настолько овладел японским языком, что мог свободно на нем объясниться. У него появились друзья. Кажется, одного не хватало ему для полного счастья – любви. Но и она пришла к нему в этот счастливый для него 1915 год.

(5) По свидетельству Акита, в то время Ерошенко по-японски говорил, как японец, долго проживший в Европе.

(6) Савада Сёдзиро – известный театральный деятель. В 1917 г. основал театральную группу, целью которой была постановка спектаклей для широких народных масс. В результате ее деятельности сложился и до сих пор весьма популярный в народе жанр японского театра – синкокугэки. Основная тематика пьес синкокугэки – жизнь воинов и разбойников эпохи феодализма. (7) Токудзо – букв. "три добродетели". Удзяку – псевдоним писателя.

(8) До конца своей жизни Акита был пропагандистом литературы нашей страны. В 1957 г. в Токио вышли переведенные им русские народные сказки.

(9) В начале XX в. а Японии под влиянием европейского театра возникла современная драма – сиигэки. Акита Удзяку был в числе ее создателей. Созданные им театральные коллективы несли свое искусство в массы. Например, актеры "Торанку-гэкидзё" нередко появлялись в рабочих кварталах с чемоданами,

набитыми костюмами, выступая под открытым небом.

В 1926 г. "Дзэнъэй гэкидзё" открыл свой сезон пьесой А. В. Луначарского "Освобожденный Дон-Кихот". "Саёку-гэкидзё", пришедший на смену этому театру, показал ряд революционных пьес. У его входа обычно дежурила полиция, которая выпытывала у зрителей, кто они, где работают. В 1940 г. два театра, которыми руководил Акита, закрыли, а сам он был арестован.

(10) Одно из имен Будды.

Камитика Итико

Как-то Ерошенко сообщили, что его разыскивает красивая молодая американка Агнес Александер, дочь президента университета на Оаху (Гавайи). Ерошенко тотчас отправился в особняк госпожи Александер. Из разговора с ней он узнал, что она встречалась в Швейцарии с Анной Шараповой и та рассказала ей о слепом юноше.

Начиная с весны 1915 года Василий Ерошенко стал постоянно бывать в доме Агнес Александер, где он встречал многих европейцев; нередко приходили сюда и японцы. Однажды Ерошенко познакомился здесь с очаровательной двадцатисемилетней журналисткой Камитика Итико. Уже после первого крепкого, почти мужского рукопожатия новой знакомой Василий понял, что перед ним не совсем обычная японка – смирная, застенчивая, стыдливая, – а женщина совершенно иного типа. Она его заинтересовала.

– Вам нравится салон госпожи Александер? – спросил Ерошенко.

– Здесь бывают интересные люди, а для человека моей профессии это важно.

– Я слышал, что у вас "мужское перо".

– Что же поделаешь, если сейчас многие мужчины пишут, как слабонервные женщины. Вот нам и приходится вести себя по-мужски.

– О, у вас не только острое перо, но и язык тоже!

– А вам это не нравится?

Прощаясь с новым знакомым, Камитика снова крепко пожала ему руку.

"Ерошенко, – отмечает японская писательница Хирабаяси Тайко, – полюбил Камитика. Но чувство это не было похоже на обычную страсть, скорее это был тайный жар души. Что же

касается Камитика, – продолжает Хирабаяси, – то она, будучи в дружеских отношениях со слепым юношей, испытывала к нему скорее сострадание; но не питала чувства, которое можно было бы назвать любовью. Она смеялась над слухами об их интимных отношениях. Вероятно, даже близкий ей и Ерошенко Акита Удзяку не понимал этого спокойного, слишком спокойного чувства. Он строил догадки об их отношениях и ничего не мог понять".

Ерошенко и любимая им женщина часто появлялись на людях вместе. И когда Камитика, переводя Ерошенко через улицу, брала его под руку, лицо ее русского друга освещалось улыбкой. Приятели шутили, что их Эро-сан наконец совершенно счастлив, и в самом деле, былой его грусти как не бывало.

В мае 1915 года Акита записал в своем дневнике:

"Камитика всем говорит, что Ерошенко ей нравится, а на днях она, поддразнивая госпожу Александер, уехала с ним вдвоем в трамвае". Хирабаяси, комментируя эту запись, замечает, что Акита просто ревновал Камитика к Ерошенко.

И действительно, ситуация оказалась довольно сложной: Ерошенко нравился госпоже Александер, Акита же любил Камитика. В свою очередь, Камитика тоже была влюблена – в известного японского писателя и революционера Осуги Сакаэ.

И Акита, и Ерошенко, конечно же, хорошо знали Осуги, который был основателем Японской эсперанто-ассоциации, – они не раз встречались с ним в кафе "Мацуисита". Но, как замечает Хирабаяси, весной 1915 года Акита еще "не знал, что в это время разгоралась любовь Камитика и Осуги Сакаэ".

Друзья не знали, что Осуги ушел от жены, и Камитика, желая помочь ему материально, заложила все свое имущество, вплоть до личных вещей. Любовь эта закончилась трагически, но произошло это в то время, когда Ерошенко в Японии уже не было.

А пока Ерошенко страдал. Если бы на месте Осуги был другой человек, у влюбленного, быть может, появилась бы надежда. Но Осуги, писателя и революционера, Ерошенко глубоко уважал. К тому же Осуги и Камитика связывало общее дело.

Выходец из богатой семьи, Осуги отверг открывавшуюся перед ним блестящую карьеру и выступил против существующего строя. За свою короткую жизнь он сидел в тюрьме много раз. Там он написал сотни статей, книгу о М. Бакунине, перевел "Записки революционера" П. Кропоткина и "Происхождение видов" Ч. Дарвина.

Советский литературовед Г. Д. Иванова отмечает, что Осуги мечтал создать общество, свободное от гнета центральной власти, и рассчитывал утвердить на земле государство свободного труда,

а после "рисовых бунтов" 1918 года считал, что революция в Японии – дело ближайших двух-трех лет. "Его идеи, – пишет Г. Иванова, – были противоречивы, но недостатки его теорий искупались увлеченностью, страстным отрицанием социального зла, готовностью против него бороться".

"Терпеливое рабство – это как раз и есть верх аморальности. Для меня привлекательней непокорные герои Горького… Видеть несправедливость и не бороться против нее – значит не быть художником и вообще человеком". Эти высказывания Осуги хорошо отражают его взгляды.

Таким был Осуги Сакаэ – человек удивительной судьбы. И Ерошенко со всей искренностью преклонялся перед ним. В 1922 году он помог Осуги пробраться через Китай в Европу, на съезд анархистов. А в любви они, увы, оказались соперниками.

Бессонные ночи поэта, что знаем мы о них? От той поры сохранились лишь русские по духу стихи "Весна идет и возвращается любимая" (написанные на эсперанто) о девушке-березке, что стоит "во чистом поле". Камитика не читала их – она не знала ни русского языка, ни эсперанто.

Но любовь совершила чудо, и русский человек начал создавать произведения на языке своей любимой. В январе 1916 года журнал "Васэда бунгаку" опубликовал "Рассказ бумажного фонарика" – первую новеллу, написанную Ерошенко по-японски.

… Был праздник. Множество людей, взяв в руки разноцветные фонарики, веселились в ночи, танцевали и смеялись, били в барабаны и играли на сямисэнах. И только один человек грустил – высокий юноша, пришедший в ресторан на озере с группой иностранцев. А может, он просто любовался сакурой? "Почему он грустит?" – подумала гейша и, проходя мимо него, сказала:

"Сегодня в парке, наверное, было более интересное занятие, чем любование цветами". Но юноша не посмотрел на нее.

Она заиграла на сямисэне, но он продолжал сидеть, наклонив голову. Так он приходил сюда и сидел каждый вечер. Но гейше показалось, что он тайно следит за ней: ведь когда гости приглашали ее, юноша бледнел. И тогда девушка, пройдя мимо него, обронила фиалку, что на языке цветов означает признание в любви. Но странный юноша, видимо, не понял этот красноречивый знак. Почему? Однажды он сказал так, чтобы услышала гейша:

"Хотя я и возвращаюсь на родину, но счастье мое останется здесь". Девушка ждала, что он хотя бы посмотрит на лее. Однако юноша словно избегал встречаться с ней взглядом.

Но гейша полюбила его. Она рассказала о своей любви

бумажному фонарику и передала его странному юноше. Однако фонарик сказал: "Мой свет был зажжен огнем ее любви. Он для нее важнее, чем даже свет луны. И она просила передать, что любит только меня". "Понимаю, – ответил иностранец. – Она любит лишь свет, лишь то, что его излучает. И свет бумажного фонарика для нее важнее и дороже, чем сияние далекой луны". Он возвратил фонарик гейше и, поблагодарив ее, сказал, что не нуждается ни в каком чувстве. А когда юноша уехал, девушка узнала, что он слепой. "О боги! Значит, он был слепой? Слепой!.." – восклицает она в отчаяньи. Теперь ей стало ясно, почему он не смотрел на нее. Только предательство фонарика осталось для нее тайной.

После выхода в свет этой новеллы Ерошенко стали называть поэтом. И действительно, она очень поэтична. В ней слышны плеск волн и смех людей, вспоминающих счастье молодости; перестук барабанов и музыка сямисэнов. В самих словах автора словно скрыт второй, не до конца понятный читателю смысл. "Мой свет важнее твоего, луна!" – восклицает фонарик. "Когда темно, важен любой свет", – обижается луна. "Впрочем, разве морская волна с ее непостоянным, изменчивым характером способна понять, что такое свет?" – спрашивает автор. И даже речи людей, замечает он, наполняются здесь особым значением.

Новелла напоминает своеобразный рисунок тушью. Ерошенко пользуется методом "черно-белого описания", привычным китайской литературе. И это делает рассказ близким сердцу японского и китайского читателя. Автор мастерски положил на бумагу свет и тени. Его картина, проникнутая грустью, не угнетает. Поэт как бы хочет сказать: "Любовь прекрасна и тогда, когда счастье невозможно".

Надо отметить, что произведения, в которых действуют гейши, традиционны для японской литературы. Но Ерошенко вводит необычного героя – иностранца, за которым угадывается автор. Друзья и знакомые Ерошенко искали прототипы и других персонажей новеллы. За гейшей им виделась Камитика, а за бумажным фонариком – "соперник" Ерошенко Осуги Сакаэ.

Разумеется, такое толкование новеллы не может быть единственным. Более того, для тысяч читателей не так уж, может быть, важно, какие реальные события скрываются за "Рассказом бумажного фонарика" и как они преобразовались в воображении автора.

Не физический недуг героя разводит влюбленных, это делает бумажный фонарик, который гейша зажгла огнем своей любви… Не намекает ли автор, что Осуги – светильник, зажженный Камитика, и этот свет так ослепил ее, что она не замечает ничего

вокруг?

Нет ничего лучше света, рожденного любовью, считал Ерошенко. Но бумажные фонарики недолговечны, а луна сопровождает человека всю жизнь. И поэт хотел быть для своей любимой подлинным другом – далекой луной, свет которой не ослепляет, а помогает найти дорогу даже в самой глухой ночи.

Кораблик счастья

Ерошенко старался как можно чаще видеться с Камитика. Он уже не представлял свою жизнь без общения с этой красивой умной женщиной. Ей слепой писатель читал свои новые сказки, целиком доверяя художественному вкусу "Нины" (он называл Камитика именем своей любимой младшей сестры). И она действительно была для него всем – подругой, матерью, сестрой. Встречались они обычно в доме мисс Александер, которая умела создать в своей квартире непринужденную обстановку. Нередко хозяйка заводила разговоры о братстве людей в расколотом враждой мире, о равенстве мужчин и женщин, о том, что представители разных религий не должны выступать друг против друга, ибо, говорила она, богов много, а истина одна.

Так, Агнес исподволь знакомила своих гостей с религиозным учением – бехаизмом, проповедником которого была.

В начале XX века бехаизм, возникший в Ираке в середине XIX в. в среде бабидов, бежавших из Ирана от преследований шахского правительства, не успел еще выродиться в реакционную секту, он включал в себя также и революционно-демократические призывы к равенству людей, стремление уничтожить войны, требование всеобщего образования. Вероятно, поэтому бехаизм получил некоторое распространение за пределами Ирака, в частности в кругах передовой японской интеллигенции, искавшей пути развития общества. В увлечении бехаизмом сказались и незрелость рабочего движения в Японии, и засилье мелкобуржуазной стихии, и слабое распространение марксизма в стране.

Ерошенко не минуло это поветрие; он в какой-то мере стал приверженцем бехаизма. В этом учении его привлекало все, что роднило бехаизм с толстовством: абстрактный призыв любить ближнего, пацифизм. Помимо всего бехаисты были сторонниками изучения эсперанто, который, по их мнению, должен был стать языком объединенного человечества. Правда, мистические формы

бехаизма – заклинания, магические циклы – уже тогда казались Ерошенко шелухой, за которой, как он, однако, считал, скрывалось здоровое ядро – общие моральные правила для всех людей, попытки согласовать религию с наукой и даже готовность некоторых бехаистов отбросить всякую веру, если она мешает братству народов.

В доме Агнес Александер Ерошенко много спорил о догматах основателя бехаизма Мирзы Хусейна Али Бехауллы и его сына Абдулы Бехи. Эти споры то сближали, то разделяли его с друзьями – Камитика и Акита, который тоже увлекся этим учением.

Как же отразились идеи бехаизма в сказках Ерошенко?

В одной из них автор зовет людей покинуть города и жить на лоне природы. Только там, вдали от цивилизации, они сами превратятся в богов ("Божество Кибоси"). Он сетует на несправедливость в этом расколотом на богатых и бедных мире и мечтает о некоем подводном царстве, где все любят и заботятся друг о друге и даже принцесса может стать женой полюбившего ее рыбака ("Морская царевна и рыбак"). В сказке-притче "Дождь идет" Ерошенко рассуждает о некоей туманной "общности всех религий" и о том, что в зависимости от восприятия разных людей абстрактное божество, всемирный дух может конкретно воплощаться в Христе, Магомете или Будде.

Наивность этих мечтаний настолько очевидна современному читателю, что не нуждается в дополнительных разъяснениях. Однако даже находясь под влиянием бехаизма, Ерошенко в лучших из своих ранних произведений сумел выразить неприятие окружавшего его мира. Это хорошо видно в его сказке "Кораблик счастья".

…В доме, где рассказчик снимал комнату, у хозяев был очень странный сын по имени Кин-тян. Родители считали его нервнобольным и обычно запирали в комнате. Но он пробирался к рассказчику и изводил его глупыми вопросами. Рассматривая фигурки Будды, Христа и ангела у него на токонома (11), Кин-тян говорил: "Это и есть те боги, что создали вселенную? А кто из троих это сделал? И кто из них глупее, а кто умнее?… Если бог всесилен, то почему же он создал мир таким несовершенным?"

Что можно было ему на это ответить? С каждым днем Кин-тян становился все угрюмее.

Однажды рассказчик застал мальчика в своей ком-нате. Тот бросал на пол фигурки ангела, Христа и Будды и кричал каждому из них: "Эй ты, почему ты создал мир таким плохим? А ну, сотвори его заново. Или ты не можешь?".

На шум прибежали родители. Позвали врача. Тот сказал, что

Кин-тян болен, но он не в силах ему помочь; однако если в жизни мальчика случится большая радость, он, быть может, выздоровеет.

С тех пор Кин-тян всегда оставался в комнате Василия ночевать, и тот рассказывал ему сказки, которые он очень любил.

Как-то мальчик разбудил его и сказал: "Только что я видел ангела. Он приплыл ко мне на кораблике счастья и обещал, если я буду хорошим, забрать меня в золотую страну".

Ерошенко ощупал токонома – фигурки ангела там не было. Но прибежали родители и сказали, что и ангел, и кораблик – все это сон, и увели мальчика на свою половину.

Когда Кин-тян снова пришел к нему, тот сказал:

"Кораблик счастья и красивый ангел – не сон… Я верю, что это не сон. Но сесть на этот корабль дано не всем…"

С тех пор мальчик перестал капризничать, а врач, снова осмотревший Кин-тяна, сказал, что теперь он совсем выздоровел.

Однажды ночью Кин-тян снова разбудил рассказчика и сообщил, что за ним, Кин-тяном, прибыл кораблик счастья, но ему жаль уплывать в золотую страну одному без друга. Русский ответил ему с большой грустью, что не имеет права уезжать без своих друзей, без всех тех, кого он любит на этой грешной и печальной земле.

"Если бог всесилен, почему он не может построить корабль счастья, на котором уместилось бы все человечество?" – спросил тогда Кин-тян. "Не знаю, мальчик. Но я живу для того, чтобы построить корабль счастья для всех", – ответил устами героя сказки Василий Ерошенко.

Наивная мечта, не так ли? Но рассказчик признается, что он – "безумец" и "безумие" это наследственное. "У меня в роду, – пишет автор новеллы, – был сумасшедший дедушка. Он не признавал государства, забросил семью, отказался от личного счастья ради того, чтобы создать счастливое общество для всех людей. Этим он загубил свою жизнь; его повесили, обвинив в том, что он член анархистской партии. На суде было десять врачей, девять дали заключение, что он сумасшедший.

Только один, самый известный из них, доказывал суду, что мой дед здоров. Но суд его не послушался".

Герой этой сказки открывает плеяду ерошенковских "безумцев", не принимающих окружающую их действительность. Это – Тополиный Мальчик ("Зимняя сказка"), Крот ("Персиковое облако"), Принц ("Цветок Справедливости"), Орлиные сердца ("Сердце орла"), Бот-тян ("Странный Кот") и многие другие, в которых нетрудно разглядеть черты самого Ерошенко.

Эти сказки, написанные в разное время, приводят читателя к

неизбежному выводу: безумны не герои сказок, а общество, в котором люди. Готовые жертвовать собой ради других, считаются сумасшедшими.

Герой "Кораблика счастья" отказывается от личного счастья, не желает уезжать в страну мечты даже вдвоем с любимой (прообразом Кин-тян, по признанию Ерошенко, была Камитика). Слепой писатель решил поступить, как герой "Рассказа бумажного фонарика", – оставить свою возлюбленную, уехать от нее навсегда, чтобы где-то вдали от нее строить свой "корабль счастья".

(11) Декоративная ниша в японском доме, где помещаются фигурки.

Ветер странствий

В июне 1915 года несколько русских, живших тогда в Японии, – А. Постников, И. Серышев, Н. Кузнецов решили отправиться в Америку и согласились взять с собой Ерошенко. Он воспрянул духом: неужели он увидит Гавайи, Ниагару, Великие Озера – места, о которых с таким восторгом рассказывала госпожа Александер!

О своих планах Ерошенко рассказал профессору Накамура.

Но что мог сказать профессор восторженному другу, витавшему, как всегда, где-то в облаках? Что кошелек Ерошенко пуст? Что деньги, присылаемые ему родителями, из-за войны обесценились (к тому же в последнем письме отец предупреждал, что больше сыну помогать не сможет)? Все это Ерошенко должен был понимать и сам.

– У вас, дорогой Эро-сан, осталось всего триста иен.

– Да, вероятно, я должен оставить мысль о путешествии в Америку, – с грустью сказал Ерошенко.

– Если вы останетесь в Японии, то о будущем вам не придется беспокоиться. Я стану давать вам каждый месяц пятнадцать йен, как и прежде, занимайтесь спокойно. Что же касается путешествий, то поговорите об этом с Катагами.

К этому времени Катагами Нобуру добился командировки в Москву от университета Васэда сроком на три года для изучения русской литературы. Но командировка начиналась в октябре, и Катагами решил до осени заняться русским разговорным языком. С этой целью он пригласил Ерошенко отправиться с ним на

Хоккайдо: Катагами был просто необходим такой попутчик.

Стоял жаркий июль 1915 года. Покинув душный Токио, Катагами и Ерошенко сели в поезд на станции Уэно и отправились на север, в Хакодате. 13 июля они приехали в этот небольшой городок.

В дороге Катагами и Ерошенко подружились. Японец знакомил русского со своей страной, рассказывая о местах, которые они проезжали. Ерошенко понравился остров, здесь все напоминало ему Россию – отсюда ведь рукой подать до наших краев. Часто бродили они по улицам Хакодате и приморским поселкам Хоккайдо. Катагами вспоминал, что Ерошенко, взяв в руки гитару, пел русские песни – о бродяге, бежавшем с Сахалина, о Колыме, где томились узники. Слушая их, Катагами размышлял о тяжелой жизни русского народа, сердце его проникалось симпатией к людям огромной северной страны.

Если бы не отъезд Катагами из Японии, профессор стал бы, вероятно, близким другом Ерошенко. Помешала этой дружбе и их размолвка в Хакодате. Повод был пустяковый – спор о том, как лучше изучать языки. Но у Ерошенко, так же как и у Катагами, был вспыльчивый характер. Они поссорились; в Токио Ерошенко возвращался один.

Он шел пешком, кочуя от хижины к хижине, от храма к храму, зарабатывая на хлеб пением и игрой, словно украинский кобзарь или слепой японский монах бову-бодзу. Подробности этого путешествия неизвестны, но мы можем предположить, что именно тогда, по пути с Хоккайдо, он поверил в свои силы, в возможность одному путешествовать по незнакомой стране. Вернувшись в Токио, Ерошенко стал готовиться к отъезду из Японии.

Почему Ерошенко уехал из страны, где у него было столько друзей, где к нему начала приходить известность как к писателю? Лучший его друг Акита не дает на это ответа. Не потому ли, что он считал нетактичным писать о личных делах друга? "Эта любовь, – замечает Хирабаяси, – так или иначе наложила отпечаток на поездку Ерошенко в Сиам (ныне – Таиланд. – Ред.). И мучительней всего было то, что Акита ни словом не обмолвился о том, что этот вопрос касается и его лично. С отъездом Ерошенко Акита занял в любовном треугольнике его место".

Но только ли в этом была причина отъезда Ерошен-ко? Да и была ли однозначной

эта причина?

Любовь к Камитика сыграла, конечно, огромную роль в жизни поэта. Сохранилось свидетельство современника, который видел

Ерошенко в день свадьбы Камитика Итико (случилось это четыре года спустя после описываемых событий): "Ерошенко… выглядел совсем больным, был бледен, на него страшно было смотреть. Его постиг удар, который он запомнил, вероятно, до конца своей жизни".

Однако неразделенная любовь всего лишь ускорила его отъезд из Японии. Дело было, видимо, в другом. Ерошенко как-то сказал о Японии и о своей жизни так:

"Слишком мало земли и слишком много счастья". И друзья и Камитика Итико окружили его там такой заботой, что он казался себе Одиссеем, который чересчур долго гостил у очаровательной Цирцеи.

Ведь планы путешествий по Востоку сложились у Ерошенко задолго до приезда в Японию – еще в Англии и в России. Цель его была – помочь своим незрячим собратьям, жившим в тех азиатских странах, где слепота считалась проклятием неба, а сами слепые – отверженными. "Если бы я не сделал этого, – писал Ерошенко, – то считал бы свою жизнь прожитой напрасно". Пребывание в Японии, где обучение слепых было хорошо поставлено, мыслилось им лишь как остановка, быть может и долгая, на этом пути – здесь он мечтал изучить языки стран Азии, овладеть теорией и практикой тифлопедагогики, набраться опыта и сил для нового путешествия.

Однако он полюбил Японию – она вошла в его сердце, стала как бы второй родиной. Он начал сочинять здесь сказки на японском языке. Ерошенко почувствовал себя способным работать на материале восточной культуры так, словно был уроженцем этой страны. Глубоко изучая историю, философию, литературы Японии, Индии, Китая, он пришел к выводу о том, что культуры Запада и Востока вовсе не разделены стеной, как это утверждали тогда некоторые европейские ученые. Впрочем, не только европейские.

В мае 1916 года состоялся спор слепого русского писателя с Рабиндранатом Тагором, в котором Ерошенко, по замечанию В. Рогова, "оспаривал основное положение Тагора о том, что западная цивилизация материальная, а культура Индии – чисто духовная" (12). Этот спор принес Ерошенко известность, поэтому на нем следует остановиться подробнее.

Рабиндранат Тагор, к тому времени уже признанный писатель, был приглашен в Токийский университет для чтения лекций. Вначале власти оказали ему радушный прием. Но очень скоро Тагор, выступая против "агрессивного национализма" (эти лекции вошли в его книгу "Национализм"), начал осуждать не только западных, но и японских милитаристов за их политику в

Корее и на Тайване. Тагор тесно связывал между собой политические, философские и религиозные, проблемы. Вероятно, поэтому он перемежал лекции о национализме публичными спорами о религиях Запада и Востока. На этих диспутах всегда было много народу: кроме студентов туда приходили и священнослужители – буддисты, синтоисты, христиане, а то и просто любопытствующие.

На этот раз разговор шел на тему "Сходство и различие буддизма и христианства". Как только Тагор заявил, что христианство использует рассудочное знание, завещанное греками, в то время как буддизм через подсознание приобщает верующего к духовному миру, встал Ерошенко и начал возражать, сравнивая тексты из священных книг обеих религий.

– Вы, видимо, христианин, – сказал Тагор, восхищенный знаниями незрячего оппонента. – Тогда пусть вам возражает буддийский священник.

– Нет, я неверующий, – ответил Ерошенко. – У меня, знаете ли, свои отношения с церковью.

– Неверующий? – удивился Тагор. – Но тогда, что вас волнует в нашем споре?

– Мне показалось, что вы, опираясь на буддизм и христианство, противопоставляете культуры Европы и Азии. Совсем как Р. Киплинг, который писал: "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись". Так вот: с этим я согласиться не могу. У наших культур много общего, и если мы друг друга не всегда понимаем, то это из-за незнания языков. И еще из-за националистов, которые натравливают один народ на другой.

– А чем вы можете это аргументировать? – спросил Тагор.

Ерошенко минут десять говорил о растущей интернациональной общности людей, о родстве литератур Японии и России, о взаимовлиянии фольклора стран Запада и Востока.

– Расскажите о себе, кто вы такой, – попросил в конце беседы индийский писатель.

– Приехал я из России два года назад, сказки свои пишу по-японски, и товарищи называют меня японским поэтом, – закончил Ерошенко под аплодисменты зала.

В эти месяцы – последние перед отъездом – Ерошенко не раз выступал перед большими аудиториями. В женском педагогическом институте города Мито он прочел лекцию по русской литературе; на съезде японских эсперантистов выступил с антивоенным докладом на тему "Время сеять, а не собирать плоды" (13). Он ездил по стране вместе с Акита и художником

Такэхаси Юмэдзи, которые представляли русского гостя японской аудитории.

Темы лекций были разными, но все чаще говорил Ерошенко об идущей в Европе войне (что было не совсем привычно в Японии, наслаждающейся тогда миром). Вот отрывки из его выступлений:

"Я думаю, мои слушатели согласятся с тем, что все люди на земле братья и их совместный труд мог бы превратить нашу планету в рай, что мир во всем мире есть величайшее благо для всех народов. Но если это так то почему же в Европе идет война? Почему ведется она с такой жестокостью, которую и представить нам трудно?..

Мне кажется, корень зла в национальной вражде… И эту враждебность и национальное чванство воспитывает государство, раздувает правительство, культивирует церковь.

Сегодня, когда идущая в Европе война становится все более кровопролитной и мы даже не знаем, когда братья, рабочие и крестьяне, перестанут убивать друг друга, кое-кто злорадно говорит: "Ну чего добились те, кто проповедовал любовь и братство? Они не только не предотвратили войну, но даже не смогли уменьшить число ее жертв?"

Но те, кто так говорит, не правы: деятельность сторонников мира не осталась бесследной и она еще принесет свои плоды. И сейчас, в годы войны, мы продолжаем борьбу за мир и благородные идеи братства народов продолжают жить.

Так будем же неустанно трудиться, ибо сейчас не время предаваться вдохновению, а время работать, время не брать, а отдавать, время не получать выгоды, а идти на жертвы! Нынче время сеять, а не пожинать плоды!"

…Мечтатель, он плохо представлял причины, породившие войну, не видел конца всемирной бойни. Но молчать в то время, когда льется кровь, наслаждаться солнцем в далекой Японии, когда полмира окутано облаком войны, он не мог. "Быть может, моя критика социальных пороков и не была глубокой, – писал Ерошенко, – но я страдал за слабых и униженных… И куда я ни поеду, страдание это будет всегда со мной". Ерошенко готовился к отъезду.

Вот как вспоминал об этом времени Акита Удзяку: "В Японии начался сезон дождей. Для Ерошенко, который привык к ясному небу Украины (14), этот несносный дождь казался бесконечным…

Ерошенко жил в то время вместе с художниками Накамура Цунэ и Ямаги Кэйске в студии, во дворе кафе Накамурая. Он все время лепил что-нибудь из глины… Однажды я посетил его вместе с Камитика Итико. Увидев скульптуры Ерошенко,

Камитика радостно заметила:

– Как, вы умеете лепить?

– Нельзя сказать, чтобы я специально учился этому – просто я люблю это дело. Еще в детстве я жил на берегу Черного моря, в некоторых домах я видел прекрасные древние скульптуры. Потом мне посчастливилось увидеть статую, вылепленную Роденом. И хотя я мог видеть все это только на ощупь, руками, мне кажется, я воспринимал их такими, каковы они на самом деле.

– Но как вам удается лепить?

– Я ощупываю свою голову левой рукой, а правой мну глину. А уже что у меня получается, судите сами. Но я надеюсь – что-нибудь да выйдет. Кончу эту скульптуру и поеду в Сиам.

Я с удивлением спросил его:

– В Сиам? Зачем?

– Мне хочется узнать, как живут люди в небольших бедных странах Азии. Говорят, в Сиаме нет школ для слепых… Если представится возможность, хочу побывать в Бирме и Индии.

– А потом опять вернетесь в Японию?

– Не знаю, пока я еще ничего не решил. Камитика Итико сказала:

– Вы равнодушный человек, поэтому, вероятно, скоро забудете Японию.

– Я не смогу забыть, даже если захочу.

– Когда вы собираетесь уехать?

– Пока не знаю. Во всяком случае, в самое ближайшее время.

– Я бы хотела поехать с вами.

– В Сиам, Индию, Бирму?

– Да.

– О, как я был бы счастлив, если бы мы уехали вместе! Мне кажется, вы не очень-то счастливы в Японии. Как бы то ни было, вы много страдали".

3 июля 1916 года на Центральном вокзале в Токио собралось человек двадцать-тридцать. Среди провожавших был учитель и покровитель Ерошенко Накамура Кийоо и друзья поэта – Акита Удзяку, Такэхаси Юмэдзи и Фукуда Кунитаро, а также Агнес Александер. Камитика Итико среди них не было – не потому ли, что ей было нелегко прощаться с русским другом на виду у всех?

Ерошенко, вспоминал Акита, был в белой полосатой холщовой рубахе, красной феске – подарок госпожи Сома. Через плечо у него был перекинут мешок с гитарой и словарем, в руках палка. Вел его юноша по имени Датэ. Акита подошел к своему другу и сказал на ломаном эсперанто:

– Долгих лет!

Ерошенко рассмеялся.

Наступил час прощания, и вот поезд увозит Эро-сана.

Кто знает, удастся ли свидеться вновь? Ерошенко покидал Японию; он полагал, что оставляет ее навсегда. Ему было в то время двадцать шесть лет; в Японии он прожил два года и два месяца.

(12) Спор этот вошел в книгу Такасуги Итиро "Слепой поэт Японии"; подробнее о нем писал Акита Удзяку.

(13) Эта речь напечатана в мае 1916 г. Произнесена 29 апреля 1916 г. на III съезде японских эсперантистов.

Оценивая антивоенные выступления Ерошенко, вьетнамский журнал "Пацо" ("Мир") писал: "Ерошенко ненавидел войну и питающий ее шовинизм; вот почему он посвятил свою жизнь борьбе за мир и взаимопонимание народов".

(14) Акита и многие друзья Ерошенко ошибочно считали, что родина Ерошенко не Россия, а Украина, вероятно потому, что отец писателя был по происхождению украинцем. Обуховка относилась в то время к Курской губернии.

Глава III. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (1916 – 1919)

Неудачное путешествие в Таиланд

"Прощай, Япония – прощай навсегда!" Никогда не думал Ерошенко, что прощание будет таким тяжелым.

В Токио его провожали друзья, из Кобе он уезжал один. С фотографии тех дней Ерошенко смотрит на нас печальный. Он стоит, прижавшись к поручням палубы, ветер развевает его длинные волосы. На нем перехваченная поясом полосатая косоворотка; в одной руке – палка, в другой – соломенная шляпа. Кажется, Ерошенко всматривается в даль, словно ожидая кого-то.

А ждал он Тории Токудзиро. "Я знаю, ты мой самый лучший друг. Но почему, почему ты не пришел проводить меня?.. Если бы ты уезжал навсегда, я примчался бы к тебе, как арабский скакун к своему жеребенку, как орел к своему орленку, быстрее ветра прилетел бы я. Мой малыш, почему ты не приехал в Кобе? Я думаю об этом, и глаза мои наливаются слезами, а сердце наполняется тоской", – писал Ерошенко Тории.

Пароход ушел из Кобе. Ерошенко прошел к себе, в каюту третьего класса, где в духоте под грохот машины устраивался на ночь простой люд. Ночью он почувствовал себя плохо. Два дня ничего не ел, метался в бреду. Его было совсем уже решили высадить в Сянгане (Гонконге) – капитан корабля опасался тифа. Но среди пассажиров оказался врач – русский, он осмотрел Ерошенко и, определив, что у пациента нервное потрясение, предложил соотечественнику перейти к нему, в каюту первого класса.

– Так вы, значит, едете в Бангкок, – сказал врач, когда они познакомились поближе. – А позвольте полюбопытствовать, почему не в Рангун, Калькутту или, скажем, в Бомбей?

– Я хотел бы основать в Таиланде школу слепых, а в Бирме и Индии такие школы уже есть. К тому же в британских владениях нам, русским, труднее, чем в других странах Востока, так как англичане видят в нас конкурентов.

– А в Таиланде положение иное?

– Да, я так думаю: ведь эта страна никогда не была колонией европейцев.

– И вы едете туда один, слепой… основать школу?

– А вы думаете, зрячему это было бы легче? Ерошенко подружился с русским врачом. В письме из Сингапура он писал, что врач всю дорогу заботился о нем и, хотя они вскоре поссорились, одолжил ему немного денег. "Не было счастья, да несчастье помогло", – замечает автор письма.

20 июля 1916 года корабль причалил в Сингапуре – здесь, судя по письмам Ерошенко, его на несколько дней задержали. Английскому таможеннику показался подозрительным бедно одетый слепой путешественник в русской рубахе и турецкой феске.

– Вы магометанин? – спросил чиновник.

– Нет, русский.

– С какой целью едете в Таиланд?

– Хочу покататься на белом слоне, – без тени усмешки ответил Ерошенко.

– А где взяли деньги на поездку?

– Я рантье, у меня счет в английском банке. Таможенник пристально посмотрел на "рантье": рубаха навыпуск, брюки заправлены в сапоги, за спиной мешок.

– Извините, но я не могу вас пропустить: нужно выяснить, кто вы такой.

Пришлось Ерошенко идти в русское консульство. Консул проверил документы, удостоверил его личность, но посоветовал возвратиться в Японию – в английских владениях, заметил он, каждый русский на подозрении.

– Однако Таиланд не владение английской короны, – ответил Ерошенко.

– Что вы знаете о Таиланде? – устало сказал консул. – Кстати, на какие средства вы собираетесь там жить?

Ерошенко грустно улыбнулся – какая трогательная забота! Он вспомнил, как четыре года назад при въезде в Англию предъявлял пять фунтов. Теперь на другом конце света повторялось то же самое. Путешественник раскрыл свой тощий кошелек и сказал:

– Наличных мало, но у меня счет в английском банке.

– Ладно, бог с вами, – улыбнулся консул, возвращая ему паспорт.

"30 июля, – писал Ерошенко Тории Токудзиро, – я приехал в Бангкок. Меня не встретили ни Тории Такэси, ни знакомый сиамец – и я как призрак бродил по улицам".

Бангкок, прорезанный множеством каналов, казался Ерошенко запутанным лабиринтом. Вокруг сновали незнакомые люди, слышалась тайская, бирманская, малайская и китайская речь. В этом большом шумном городе никому ни до кого не было дела. И слепой почувствовал себя одиноким, как в пустыне.

Он сел возле одного из мостов и решил дождаться темноты, чтобы в ночной тишине начать понемногу знакомиться с Бангкоком. Сердце у него щемило, в памяти всплывали голоса друзей, советовавших ему не ездить в Таиланд. И Японию Ерошенко вспоминал как тихий, навсегда потерянный рай.

Неожиданно он услышал, как кто-то обратился к нему по-английски с сильным акцентом:

– Я вижу, вы чужой здесь, в Бангкоке. Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?

Ерошенко поведал о своей беде, сказал, что ищет тайца Бунью, знакомого ему по Токио, где тот преподавал тайский язык.

Бунью незнакомец не знал, но он помог разыскать Тории Такэси (1). Через день удалось найти и Бунью.

Таец очень обрадовался приезду Ерошенко. Дело в том, что женой Буньи была японка, постоянно тосковавшая по своей родине. Теперь у нее появился отличный собеседник, и, возможно, подумал таец, ей не будет здесь так тоскливо.

Ерошенко поселился в доме Буньи. С помощью молодых супругов Ерошенко "увидел" Бангкок – город сотен храмов и тысяч лачуг (богам, заметил поэт, живется здесь вольготней, чем людям), познакомился с простыми тайцами – торговцами и рыбаками, с гордыми степенными монахами, которые ходили от дома к дому, собирая подаяние.

Ерошенко нравились тайцы – их веселый, независимый нрав. Он писал Накамура Кийоо: "Условия жизни в Сиаме иные, чем в Европе и Японии… Обучение по европейскому образцу кажется им лишь напрасным осложнением в жизни".

Конечно же, жизнь в Таиланде далеко не была такой безоблачной и ясной, какой она представлялась Ерошенко. И если его путешествие окончилось неудачей, то также и потому, что он зачастую слепо доверял людям и не умел еще считаться с реальностью.

Ерошенко приехал в Таиланд, когда там начали ограничивать деятельность всех иностранцев – японцев, англичан, бирманцев. И поэтому его план – создать школу слепых – был обречен на неудачу.

Знал ли об этом Ерошенко? Вряд ли. Он чувствовал, что все его попытки встречают противодействие, но не понимал, кто ему мешает. Еще в августе 1916 года Ерошенко писал в Японию Тории Такудзиро: "Я уже начал свои хлопоты (об основании школы слепых. – Прим. пер.). Но пока ничего определенного сказать не могу. Положение слепых в Сиаме совершенно иное, чем в других странах. Говорят, что здесь вообще невозможно что-либо сделать для них. Но я не обращаю внимания на эти разговоры…

Прежде всего я думаю создать здесь небольшой кружок (не слепых, но тех, кто занимается проблемой слепых). Если это удастся, моя цель будет достигнута. Пусть даже этот кружок сразу и не сможет ничего сделать, но, если со временем там появятся люди более умные, чем я, они, наверно, чего-нибудь добьются.

Во-вторых, я хочу собрать средства для этого кружка.

В-третьих, двух-трех подростков я предполагаю отправить в Японию, либо

взять их туда с собой, чтобы они там получили образование. Вернувшись потом в Сиам, они смогут работать среди слепых.

Таковы мои скромные планы".

Но чтобы осуществить эти планы, нужны были деньги. И Ерошенко по ночам играет на гитаре в русском ресторане, а днем обивает пороги ведомств и министерств. Можно себе представить, как удивлялись чиновники, когда этот высокий белокожий иностранец обращался к ним на их родном, тайском языке!

– Это же позор, что в Таиланде нет еще школы слепых! – гремел голос Ерошенко. – Чтобы чувствовать себя полноценным, слепой должен работать.

– Зачем? Разве от этого он станет зрячим? Ерошенко не знал, что чиновники, с которыми он общался, следовали строгой инструкции: ни в чем не содействовать иностранцам. И вот, желая во что бы то ни стало добиться цели, поэт видел препятствия не там, где они были на самом деле. Фатализм, свойственный некоторым знакомым ему тайцам, он принимал за равнодушие, а жизнелюбие их путал со стремлением к праздности.

Нотки отчаяния усиливались от одного его письма к другому. То он писал, что для образования слепых в Таиланде нет ни средств, ни преподавателей, то грустно признавался, что вообще разочаровался здесь в людях.

Что ему оставалось делать? Махнуть на все рукой и вернуться назад к друзьям? А может, что еще хуже, остаться в Бангкоке при русском ресторане – благо жизнь здесь была дешевая, да и соотечественники к нему благоволили? Однако это было не для Ерошенко. Вот что он писал профессору Накамура: "Сиам мне не очень нравится, но жить здесь приятно… Я не думаю о возвращении в Японию. Долго оставаться в Сиаме у меня тоже намерений нет. Через год я поеду в Индию, оттуда хочу поехать в Аравию. Если бы только у меня были деньги, можно было бы строить планы, но приходится (прямо как в русской пословице) "сидеть и ждать у моря погоды".

Из писем той поры мы узнаем его планы: побывать в Бирме, съездить на Яву (2), посетить город Акку и оттуда уже добраться до России. "Так завершится мое первое путешествие по всему

свету", – писал Ерошенко. Значит, в его планах было и второе и третье? Известно, например, что он мечтал побывать в Америке.

А как же отсутствие средств? Как бы отвечая на этот вопрос, Ерошенко писал: "Никогда не думал я о деньгах… Есть нечто такое, что беспокоит больше, чем деньги. Оно-то и заставило меня покинуть Японию, а сейчас вынуждает уехать из Сиама. Боюсь, что это "нечто" не даст мне покоя и в Индии и развеет мою мечту об Аравии. Я все это хорошо понимаю, но не могу противостоять этой властной силе…".

Что же это за сила, не совсем понятная даже ему самому? Ответ на это и сложен и прост. Можно сказать: это любовь к людям. Можно добавить – сострадание к своим незрячим братьям, желание объединить их не в касту отверженных, а в равноправный отряд свободного человечества.

Ерошенко был из тех, для кого чужая боль много сильней собственной. Он не мог блаженствовать в Японии, когда его слепые братья страдали в Таиланде. Он не мог сидеть сложа руки в Бангкоке, когда им закрывали дорогу к образованию, к свету. Это был человек действия.

… Ночь. Спит мертвый и прекрасный город Аютия – древняя столица Таиланда. Руины его поросли лианами, улицы – бамбуком. Но вот в городе послышались голоса, появились люди. Они ощупывают руины, читают выпуклые надписи на стенах пагод, трогают бесчисленные изваяния Будды и, кажется, совсем не тяготятся темнотой. А ведет их высокий белокожий человек, совсем не похожий на тайца.

… День. По пыльной дороге Менамской равнины идут, взявшись за руки, слепые. Впереди – высокий человек с гитарой. На привалах он, развязав мешок, вынимает редьку, капусту, помидоры, огурцы. Все это переходит от одного слепца к другому. Ерошенко (а это он ведет слепцов) повторяет названия овощей по-тайски и объясняет, как их можно записать по Брайлю.

В те годы вокруг имени Ерошенко рождаются легенды. Так, одна из них утверждает, что русский путешественник все же основал в Таиланде школу слепых и благодарные тайцы поставили ему там памятник… Хорошо сказал об этом, вероятнее всего несуществующем, монументе воронежский писатель Э. И. Пашнев: "Если люди сначала придумали легенду, а потом поверили в нее, то незачем ездить и проверять – стоит памятник Василию Ерошенко в Сиаме или нет. И неважно, что у этого изваяния нет автора и нет самого изваяния, памятник все равно стоит, потому что этого хотят многие люди. И стоять этому памятнику теперь вечно, потому что легенда делается из более прочного материала, чем бронза, гранит или мрамор.

А может быть, и в самом деле какой-нибудь отчаянный скульптор на свой страх и риск из простого камня высек упрямо наклоненную голову философа и широкие плечи путешественника, и стоит сейчас Василий Ерошенко в тени какого-нибудь диковинного дерева на той далекой сиамской земле, и все, кто проходит мимо: школьники и почтальоны, учителя и крестьяне – приносят к его ногам экзотические цветы своей родины".

(1) Из письма Ерошенко Тории Токудзиро следует, что незнакомец этот был

бирманцем. Ерошенко встретился в Таиланде и с другими бирманцами. Видимо, с

их помощью он еще в Бангкоке выучил бирманский язык, так что по приезде в

Бирму в 1917 г. мог сразу же начать преподавательскую деятельность на

бирманском языке в школе слепых.

(2) В Таиланде Ерошенко изучал малайский язык (по современной классификации

этот язык, вернее группу языков, называют индонезийским).

Цветок Справедливости

Страна, которую европейцы называют Бирмой, а сами жители – Шуэбиджи (что значит – Большая Золотая Страна), вплоть до получения независимости была известна в Европе далеко не так, как два ее великих соседа – Индия и Китай. Покорив Бирму лишь в конце XIX века, англичане неохотно пускали туда других европейцев – здесь через отроги Гималаев проходил стратегически важный путь в Китай. Понятно, что и русских путешественников в этих краях побывало немного – во всяком случае меньше, чем в соседней Индии, – и Ерошенко был в числе первых.

К путешествию в эту страну он готовился давно – еще в Москве, переписывался с бирманским миссионером; в Лондоне изучал священный язык буддизма пали, в Японии же, делясь планами своих путешествий, неизменно называл Бирму.

… И вот в январе 1917 года Ерошенко уже шагал по воспетому Киплингом Моулмейну. Шелест листьев королевских пальм, звуки эоловых арф на макушках пагод – белых и желтых, как облака, шорох ящериц и деловитое гудение насекомых – все

это рисовало ему неведомый, сказочный мир.

В небольшом по европейским масштабам Моулмейне приезд Ерошенко вызвал всеобщий интерес – здесь никогда еще не видели ни одного русского. Вскоре чуть ли не весь город перебывал в доме, где остановился Ерошенко. Приходили крестьяне, торговцы, монахи, миссионеры, прибыл даже английский губернатор (3). Странный, на их взгляд, белокурый человек в рубахе навыпуск, повязанной ремешком, разговаривал с каждым на их языке: с миссионерами – по-английски, с монахами – на пали, с простыми людьми – по-бирмански.

Во внимании к гостю из России проявился, вероятно, тот необычный интерес, с которым бирманцы относились ко всему русскому. Профессор И. Минаев, побывавший в этих краях до Ерошенко, с удивлением отмечал, что в Индии и Бирме жила почти религиозная вера в народ России, который освободит эти страны от англичан.

Вряд ли такая популярность русских могла понравиться миссионерам – покровителям Моулмейнской школы слепых. Но дети так неохотно посещали эту школу, что "отцы города" давно уже искали человека, который мог бы, наконец, наладить там работу. Познакомившись с необыкновенным слепцом, миссионеры решили назначить его директором (4). Сам Ерошенко на это не рассчитывал, как явствует из следующего его письма Тории Токудзиро:

"Школа слепых в Моулмейне, 7 марта 1917 г.

Дорогой мой мальчик!

Прошло почти два месяца с тех пор, как я поселился среди слепых в Бирме… Бирманцы относятся ко мне с беспредельной любовью. Они просят меня остаться здесь по крайней мере еще на два года. Все надеются, что школьный комитет предложит мне место старшего преподавателя.

О деле обучения слепых в Бирме пока мало что можно сказать. Они ничего не знают о методике обучения слепых, все находится в первобытном состоянии. Например, преподаватели школы слепых уже два года требуют специальную бумагу для книг (5), и лишь после того, как я поговорил с председателем школьного комитета, кажется, пришлют немного бумаги…".

Ознакомившись с делами в школе, Ерошенко понял – все придется начинать заново. Детей здесь фактически ничему не учили (6): объяснят, как плести корзины или вязать мешки, и вот уже слепой ребенок работает – зарабатывает себе на хлеб. Ни писать, ни читать детей не обучали – миссионеры считали, что бирманский язык слишком сложен для того, чтобы записывать его алфавитом по Брайлю.

Стоит ли удивляться, что состав учеников школы был текучим: чаще всего дети, проучившись немного, возвращались домой, в деревню, следуя бирманской поговорке "легко прийти, легко уйти". А вернуть их обратно было непросто. Когда Ерошенко пришел в школу, там было не более двух десятков детей, и первое, с чего ему пришлось начать, – это поездки по стране в поисках учеников.

… Монастырская школа. Мальчики, расположившись вокруг монаха, который шьет желтую тогу, держат перед собой доски с текстом Мангаласутры и читают на распев. Дождавшись конца урока, Ерошенко обращается к учителю на пали. Монах (понджи) поражен, услышав этот язык из уст европейца. Он зовет настоятеля монастыря (кьяуна). Завязывается разговор о священных книгах, и вскоре всей округе становится известно, что Ерошенко – великий мудрец (пандит саяджи) начитанный в Типитаке (7).

Улучив минуту, понджи отводит пандита в сторону и просит взять на себя обучение его сына. Ерошенко обещает подумать, но услуга за услугу: понджи должен раньше помочь ему разыскать слепых детей для моулмейнской школы. И вот директор, понджи и два-три ученика школы слепых едут по деревням, а впереди их уже бежит молва о великом саяджи.

Приехав в деревню, Ерошенко прежде всего узнает, в какой семье есть слепой ребенок. Затем, войдя в хижину, обращается к его родителям, рассказывает им о пагодах Моулмейна. Обычно отец и мать отвечают:

– Пандит саяджи, ты же знаешь, забота о слепом – кара за прошлые грехи. Такова карма (8). Если мы отдадим тебе ребенка, то в другой, будущей жизни должны будем снова заботиться о нем.

Тогда Ерошенко обращается к помощи священных книг. Помогает ему и понджи. В конце концов все вместе они убеждают родителей слепого отпустить ребенка в школу.

Вскоре школа в Моулмейне насчитывала уже более ста учеников. Почти всех привел туда Ерошенко. Относились они к нему, как к старшему брату. 13 марта 1917 года Ерошенко писал Тории: "Я полюбил бирманцев, привязался к ученикам школы слепых, и они мне тоже отвечают любовью. Мы заботимся друг о друге, как старшие и младшие братья". Дети даже называли его не так, как других учителей – такин ("господин"), а нежно и уважительно кокоджи ("старший брат"). Конечно, это вызывало ревность учителей. Но несмотря на их явно враждебное отношение к Ерошенко, авторитет директора школы продолжал расти.

Однажды Ерошенко созвал общее собрание школы. На нем он рассказал о Королевском институте в Анг-лии, занятиях и играх слепых, бассейнах и специально оборудованном стадионе, об экскурсиях и прогулках. Он предложил по примеру этого колледжа преподавать бирманским слепым историю, английский язык, психологию и гигиену, учить их музыке и искусству массажа.

Он считал, что надо поменьше занятий проводить под крышей; дети должны путешествовать, знакомиться со страной.

Предлагаемые Ерошенко реформы вызвали целую бурю. Несколько дней заседал школьный комитет. Мнения разошлись: одни считали, что слепых следует обучать по примеру Королевского института, другие же возражали, так как считали, что ничего подобного слепому бирманцу не нужно.

Но тут неожиданно вмешались дети. Они потребовали сделать все так, как предлагал их кокоджи. Комитет, удивленный неожиданной активностью детей, принял поистине соломоново решение: реформы принять, а директора, их предложившего, в его действиях ограничить. В "помощь" Ерошенко была назначена директриса – полуграмотная бирманка, главная противница реформ.

Однако миссионеры плохо знали характер нового директора. Главное, к чему он стремился, – научить детей "видеть" мир, узнавать его не только из книг и разговоров. И едва получив согласие комитета на путешествие с детьми, Ерошенко выехал в Рангун – нужно было добиться еще и разрешения министерства. План, предложенный Ерошенко, был необычаен: за месяц, оставшийся до периода дождей, побывать в Пагане, Аве, Мандалае, Пегу – сотни миль пути.

Чиновник осуждающе покачал головой и, решив, видимо, что такое путешествие слепым не под силу – все равно, мол, через день вернулся с дороги, – неожиданно его разрешил.

И Ерошенко повел детей по пути познания мира на ощупь и на слух. В пути их окружали жар раскаленных равнин и прохлада леса, гудение насекомых, мягкая поступь монахов и рычание тигра – их родная золотая страна Шуэбиджи. Ерошенко привел учеников в мертвый, древний город Паган. Они слышали его голос, отраженный стенами храмов. Учитель рассказывал детям о величии пагод и ширине площадей города. Рассказы слепого учителя открывали им Паган во времени и пространстве; они старались понимать суть вещей, не видя их.

Дети воспринимали свою страну, как прекрасную симфонию – такой, какой слышал ее Ерошенко, который позднее говорил Лу Синю: "Ночью там повсюду звучит музыка; в домах, в траве, на

деревьях стрекочут насекомые. Самые разнообразные звуки сливаются в один чудесный хор. Иногда к нему присоединяется змея, но да-же ее шипение гармонирует со стрекотанием насекомых".

Для Ерошенко Бирма была краем музыки и цветов, ночных факельных представлений "пве", пальм и тысяч пагод, страной жизнерадостных крестьян и беззаботных монахов. Открывая бирманским детям их страну, он воспитывал у них гордость за родную Шуэбиджи.

Однажды ночью на остывающей от дневного жара площади Пагана Ерошенко рассказал детям одну из своих сказок. Называлась она "Цветок Справедливости".

"… Дорогой мой мальчик, – начал Ерошенко, – я расскажу тебе о Стране Холода… Жили в той стране люди с холодной душой и оледеневшим сердцем… Жителям Страны Холода случалось порой слышать слова "любовь", "дружба", "сочувствие" (которыми люди так гордятся сейчас), но ни один из них не знал, что означают эти слова. Да и знать никто не желал… Не знаю, что это были за существа – вероятно, в их жилах текла ледяная кровь…

Быть может, ты думаешь, что в такой холодной стране ничего не росло? О нет, ты ошибаешься! Там произрастало много разных растений, и люди питались их плодами. Там были растения Вражды и Соперничества… В садах и парках этой страны распускались пышные цветы Войны и Ненависти. А в церквах и храмах люди Страны Холода поклонялись призрачным цветам Иллюзий, Видений и Снов…

В соседних странах тоже цвело много разных цветов. Кое-где больше всего почитали цветы растений Чувства и Мысли. В иных местах поклонялись цветам Забвения, Тишины и Одиночества. Лелеяли там и прекрасные цветы Любви… И лишь один цветок одинаково почитался во всех странах – чудесный цветок Справедливости… из поколения в поколение передавалась легенда о том, что, едва лишь расцветут на земле цветы Справедливости, люди во всем мире станут счастливыми и самой счастливой будет родина этого цветка… И хоть всерьез никто не верил в эту легенду, но все же ученые многих стран упорно пытались вырастить загадочный цветок. Однако все их усилия были бесплодны…"

И далее Ерошенко поведал ребятам историю о Принце, который ценой своей жизни вырастил чудесный Цветок Справедливости: он бросал в землю семена, но они каждый раз гибли. Лесорубы и крестьяне дивились упорству чудо-мальчика. А один древний старик объяснил ему, что Цветок Справедливости

нельзя вырастить в теплице или в горшке.

Услышав это. Принц обратился к звездам и, получив от них совет, вскопал мотыгой землю, окропил ее потом и посадил туда семя. И, о чудо, цветок начал расти, набирать силы. Но недолго – вскоре он стал погибать от холодной росы и жестоких ветров.

Принц согрел цветок своим дыханием, полил его горячими слезами. Но и этого хватило ненадолго – появился бутон, который вскоре стал гибнуть. "Великий принц вышел в поле, склонился к своему цветку и разорвал себе грудь. Жаркой струёй хлынула алая кровь из его груди, окропила листья и стебли цветка Справедливости, оросила землю вокруг… А рядом с цветком лежал Великий Принц, прижимая руку к груди, где зияла глубокая рана. Он уснул навеки, и снилось ему, что Цветок Справедливости принес счастье всем людям…"

(3) О всеобщем интересе к Ерошенко в Моулмейне см.: Такасуги Итиро. Слепой поэт Ерошенко, с. 114.

(4) Школа в Моулмейне относилась к низшей категории так называемых туземных учебных заведений (на высших ступенях системы образования находились англо-бирманские и английские школы). Занятия в ней вели бирманцы, плохо знавшие английский язык, а руководили ею британские миссионеры, не всегда хорошо владевшие бирманским. Ерошенко говорил на обоих языках; видимо, этим и объясняется его назначение на пост директора.

(5) Речь идет о плотной бумаге, на которой слепые пишут по Брайлю; на такой же бумаге печатаются и книги для слепых.

(6) "В результате… обучения, – пишет И. Можейко в статье "Просвещение в колониальной Бирме", – бирманские школьники узнавали из учебников, какая великая страна Великобритания, как могуч и непобедим ее король, как сильны ее армии и обширны сокровищницы. Но английского языка – единственного способа на деле приобщиться к европейской цивилизации или хотя бы подняться по социальной лестнице, все ступеньки которой, кроме самых низших, требовали знания английского языка, – ученики бирманских школ не знали". Так обстояло дело в школах для зрячих, еще хуже было оно поставлено в Моулмейнской школе для слепых.

(7) Священная книга буддизма.

(8) Карма – буддистский закон причины и следствия; согласно этому закону, в частности, заботой о нуждающемся в помощи можно искупить грехи, совершенные в прошлой жизни. Часть приведенных здесь данных взята из рукописи неопубликованной статьи В. Ерошенко "Слепые Запада и Востока".

Друг Ерошенко писатель Ф. Шоев отмечал, что слепой сказочник занес на литературную почву Востока семена русского революционного романтизма. И в самом деле, разве принц из "Цветка Справедливости" не напоминает горьковского Данко? А герои сказки Ерошенко "Сердце Орла"? Своим стремлением к солнцу, смелостью, готовностью отдать жизнь во имя светлой идеи они похожи на Сокола и Буревестника. Ерошенко вслед за М. Горьким поет славу "безумству храбрых".

"О, если бы я мог отдать свою жалкую жизнь за счастье человечества!" – восклицает Ерошенко в конце сказки "Мудрец-Время". Кажется, он завидует своим героям – и Великому Принцу, вырастившему цветок Справедливости, и Тополиному Мальчику, отдавшему свою жизнь за счастье народа, и Орлиным Сердцам, идущим на эшафот за свои идеалы, – они совершают подвиги, о которых мечтал автор.

Где бы ни жил слепой путешественник, своими помыслами он был обращен к России, как подсолнух, который всегда поворачивается за солнцем. Ерошенко дружил с русскими в Японии и Таиланде, писал оттуда в московские и петроградские журналы, внимательно следил за всем, что происходило у него на родине. Россия жила и в сердце его, и в сказках. Быть может, поэтому отсюда, издалека, он, слепой, видел немало такого, что не могли разглядеть многие зрячие и в Японии и в России. Акита Удзяку рассказывал о таком случае. Как-то он вместе с Ерошенко слушал лекцию о политических событиях в России. То ли сам профессор не все ясно себе представлял, то ли Акита чего-то недопонял, но после лекции он спросил своего русского друга:

– Эро-сан, что это значит "в России брожение умов, рабочие бастуют, крестьяне выступают против помещиков"? Как такие выступления можно назвать?

– Это – революция. Да, в России начинается революция. Гнет капиталистов и помещиков стал невыносим, и, можешь не сомневаться, эксплуататоры скоро будут свергнуты!

В 1916 – 1917 годах, следя за ходом событий, происходивших на родине, Ерошенко сумел хорошо разобраться в политической обстановке. Об этом свидетельствуют не только его высказывания, но и различное отношение к двум революциям – Февральской и Октябрьской.

Когда весть о свержении царя дошла до Бирмы, колониальная пресса подняла большой шум: еще бы, свергнут родственник британского короля, русский народ посмел поднять руку на

монарха!

Положение русских в Индии и Бирме ухудшилось: газеты писали, что Россия может нарушить союзнические соглашения с Англией, выйти из войны и тогда всех русских надо будет выслать из Бирмы. И действительно, 24 апреля 1917 года Ерошенко сообщал Тории Токудзиро, что за каждым его шагом уже следит полиция. Однако русский путешественник даже не подумал уехать из Бирмы. В том же письме он отмечает, что Временное правительство не выведет Россию из войны, а, значит, и русских пока не тронут в британских владениях.

Почему же он решил не уезжать? Не потому ли, что это была еще не та поистине народная революция, которую он ждал?

Все изменилось после победы большевиков: власть в России перешла в руки тех, кто трудится – законных хозяев страны. 8 ноября 1917 года колониальный телеграф донес "какую-то странную весть" – власть в Петрограде захватили некие "максималисты-большевики". Газеты считали, что все это, мол, ненадолго. Но Ерошенко был уверен – в России произошла пролетарская революция – та самая, о которой он говорил с Акита Удзяку и прихода которой давно ждал.

Как ни трудно было Ерошенко расставаться с Бирмой, со своими учениками, он сразу же уехал в Индию, откуда, как он считал, легче будет добраться до России. 16 ноября 1917 года Василий был уже в Калькутте. Там он случайно встретился с одним японцем, которого как-то видел у профессора Накамура. Японец спросил, не намерен ли Ерошенко вернуться в Японию. Писатель ответил, что хочет одного – попасть на родину, домой.

Письма той поры свидетельствуют, что решение уехать в новую, революционную Россию не было для Ерошенко случайным порывом. "Хочу… участвовать в политической жизни России", – писал он Тории Токудзиро.

Василию Ерошенко, очутившемуся вдали от России, в колониальной Индии, хотелось знать о Великой Октябрьской социалистической революции как можно больше. 27 ноября 1917 года он спрашивает Тории: "Тебе, видимо, хорошо известно о событиях в России?" и дальше пишет: "Те, кто хочет создавать свои империи путем подавления малых народов, очевидно, боятся такой же революции, как в России". А следующее письмо заканчивает словами, в которых слышится убеждение в том, что все нации на его родине будут теперь иметь одинаковые права.

Некоторые знакомые и даже друзья обвиняли Ерошенко в политическом инфантилизме. Однако все его поведение в это время говорит об обратном. Сразу же по прибытии в Калькутту Ерошенко пришел в русское консульство. Там уже собралась

группа его соотечественников. В полиции пригрозили их всех интернировать, а возможно, и посадить в тюрьму (9). Консул был растерян: царский чиновник, он еще не успел привыкнуть к правительству Керенского, а тут к власти пришли эти… большевики. Ну сколько "кухаркины дети" могут управлять страной? Недолго – месяц от силы. Стоит ли из-за этого волноваться?

– Господа, господа, – успокаивал он соотечественников, – не волнуйтесь, все образуется. Я поговорю с господином губернатором, напишу самому вице-королю Индии.

– Господин консул, – сказал Ерошенко, – я хотел бы получить визу на выезд в Россию.

Консул с удивлением посмотрел на высокого русоволосого человека с плотно сомкнутыми глазами. Опершись на палку, тот стоял, упрямо наклонив свою большую голову. "Чудак, – подумал консул, – у других хоть хватает благоразумия просить визы в Лондон или в Париж".

– Вы имеете в виду Совдепию (10), милостивый государь?

– Я хотел бы уехать в Петроград, – уточнил Ерошенко.

Люди в консульстве настороженно притихли. "Только большевика нам здесь еще не хватало", – подумал царский чиновник и приказал больше Ерошенко не принимать. Теперь слепой писатель лишился единственной поддержки, на которую мог рассчитывать здесь, вдали от России.

Вынужденный оставаться в Индии, Ерошенко ищет общения с простым народом. Он посещает Калькуттскую школу слепых, готовится там преподавать. Но это ему запрещают. Ведь он уроженец страны Ленина, а колониальные власти больше всего страшились "бациллы большевизма". Этот слепой русский кажется им опасным. И они решают арестовать его как … немецкого шпиона. Ерошенко сажают под домашний арест.

Зима 1918 года была для него очень трудной. Лишенный свободы передвижения, Ерошенко почти все время проводит в номере гостиницы и ждет, когда же ему, наконец, удастся уехать в Россию. Друзья пишут ему, но письма до него не доходят и, быть может, до сих пор еще покоятся где-нибудь в полицейских архивах.

Однако Ерошенко не тратит времени зря. Он записывает по-японски индийские народные сказания о приключениях царя Викрамадитьи и волшебника Веталы. Вскоре "Рассказы Веталы", а также сказка "Кувшин мудрости" появляются в японском юношеском журнале "Сэйнэн курабу".

Чем больше проходило времени, тем труднее становилось Ерошенко попасть в Советскую Россию. На окраинах страны

подняла голову контрреволюция, немецкие войска оккупировали Украину. Откуда ни посмотришь – Петроград и Москва в кольце врагов.

Да и в Индии положение становилось все хуже: в 1918 году страну поразил страшный голод: погибло около 13 миллионов человек! Крестьяне, поддержанные демобилизованными солдатами, устраивали бунты. А колониальные власти винили во всем "красных агитаторов" и (нет худа без добра) решили, наконец, избавиться от "этих русских".

Весной 1918 года в Калькутту прибывает русский пароход "Евгения", событие по тем временам совершенно невероятное. Он отплыл из петроградского порта в 1916 году и с той поры перевозил грузы из одного порта в другой. Но за это время команда судна сместила капитана и приняла решение вернуться домой, чтобы передать "Евгению" рабочему государству. По пути во Владивосток корабль и зашел в Калькутту.

Ерошенко выдали в консульстве паспорт. Наконец-то он добился своего! Однако власти не давали кораблю разрешения на выход из порта. Матросы ходили мрачные. Кто-то пустил слух, что "Евгения" – немецкое судно, посланное для шпионских целей, и его здесь интернируют. Узнав об этом, известные русские этнографы супруги Мерварт (они работали тогда в Калькутте) решили оставить ящики с коллекциями пока здесь, у друзей. Видимо, они не очень верили, что беспрепятственно доберутся до Владивостока и довезут туда ценный груз. Ерошенко все это не нравилось: он предчувствовал беду. И вот в последний момент, когда британские власти все же выпустили корабль, Ерошенко ехать отказался.

"Евгения" вышла из Калькутты 2 марта 1918 года, а через день был заключен Брестский мир. Советская Россия окончательно вышла из войны. Британия сразу же обвинила ее в "измене" делу Антанты. Теперь у колониальных властей появился повод захватить русский корабль. В Рангуне "Евгению" задержали: экипаж корабля и пассажиры были арестованы. Два долгих месяца они провели в тюрьме. Ерошенко писал об этом случае Тории Токудзиро:

"Мои друзья из России предлагали мне возвратиться вместе с ними на русском пароходе, но я отказался. Они уехали, однако были арестованы в пути. А я, словно Иванушка-дурачок, оказался самым умным, уехал в Бирму и снова стал преподавать там в школе слепых" (11).

(9) 27 ноября 1917 г. Ерошенко писал Тории: "Русский консул пригрозил нам,

что, наверное, англичане скоро посадят в тюрьму всех

русских".

(10) Так называли тогда Советскую Россию ее враги.

(11) Письмо это написано 27 ноября 1918 г., а экипаж "Евгении" освободили еще в мае. Видимо, понадобилось время, чтобы об этом событии Ерошенко мог вспомнить уже с улыбкой.

Тесная клетка

В марте 1918 года Ерошенко снова, неожиданно для всех, появился в Моулмейне. Но как непохоже это было на его первый приезд! Школьный комитет и директриса встретили его настороженно, даже враждебно – что опять нужно здесь этому русскому, почему он не уехал к себе домой?

И только дети обрадовались ему от всей души. Видимо, поэтому Ерошенко снова взяли на работу – не директором, нет, теперь об этом не могло быть и речи – рядовым преподавателем. А он на большее и не претендовал – только бы быть вместе с детьми, вести их по пути познания жизни.

Однако общаться с детьми, как раньше, ему уже не давали. Даже на уроках он несвободен – их теперь посещают какие-то подозрительные люди. "За мной постоянно следит полиция, без конца наведываются шпики. Но в тюрьму пока не посадили, – писал Ерошенко в Японию и тут же добавлял: – Жизнь моя, как всегда, интересна!".

Лишенный возможности путешествовать по стране, он снова проводит время в монастырях, записывая там бирманские сказания. "Сейчас я увлечен воистину прекрасными буддийскими легендами. Это неисчерпаемый материал. Передо мной раскрывается новый, доселе мне неведомый мир – богатая символика, полная скрытых тайн и загадок… По сравнению с ними предания христианства и ислама выглядят слишком наивными. Если бы я прожил в этой стране всю жизнь, то все равно не смог бы постичь всей глубины их содержания…".

Что искал Ерошенко в народных бирманских легендах? Не было ли это попыткой усталого слепого человека уйти от трудностей жизни в нереальный мир аллегорий? Знакомство с записанной Ерошенко "Бирманской легендой" (12) убеждает нас в обратном. Углубляясь в прошлое, он искал ответы на вопросы настоящего. Ерошенко волновало, как сам бирманский народ объясняет захват страны англичанами и проснется ли он, "исполненный сил", от векового рабства.

В "Бирманской легенде" он писал:

"Лет шестьдесят-семьдесят назад, когда Бирма была еще свободной, один из ее государственных деятелей предпринял путешествие в Англию. Воспользовавшись столь удобным случаем, лондонская компания по добыче драгоценных камней, давно уже зарившаяся на богатства Бирмы, заключила с ним договор. Этот договор давал англичанам право разрабатывать бирманские рудники. Возвратившись в свою страну, министр рассказал обо всем королю. Но тот и слушать его не стал.

– Я не желаю отдавать рудники европейцам! – заявил он и велел немедленно расторгнуть договор. Итак, сей государственный муж попал в весьма неловкое положение и не знал, что ему предпринять.

А срок начала работ, указанный в договоре, неумолимо приближался, и вскоре английская компания прислала двух специалистов. Им предстояло осмотреть все рудники, установить срок соглашения, определить стоимость работ.

Вот тут-то министр наконец догадался, как ему отвадить англичан. Он показал приезжим специалистам два рубина величиной с куриное яйцо каждый и спросил, какова, по их мнению, стоимость этих рубинов. Однако англичане, хотя им и приходилось не раз иметь дело с драгоценными камнями, никогда в жизни не видали таких больших рубинов и потому никак не могли определить их стоимость. Тогда министр сказал:

– Раз вы не способны даже определить ценность этих камней, как же вы можете судить о рудниках, где их добывают?

Пришлось специалистам убраться восвояси".

Далее Ерошенко отмечает, что англичане не оставили планов покорить страну и это им удалось, потому что англичанам, мол, по поверию, помогали боги.

"Однажды Гаутама, – продолжал Ерошенко свою легенду, – решил отправиться из Индии в Бирму. Путь туда один – морем. Но ни индийцы, ни талаинги не согласились перевезти Гаутаму, который был в костюме нищего. Это сделали европейцы, чей корабль в это время стоял в порту. И сказал Гаутама: "Через много лет Бирма будет принадлежать европейцам".

В то время на месте Пегу (севернее Рангуна) был остров, причем такой маленький, что две утки не могли отдыхать на нем одновременно. И сказал Гаутама: "Здесь возникнет прекрасная страна" и пошел дальше к Мандалаю.

В Мандалае жили тогда страшные балу – оборотни и людоеды, но даже их решил спасти своей проповедью Гаутама. Одной женщине так запали в сердце его слова, что в знак благодарности она отрезала свою грудь и подарила ее Гаутаме. И

тогда он, пораженный таким поступком, сказал: "Здесь появится чудесный город, а потомки твои ровно сто лет будут править этой страной!" Бирманцы верили, что эта женщина-оборотень превратилась в английскую королеву Викторию, но через сто лет Бирма снова станет свободной.

А между тем предсказания Гаутамы скоро стали сбываться. Островок на месте Пегу стал расти и превратился в большую страну. Один старик, помнивший пророчество, послал туда своих внуков Витбалу и Тамбалу, чтобы они основали там государство.

В то время как другие страны воевали и люди там изнывали под тяжестью налогов, братья обратились к народу с призывом: "Идите к нам, вместе мы создадим страну счастья, вместе мы будем защищать ее от врагов. В нашей стране не будет никаких налогов". Так возникло государство Пегу.

За обладание Пегу спорили между собой индийцы и талаинги. Однако еще при рождении этого острова индийцы закопали там сосуды, чтобы заявить свои права на эту землю. Но посланец неба Таджамин не дал свершиться их планам и вырыл оттуда сосуды. Не сумев захватить Пегу хитростью, индийцы прибегли к силе. Индийский полководец Бава повел против Пегу свое войско. Исход битвы мог решить поединок между ним и богатырем из Пегу.

Пегу выставило против Бавы Катаминзу, который был воспитан в горах коровами. Тот привел с собой не солдат, а пятьсот коров. Во время поединка Бавы с Катаминзой поднялся ветер, коровы стали рыть землю и пыль полетела в глаза Баве. Катаминза вонзил ослепленному военачальнику меч под мышку (там было единственно уязвимое его место) и убил Баву. А после смерти Витбалы во главе Пегу стал "коровий король" Катаминза" (13).

Сердца слепых бирманских детей наполнялись гневом против угнетателей-англичан, когда они слушали эту легенду, лица их загорались надеждой. Но, видимо, и для "отцов" моулмейнской школы эти рассказы Ерошенко не оставались секретом, они терпели его только до конца учебного года.

В сентябре 1918 года Ерошен-ко решительно указали на дверь, причем намекнули – если не уйдет, то будут приняты другие, более строгие меры. 10 сентября 1918 года Ерошенко уехал в Индию. Снова Калькутта, та же гостиница, что и полгода назад. Но его положение стало много хуже, чем раньше, – русских в городе уже не было, и даже консул куда-то исчез. От кого ждать помощи? Письма Ерошенко в Японию не доходили.

Ерошенко понимает – нужно немедленно уезжать, но куда, каким путем? В Германии – революция, на западе и юге России –

интервенты, белобандиты. Он решил добираться через Париж до нейтральной Швейцарии, а оттуда уже домой, и просил выпустить его в Европу. В ответ на это полиция конфисковала его письма и вещи.

Тогда Ерошенко потребовал, чтобы ему разрешили выехать в Японию. Ему казалось, что через эту страну он сумеет все же добраться до России. И здесь скитальцу, казалось, улыбнулось счастье. 15 октября 1918 года из Калькутты в Кобе уходил японский корабль. Целый месяц Ерошенко обивал пороги канцелярий, посылал телеграммы в Лондон и Токио. Наконец его вызвал английский чиновник и процедил сквозь зубы:

– С вами все обстоит непросто. Разрешить выезд не можем.

Ерошенко стоял на набережной Калькутты и "смотрел" вслед уходящему кораблю. Казалось, он видел, как верхушки мачт скрывались за горизонтом, а вместе с ними уходила и его последняя надежда вырваться из клетки, которой стала для него Индия.

Он стоял, тяжело опершись на бамбуковую трость, подаренную ему Камитика, и думал, что снова стал одинок, а друзья даже не знают, что с ним. Ему не хотелось никуда идти. Это было то состояние, которое японцы называют "сабисий", что означает "потерять лицо" или "тосковать в одиночестве". Только шаг отделял скитальца от грани, откуда нет возврата.

– Господин Ерошенко, разрешите я провожу вас домой.

Слепой резко обернулся к стоявшему за ним человеку.

– Кто вы?

– Это неважно. Только я вам советую больше не выходить из гостиницы.

– Кажется, это не просьба – приказ?

– Это одно и то же.

И вот он заперт в четырех стенах. Тесная клетка, из которой виден маленький кусочек неба, а вокруг – дома, по сути, такие же клетки. Словно вокруг него раскинулся шумный зоопарк, а он тигр, на которого смотрят зеваки. И вот в воображении Ерошенко уже рождаются образы будущей сказки.

""Ах, если бы мог я не замечать эти морды, если бы мог я не слышать этот гогот", – думал Тигр.

И вдруг силуэты людей стали исчезать, голоса их заглушил шум деревьев, и Тигр понял, что находится в джунглях, а все, что ему привиделось, было лишь кошмарным сном. Он скрылся в чаще, но продолжал дрожать, потому что во сне ли, наяву ли, нет ничего ужасней неволи.

Много верст отмахал Тигр, пока не почуял неподалеку загон с овцами. Сотни раз он подкрадывался к таким вот оградам и

похищал овец. Но сейчас ему стало их жалко. "Клетка. Тесная клетка!" – зарычал он и обрушил удары мощных лап на ограду. "О, братья, вы свободны! Скорее покиньте тесную клетку!" – рычал Тигр.

Но обезумевшие овцы забились в темный угол полуразрушенного хлева. И Тигр понял, что для них нет ничего опаснее свободы. "О гнусные рабы, жалкие твари, вы хуже охраняющих вас дурацких собак! – кричал Тигр. – Нет, ничто уже не спасет вас!"

… Тигр лежал в лесной чаще у ног каменного бога, где люди приносили жертвы, творили молитвы. И вдруг он заметил процессию. В окружении браминов шла женщина, похожая на загнанного оленя. Тигр уже видел однажды ее во дворце и знал, что у женщины умер муж, и теперь, следуя обычаю, над ней совершался обряд сати – сожжение вдовы.

Через несколько минут был зажжен костер, маленькие острые глаза браминов загорелись от ожидания жертвы.

"Поторопись, поторопись! – закричал один из них. – Жертвенный огонь уже горит. Бог ждет, когда ты принесешь ему свою душу! Свою чистую душу!.."

Женщина бросила последний взгляд в лесную чащу, два брамина подтолкнули ее к костру. Под прозрачной вуалью Тигр разглядел ее смертельно бледное лицо… Тигр готовился совершить прыжок, когда из леса вдруг совершенно неожиданно появился отряд солдат. Брамины остолбенели от ужаса, увидев их нахмуренные лица. А спасенная женщина закричала так радостно, что, казалось, ее крик достигнет далеких снежных вершин Гималаев…

Белый офицер спас несчастную вдову. И брамины закричали: "Боги покарают ее!"

Однажды ночью, когда Тигр лежал в чаще у ног каменного идола, он заметил тень. Это была та женщина с глазами загнанного оленя. Она помолилась, потом сказала: "Я проклята богами моей земли, потому что я пошла против их воли!"

В лунном свете сверкнул кинжал, и Тигр испытал та-кое чувство, словно женщина убивала его, а не себя. Только теперь он понял: люди заточены в невидимую тесную клетку, которую не разрушить даже самой могучей лапой. При этой мысли Тигр помрачнел:

"Люди – презренные рабы. Люди – жалкие существа. Но кто же, кто заточил их в тесную клетку, кто сделал их рабами?"..

Тигр приблизился к дереву, на котором сверкали капли крови дочери рабов. В это мгновение сверкавшие капли крови, каменный идол – все это как-то отдалилось. Прозрачный голос

ручья, голоса деревьев постепенно превратились в грубую речь людей. Аромат цветов стал отвратительным людским дыханием… Тигр отчаянно зарычал: "Так, значит, тесная клетка и лица этих зевак – все это правда!.."'

Он снова вскочил, застонал и головой уперся в прутья. Капли крови упали на пол клетки. "О боже! Возьми мою кровь. Пусть это будет последняя жертва. Только помоги мне не видеть эти лица…"

Отвратительный запах толпы снова превратился в аромат леса. Но Тигр уже не мог открыть глаза и увидеть землю, которую любил…" Так заканчивается сказка Ерошенко "Тесная клетка" (14).

Ерошенко провел под домашним арестом не менее полутора месяцев: корабль в Японию ушел 15 октября, а последнее письмо из Калькутты, чудом дошедшее до Тории Токудзиро, написано 27 ноября. После этого от Ерошенко полгода не было писем, и сведения об этом периоде жизни слепого путешественника приходится собирать по крупице.

Видимо, в начале декабря Ерошенко бежал из-под ареста, выбрался из Калькутты. Он шел ночами по дорогам и, сбив со следа своих охранников, растворился в людском океане.

Об этом путешествии Ерошенко тридцать лет спустя рассказывал своему ученику Виктору Першину.

…Однажды во время отлива на берегу Индийского океана я случайно повстречался с артелью ныряльщиков за жемчугом. Это были бедные люди, но они накормили меня, а когда я рассказал им о своей беде, начали меня утешать. Мы подружились. Я рассказывал им свои сказки. Они слушали и согласно кивали головами. Но сами почему-то не любили говорить об охоте за жемчугом. Потом я узнал, почему – для них эта охота была тяжким трудом.

И вот, когда мы уже хорошо узнали друг друга, я упросил, а вернее сказать, умолил одного из охотников взять меня с собой искать жемчуг.

– А вы не боялись утонуть в океане?

– Я надеялся выплыть.

– А если бы за вами погналась акула?

– Рядом был друг, который спас бы меня от акульих зубов.

– А если бы вам посчастливилось найти большую-пребольшую жемчужину, что бы вы сделали?

– Я бы отдал ее индийским детям. В этой стране так много бедных детей.

Этот рассказ весьма характерен для нашего героя.

Зная его неуемную, неусидчивую натуру, трудно представить,

что он чуть ли не десять месяцев провел безвыездно в Калькутте. Впрочем, то, что Ерошенко в 1919 году путешествовал по Индии, подтверждает он сам в статье "Слепые Запада и Востока".

Из нее мы узнаем, что в Индии, как и всюду, Ерошенко прежде всего волновала судьба его незрячих братьев. Автор отмечал, что изготовление щеток и корзин, которые навязали слепым во всем мире, стало настоящим проклятием именно в Индии: ведь здесь корзинщиков и щеточников считают людьми самой низкой касты. "Я знаю одну школу в Бомбее, – писал Ерошенко. – Слепые разных каст обедают там отдельно один от другого. Еда, около которой прошел человек низшей касты, считается уже непригодной для представителя высшей касты…".

Ерошенко страдал оттого, что слепые в Индии разделены национальными и кастовыми предрассудками как нигде в мире. Но что он мог противопоставить тысячелетним традициям?

Из Южной Индии Ерошенко направился в Бомбей, в школу слепых. Появление поднадзорного в большом индийском городе не прошло незамеченным для британских властей. Его возвратили в Калькутту. Круг замкнулся: он, как Тигр из сказки, снова оказался в тесной клетке. Где же выход?

Ерошенко стучит бамбуковой тростью в окно здания колониального ведомства, он требует, чтобы его пустили домой, в Советскую Россию. Наконец, из окошка высовывается озлобленное лицо, и русский слышит в ответ:

– Вернешься той же дорогой, что приехал!

– Когда?

Ответа нет. Но теперь Ерошенко знает – он сам приблизит свой отъезд.

Большой кинотеатр в Калькутте. Здесь привыкли, что перед началом сеанса на сцене выступают музыканты, которые сопровождают затем немые фильмы игрой на каком-нибудь инструменте. Поэтому никто не удивился, увидев перед экраном высокого человека с гитарой. Ерошенко исполнил "Стеньку Разина", потом запел по-английски "Интернационал", а затем, чтобы всем стал понятен смысл песен, перевел их на бенгали.

В зале зашумели, зааплодировали. Киносеанс превращался в митинг. Директор вызвал Полицию. Ерошенко заломили руки на спину и увели. Быть может, в дру-гое время такой поступок и не вызвал бы серьезных последствий. Но весна и лето 1919 года были в Индии бурными. 19 апреля в Амритсаре генерал Дайер расстрелял мирную демонстрацию – две тысячи человек. На следующий день он отдал приказ, чтобы индийцы по главным улицам не ходили, а ползали на животе. Демобилизованные из армии индийские парни дали англичанам отпор: они создали так

называемые "палочные армии" – толпы, вооруженные чем попало. Выступления охватили Ахмедабад, Дели, Калькутту… И вот в Калькутте появляется уроженец страны, где недавно свершилась социалистическая революция, и выступает с революционными песнями. Власти решили выдворить его из страны. Но не отправлять же его в самом деле в Советскую Россию, которую Британия не признавала? Япония его не принимает… Должны принять, решили в полиции.

– Вернешься тем же путем, что приехал, – сказали Ерошенко еще раз. И вот слепого человека посадили на английский военный корабль, а его капитану вручили сопроводительный акт для японских властей, в котором сказано: "Господин Ерошенко высылается за пределы Британской империи как большевик…" "Лестная" характеристика, направленная японским властям – лютым врагам новой, революционной России.

Капитан корабля был не рад, что уступил настоянию полиции. Все-таки он офицер, а не тюремный надзиратель. И газеты, недовольно ворчал капитан, что-то слишком интересуются этим русским. Вот всего лишь первый порт по пути, Сингапур, а журналисты уже толпой поднимаются на борт. Ладно, капитан согласен их принять, пусть убедятся, что он вовсе не держит этого слепого в наручниках. Офицер его величества не заметил, впрочем, как один из корреспондентов, представитель журнала, выходящего на эсперанто, передал слепому какой-то сверток. А в нем были одежда кули, коса и желтая краска для кожи.

На следующей стоянке в Шанхае слепой исчез. Это было совершенно невероятно, ведь капитан отменил все увольнения на берег. И матросы были начеку – они смотрели, как кули вбегали по трапу на борт и, взвалив на плечи мешки, сбегали с ними на пристань. Никто не мог незаметно покинуть судно! Кто же мог подумать, что слепой Ерошенко переоденется в одежду кули и сбежит с мешком на спине? Он ухитрился забрать с собой даже гитару.

Побег слепого человека с борта военного корабля кажется настолько невероятным, что многие друзья Ерошенко до сих пор не решаются в это поверить. Вероятно, поэтому Такасуги Итиро не включил этот эпизод в книгу "Слепой поэт Ерошенко". Однако о побеге в Шанхае свидетельствуют две публикации: о нем в мае 1921 года писал выходивший в Японии журнал "Верда утопио", а пятнадцать лет спустя сообщила "Энциклопедия эсперанто". Этот случай, кстати, не опровергал и сам путешественник.

(12) По словам советских бирманистов, "Бирманская легенда" – большой миф, опубликованный Ерошенко, – характерна для

сказаний Южной Бирмы. Здесь переплелись и буддийские верования, и остатки анимизма, и живучая вера в натов – духов, населяющих Бирму куда гуще, нежели домовые, водяные и лешие Россию. Но для нас интереснее сейчас не столько сама легенда (хоть, очевидно, Ерошенко был первым, кто познакомил японских читателей с бирманским фольклором), а его к ней вступление… В этом вступлении Ерошенко приводит одну притчу, не имеющую прямого отношения к народной древней легенде, а родившуюся, видимо, в XIX в., во время покорения Бирмы Англией. Пересказав фрагменты из бирманской легенды, свидетельствующие о свободолюбии бирманцев, исследователи далее заключают: "Сегодня фольклор Южной Бирмы известен неплохо: существуют сборники легенд и сказок. Но вот предания, записанные Ерошенко, предания, в которых свежи еще отзвуки войн с Англией и звучит надежда на будущее освобождение, нам не встречались. Английские исследователи как-то упустили эту область фольклора. А потом, когда Бирма и в самом деле стала независимой, эти легенды умерли, ибо они утешали покоренных, давали надежду, объясняли сказочным путем причины национального унижения, когда же в них исчезла нужда, их забыли" (И. Всеволодов, А. Никифоров. Настоящая радуга, с. 133 – 134).

(13) "Заслуга В. Ерошенко, – пишет этнограф Н. И. Мороз, – не только в том, что он рассказал нам о бирманском фольклоре как о литературном памятнике, к тому же мало известном у нас; на наш взгляд его работа ценна еще и тем, что он сумел выделить из мифов те, которые преломили исторические события, отразившиеся в народном сознании. Из его рассказа видно, как персонажи легенд в более позднее время перевоплощаются в конкретные личности и древние мифические герои совершают подвиги, отвечающие насущным чаяниям бирманского народа".

(14) Лу Синь писал, что "Тесная клетка", вероятно, родилась из размышлений автора во время его жизни в Индии. "О, сколь огромна слеза поэта! – восклицал китайский писатель. – Я люблю этого наивного поэта Ерошенко, который выступает против рабской психологии, осуждая варварский обычай "сати"" (цит. по: Гэ Бао-цюань. Лу Синь и Ерошенко. – "Гуанмин жибао", 18.X.1961).

Глава IV. ЯПОНИЯ (1919 – 1921)

Приятный сюрприз

У японцев есть поговорка: "Уезжал из дому, как даймё [князь], а возвратился, как нищий". С Ерошенко примерно все так и было. Из Китая в Японию он приехал тайком, на грузовом пароходе. Оборванный и голодный, писатель с трудом добрался до дома госпожи Сома.

В "Накамурая" он появился лишь поздним вечером. Окна пристройки, где он раньше жил светились: Ерошенко это почувствовал сразу, каким-то шестым чувством. И вдруг услышал голос… Сома Кокко. Через минуту она была уже на пороге и прижимала к щекам его большие шершавые ладони. В другом случае Сома, вероятно, застеснялась бы, проявила свойственную японкам сдержанность. Но разве Ерошенко был ей чужой? Ведь это ее слепой русский, который долго скитался по свету и вернулся, наконец, домой.

На шум сбежалась вся семья Сома – и муж ее Айдзо, и сын Ясуо, и дочь Тикако. Каждый старался сказать Ерошенко что-то приятное – чувствовалось, что его здесь всегда ждали.

– Здравствуйте, добро пожаловать! – неожиданно произнес по-русски незнакомый ему голос.

– Кто вы? Здравствуйте, – удивленно ответил Ерошенко,

– Разрешите представиться. Иван Нынчев, художник. С сегодняшнего дня – ваш сосед.

Василий скоро узнал – в память о нем госпожа Сома пригласила к себе постояльца из России да и кафе свое стала называть "Русский шоколад".

Весть о неожиданном приезде Ерошенко распространилась на следующее утро среди его токийских друзей и знакомых. Первым пришел Акита Удзяку.

– Эро-сан, дорогой, ты ли это? – Акита не мог сдержать слез радости.

– Нет, не я, это моя тень перед тобой, Акита-кун. – Ерошенко широко улыбнулся и обнял друга.

Когда друзья после долгой разлуки наговорились всласть и Ерошенко рассказал о своих путешествиях по Таиланду, Индии и Бирме, Акита спросил Ерошенко, собирается ли он встретиться со своими токийскими знакомыми. Василий ответил, что хотел бы пока пожить в уединении.

– Не выйдет. Эро-сан, не выйдет. О твоем приезде уже знают все. Сегодня в клубе вечер в честь супругов Браун, эсперантистов из Австралии, – и все мы тебя ждем.

И снова, как прежде, в кафе "Мацуисита" собрались друзья Ерошенко – профессор Накамура, госпожа Александер, Арисима Такэо, Акита Удзяку и многие другие. Эро-сана попросили рассказать о себе. Ерошенко поднялся взволнованный, смущенный общим вниманием и радостный оттого, что снова находится среди своих.

– Прошло долгих три года, – сказал Ерошенко, – мне много пришлось испытать за это время. Ураган несколько раз силился утопить меня, а бурное житейское море – поглотить. Но я напряг силы и достиг, наконец, тихой гавани. И вот – море успокоилось, надо мной синее небо, а вокруг вы, мои друзья. Я думаю, это и зовется счастьем. Как бы мне хотелось подольше вкушать его плоды – видеть и это море, и это небо, и всех вас.

После этого вечера в журнале появилась статья "Приятный сюрприз" о возвращении в страну слепого путешественника. Так о приезде Ерошенко узнали тысячи людей, – а этого он не только не хотел, но даже опасался.

Еще будучи в Бирме, Ерошенко узнал, что Камитика Итико арестована по "делу Осуги" и находится в тюрьме. Ни для кого не было секретом, что Ерошенко любил Итико, так что и его имя оказалось упомянутым в этом нашумевшем деле. Его возвращение в Японию подлило масла в уже догоравший огонь слухов, кривотолков и предположений. Вот почему Ерошенко не хотел афишировать свой приезд. Но остаться в тени ему не удалось, тем более что "дело Осуги" вновь попало на страницы газет…

Читатель, наверное, помнит, что Камитика Итико страстно любила революционера Осуги Сакаэ и он, казалось, отвечал ей взаимностью: Осуги оставил свою прежнюю семью и всюду появлялся вместе с Камитика, бросая вызов ненавистной им обоим буржуазной морали. Желая помочь любимому, который только вышел из очередного заключения и писал новую книгу об анархизме, Камитика заложила все свое имущество, вплоть до личных вещей.

Однако Осуги вскоре вернулся в прежнюю семью. Камитика не могла вынести его измены и однажды, подкараулив Осуги в саду, ударила его кинжалом. По счастью, она только ранила Осуги. Камитика тут же отдала себя в руки полиции. Ее судили и приговорили к нескольким годам тюрьмы.

Что и говорить, история для Японии того времени весьма необычная. Веками женщин воспитывали в духе покорности мужчинам, самое большое, что разрешала им традиция в случае

несчастной любви, это броситься на меч, покончить с собой. А здесь – покушение на мужчину!

Но для буржуазной прессы в "деле Осуги" важны были даже не сами действия, а, так сказать, действующие лица: он – известный всей стране пламенный революционер-анархист, она – журналист, неутомимый борец за равноправие женщин. И вдруг – такая история!

Желтая пресса не скрывала ликования: вот, мол, какова "новая мораль"! Вспомнили при этом и влюбленного в Камитика русского слепого, который, как мы знаем, был также и другом Осуги. И в этот момент в Японию нежданно-негаданно возвращается Ерошенко. Никто не мог предположить, как он поведет себя в сложившейся ситуации.

А Ерошенко, к всеобщему удивлению, узнав о случившемся, решил отправиться в тюрьму к Камитика. Камитика была его другом, а он не привык оставлять друзей в беде. Что скажут о нем знакомые и что напечатают газеты – все это для него сейчас не играло никакой роли.

Акита одобрил решение друга и отправился на свидание к Камитика вместе с ним. По дороге он спросил Ерошенко:

– В Токио много говорили о том, что вы вернетесь И женитесь на Камитика. Вы не думали об этом? (1)

– Мне было больно услышать о несчастье Камитика. Когда ее судили, я как раз пытался уехать из Бирмы домой, в Россию. Возвращение в Японию не входило в мои планы. Как же я мог думать о том, чтобы взять Камитика в жены?

– Но вот вы здесь, идете к ней в тюрьму, и все поймут, что вы ее по-прежнему любите.

Ерошенко промолчал.

…Тюремная комната свиданий. Яркий свет, немигающие глаза полицейских. А в середине комнаты двое – он и она, руки их сплетены и губы повторяют: "Итико!" – "Василий!", что по японским традициям почти равнозначно признанию в любви.

– Я чувствовал, я знал, что вас ждет несчастье, – с трудом выговорил Ерошенко. – К сожалению, предчувствие мое оправдалось.

– Но теперь все это в прошлом. Я снова вижу вас, и мне хорошо.

Свидание было недолгим. Полицейский быстро выпроводил Акита и Ерошенко. Японские газеты много писали об этом романе, об отношениях Ерошенко с Акита и Осуги (2). Одного не могли понять журналисты: как это "дело Осуги" не нарушило их дружбу. Что же касается слепого писателя, то он любил Камитика Итико всю свою жизнь.

Неразделенная любовь не пригнула его к земле, не лишила оптимизма – разве что сделала чуть более грустным. В личной трагедии черпал он сюжеты для своих произведений.

У Ерошенко есть сказка "Сосенка". В ней рассказывается о несчастной любви слепой девушки Мацуноко к юноше, который женится на дочери богача. Ерошенко говорил, что написал сказку о любимой, то есть о той же Камитика, о ее слепой любви к Осуги Сакаэ. И в своем главном произведении, пьесе "Персиковое облако", в образе Харуко (Веснянки) он снова вывел Камитика. И здесь ситуация сходная: Харуко, как и Мацуноко, умирает из-за несчастной любви, но, прощаясь, она говорит: "Я бессмертна, потому что я – весна!" И обещает через год вернуться.

Ерошенко верил в возрождение любви. Он считал, что настоящая любовь не может быть несчастной.

(1) Комментируя этот разговор, Хирабаси Тайко пишет, что вскоре после возвращения Ерошенко "восстановились прежние близкие отношения между ним, Акита и Камитика. Но у нее вовсе не было такого намерения… Как объяснила Камитика, Акита хорошо знал, что она не собирается выходить замуж за Ерошенко, но он хотел выяснить намерения Ерошенко и пресечь слухи о нем и Камитика".

(2) Шанхайский знакомый Ерошенко Каваками Кико писал, что и в 1921 г., то есть два года спустя после свидания Ерошенко с Камитика, японские газеты все еще обсуждали их роман.

Странный кот

Дружеские отношения Ерошенко с Камитика, Акита Удзяку, Осуги Сакаэ и другими социалистами не остались для него без последствий – за ним начинает следить полиция. К тому же охранка подозревает, что он поддерживает связь между японскими революционерами и русскими большевиками.

Сам Ерошенко мечтал о родине дни и ночи, но в 1919 году Россия, пылающая в огне фронтов, была для него недосягаемой, далекой, как луна. Он не получал даже писем от родных.

В декабре, пытаясь спастись от полицейской слежки, Ерошенко переезжает из Токио в Осаку, в дом слепого студента Ивахаси Такэо. Вот как вспоминает это время сестра Ивахаси – Дзюгаку Сидзу:

"Ерошенко разместили на втором этаже в комнате площадью 6 дзэ (10 кв. м. – А. Х.). Я и сейчас помню, как он, без труда сойдя

вниз, чинно сидел перед продолговатым хибати, слегка наклонившись в одну сторону из-за длинных ног, и, протягивая время от времени руки к огню, ощупывал пальцами – читал лежащую на коленях книгу. Ерошенко нравилось сидеть у жаровни, вделанной в пол, и есть печеный картофель, посыпая его солью.

"Бедный, наверное у него трудная жизнь", – говорила моя мать, жалея этого грустного человека… Мне он казался милым и добрым. Как-то незаметно все в доме стали называть его Эро-сан, хотя и говорили:

"Очень странное это имя – Эро-сан". Даже мои младшие сестры, учившиеся в начальной школе, полюбили его. А Ерошенко рассказывал им народные предания и детские сказки…

Нередко у нас собирались гости, иногда из Кобэ приезжал мой слепой брат, Ерошенко всегда радовался ему, и между ними тотчас начинался оживленный разговор на эсперанто, в ходе которого звучали и японские слова. Бывали и такие вечера, когда Ерошенко, прислонившись к деревянному навесу над вделанной в пол жаровней, играл на гитаре, пел русские народные песни. Он громко смеялся, делал даже вид будто танцует. Почему-то никто не может вспомнить, чтобы во время веселья Ерошенко сидел с грустным видом, был задумчивым".

Целыми днями, вспоминает Дзюгаку, Ерошенко с товарищами где-то пропадал. Все знали, что вместе с Такао Рекацу, Фукуда Кунитаро и еще несколькими молодыми людьми он изучает эсперанто. Но места занятий все время менялись. Они собирались то в пристройке храма Хоандзи у реки Дотомбри, то в кафе "Курэнаи" на улице Сэннитимаэ, а то и на острове Наканосима.

В эти годы, по словам Акита, ерошенковское "понимание эсперанто приобрело классовый характер"; он боролся против бехаизма, и "под влиянием Ерошенко эсперанто-движение в Японии все больше отдалялось от этого религиозного течения".

Однако именно этого – пропаганды социализма (пусть и в узких кругах эсперантистов) и международных связей социалистов опасалась японская реакция. Вероятно, поэтому полиция и в Осаке не оставляла Ерошенко в покое. В дом, где он жил, наведывались полицейские чины из Токио, а несколько раз приходили чиновники из тайной полиции, допрашивали, угрожали посадить Ерошенко в тюрьму.

Весной 1920 года Ерошенко возвратился в Токио, в дом госпожи Сома. Университет Васэда пригласил его на преподавательскую работу. Тут же последовал запрет полиции. Лишенный возможности читать лекции, Ерошенко с головой ушел

в мир сказок. Ему казалось, что там, за занавесом аллегории можно спрятаться от жестокой действительности. Так родилась одна из самых грустных его сказок "Странный кот".

"Этот день я хотел бы забыть и все время стараюсь вычеркнуть его из памяти, но увы…

Помню, был зимний вечер, студеный и скучный, но на сердце было холоднее, а на душе – еще печальнее, чем на улице.

Я все размышлял… Нет, вернее, все время пытался не думать. В огне хибати догорали частицы моей надежды, остатки прекрасных и несбыточных мечтаний. И вот совсем неожиданно – откуда, я не знаю, – прыгает ко мне на колени наш кот Тора-тян (3). "Что с ним случилось? Почему он дрожит?" – подумал я, и будто в ответ на мой безмолвный вопрос Тора-тян заговорил, вначале совсем невнятно и почти неслышно, но мало-помалу слова его звучали все отчетливее и громче:

– Бот-тян (4), мой дорогой, мой любимый, только ты меня любишь, только ты меня ласкаешь…

Он хотел еще что-то сказать, но голос его прервался.

Я со скукой подумал: "О, снова сон! Не хватит ли для меня снов? Их больше, чем надо, я устал от них. Мне предостаточно и действительности, в ней-то я окончательно запутался".

Я продолжал сидеть неподвижно, молча. И снова послышался голос кота:

– Бот-тян, я совсем погиб! Я разочаровался во всех и во всем… Хозяин, повар и горничная – все называют меня "котом-лодырем", потому что я перестал охотиться на мышей. Но, Бот-тян, не от лени я перестал их ловить, просто я больше не могу этого делать. Ты не думай, что, мол, когти и зубы мои притупились – нет, совсем нет, но здесь (и он ударил себя в грудь), здесь у меня нет больше храбрости, нет больше решимости убивать мышей. Бот-тян, мыши ведь умирают от голода, у них же нет никакого другого средства для существования, кроме воровства; пойми, они ведь голодают. Однажды я уселся в амбаре, желая подкараулить мышей. Я знал, что они придут красть зерно. И они пришли, но не робко, не как воры, а прибыли с отчаянной храбростью, явились в неисчислимом количестве и в один голос закричали: "Хлеба, хлеба нам! Мы умираем с голоду!"… О пойми, Бот-тян, мне уже представлялось, что здесь в амбаре не только те мыши, которые живут на нашей многострадальной планете от самого ее сотворения, но также и те, которых еще нет, но которые будут иметь несчастье родиться и умирать от голода до конца дней вашей вселенной…

Слыша их вопли, я заметил, что со мной делается что-то

странное: в ужасном мышином визге я внезапно начал различать мяуканье кошек. И вот тогда, в темном углу под крышей, я впервые начал понимать, что мыши – мои братья и я должен им сочувствовать и любить их. И с тех пор я больше не могу на них охотиться. И вот за это твой отец приказал меня убить. Бот-тян, ты один любишь меня. Раздобудь для меня морфий, чтобы я смог спокойно уснуть навсегда.

И он вновь глубоко вонзил когти в мои колени.

В это время отец почти неслышно вошел в комнату. Стараясь, чтобы я его не заметил, он подкрался ко мне сзади и вдруг прыгнул на меня, как тигр, в одно мгновение накрыв кота большим мешком. Ага, наконец-то ты попался! – громко воскликнул он, победно встряхивая мешок, из которого слышалось беспомощное и сдавленное мяуканье Тора-тяна.

– Отец, что это все значит? – спросил я, заикаясь.

– Разве ты не знаешь, что эта скотина взбесилась? Удивительно, как кот еще не покусал тебя. Вчера я ходил с ним к ветеринару, тот обследовал его и сказал:

"Ваш кот бешеный, немедленно убейте его".

Отец говорил быстро и сердито, а в мешке беспомощно барахтался Тора-тян.

– Отец, разве у тебя нет никакой жалости к бедному животному?

– К кому? К бешеному коту?.. Идиоты, дегенераты, интернационалисты ненавистные, человеколюбцы проклятые, уже бешеных котов начали жалеть! Ну, много ли пользы человечеству от вас, выродков ада? Бросив эти слова мне в лицо, он зашагал прочь. И в этот момент, теперь уже не во сне, а наяву, я услышал голос Тора-тяна:

– Бот-тян, Бот-тян, спаси, меня убивают дубиной!

– Что же это такое? Что все это значит? Я схватился за голову, но к выкрикам кота стали присоединяться голоса людей, которые молили меня:

– Бот-тян, помоги нам, нас морят голодом! Бот-тян, спаси нас: нас убивают пушками, винтовками, дубинами! Бот-тян, Бот-тян!

Я заткнул уши пальцами, но вопли, казалось, проникали даже сквозь мельчайшие поры моей кожи.

– Нэй-сан, нэй-сан (5), иди скорее сюда! – в страхе позвал я горничную.

Открыв дверь, она с беспокойством спросила:

– Что вам угодно, Бот-тян?

– Нэй-сан, иди сюда. Ты что-нибудь слышишь?

– Ничего.

– Ты не слышишь вопли людей, писк мышей, мяуканье

кошек? Послушай, как они кричат! Их морят голодом, убивают…

– Нет, я слышу только шум фабрик, и слышно, как где-то совсем далеко поют наши бравые солдаты.

– Нет, нет, я совсем не о том говорю. И наклонившись к ее уху, я прошептал:

– Нэй-сан, купи для меня морфий.

– Морфий? Для вас? Она вскочила от неожиданности.

– Бот-тян, что случилось с вами? Для чего вам нужен морфий?

– Погляди, нэй-сан, я дегенерат, я идиот, я человеколюбец проклятый… Я схожу с ума, нэй-сан?

Она побледнела, ее губы задрожали, и стал слышен стук ее зубов.

– Что вы говорите? О чем это вы, Бот-тян?

– Я думаю, что и мыши, и кошки, и вы, горничные, – все вы мои братья и сестры, которых я должен жалеть и любить. Я не только так думаю, но и чувствую, ощущаю это всем моим существом. Мы все составляем одно неделимое целое: и мыши, и кошки, и вы, горничные…

И вдруг она закричала диким, хриплым, нечеловеческим голосом:

– Помогите, помогите! Скорее сюда! Бот-тяна укусил наш взбесившийся кот.

… Этот день мне хочется забыть. Я все время стараюсь… Но, увы, напрасно!"

Сказки Ерошенко многоплановы и неоднозначны. Они не зеркало, отражающее то или иное событие. Здесь скорее подойдет сравнение с чудесной призмой, с таинственным кристаллом, который вбирает в себя свет, многократно его преломляя. И современники Ерошенко видели в его произведениях больше, чем, скажем, нынешний читатель, потому что сказка, пусть и в фантастической форме, тоже отражает свое время.

В 1918 году по Японии прокатились голодные, "рисовые бунты". Доведенные до отчаяния рыбаки, шахтеры, крестьяне взламывали склады. Солдаты стреляли в народ. Погибли тысячи людей. Нужно ли удивляться, что в этих условиях сказка "Странный кот" воспринималась многими японцами, как косвенное отражение "рисовых бунтов". В этой сказке они находили и сочувствие голодающим, и даже призыв к солдатам не стрелять в своих братьев, не говоря уже о близкой многим японцам (как и слепому сказочнику) идее единства всего сущего на земле.

Говоря о своем русском друге, Лу Синь отмечал его "улыбку страдания". И сам Ерошенко как-то сказал госпоже Сома: "Когда я

улыбался, то улыбка моя получалась вымученной, потому что в это время и в этой стране я не мог улыбаться по-настоящему".

Грустный, высокий, худой Ерошенко несколько напоминал великого Идальго – Рыцаря Печального Образа. И сходство это было не только внешним: не всегда понимая и не принимая существовавшую вокруг него действительность, Ерошенко часто строил в своем воображении воздушные замки и сражался с ветряными мельницами. Но именно о подобных людях сказал как-то Тургенев: "Если не станет Дон-Кихотов, закройте книгу истории: в ней нечего будет писать!" Вот таким грустным и просветленным изобразил Ерошенко известный художник Накамура Цунэ, "японский Ренуар".

Накамура жил в то время в "Накамурая", там же, где и Ерошенко. Узнав поближе этого "русского бродягу, проникнутого духом нигилизма, с необузданным характером" (так писал о Ерошенко Накамура Хироси), художник страстно захотел его нарисовать. Да и госпожа Сома уже не раз просила его об этом. Но начать работу ему пока не удавалось – художник был беден и вынужден был зарабатывать кистью на жизнь. И тогда портрет Ерошенко взялся написать ученик Накамура – Цурута Горо.

Это было осенью 1920 года. Однажды на платформе пригородной токийской станции Мэдзиро художник Цурута повстречал русского слепца. С волнистыми серебристо-пепельными волосами, в черном пальто, накинутом на плечи, с гитарой в руках, он выглядел грустным и одиноким. Художник сразу догадался, что это тот самый Ерошенко, о котором рассказывал ему Накамура Цунэ.

"Простите, вы не Ерошенко? – обратился я к нему…

– Да, – ответил он, не поднимая головы. – Кто вы?

– Я Цурута, художник. Простите, что я обратился к вам со столь неожиданной просьбой, но мне бы хотелось написать ваш портрет. Не согласитесь ли вы позировать мне?

Другой на его месте был бы, вероятно, изумлен и рассержен таким бесцеремонным обращением, а Ерошенко ответил мне с истинно русским простодушием:

– Цурута… А, знаю, мне рассказывали о вас. Поговорю с хозяйкой, и мы решим.

Он разговаривал со мной непринужденно, как со старым знакомым".

Цурута рассказал Ерошенко о своем непоседливом характере, который мешает ему работать, о своих скитаниях по Китаю, о том, как он тосковал там, вдали от родины. Ерошенко почувствовал в Цуруте родственную душу. Расстались они друзьями.

Своей мастерской у Цуруты не было, и его вместе с Ерошенко пригласил к себе Накамура Цунэ. Наблюдая за работой своего ученика, Накамура отложил все дела, и художники стали работать вместе. Цурута рисовал Ерошенко в профиль, Накамура – в три четверти.

Вот как рассказывает об этом Цурута Горо:

"Накамура взялся за кисть после долгого перерыва, но работа у него шла успешно, он сам это чувствовал и иногда не мог сдержать возгласа восхищения. Эта трепетность мягких волос, затененные, глубоко запавшие глаза, линии лба, носа, рта – все наполняло портрет большой жизненной силой. Шесть дней он лихорадочно работал. Наконец я не выдержал:

– Не пора ли заканчивать, Накамура-кун?

Я боялся, что у него снова начнется кровохарканье.

– Еще бы денек, – попросил он, – слабовато написана нижняя часть лица. Но я настаивал. Накамура, несмотря на сильную усталость, протестовал, потом наконец понемногу сдался.

Оба портрета появились на очередной императорской художественной выставке, и особенно глубокое впечатление на всех производил портрет работы Накамура".

В японском биографическом справочнике о Накамура Цунэ, в частности, говорится: "Самой известной его работой является портрет Ерошенко – слепого русского революционера. Этот портрет экспонировался на Второй императорской выставке изящных искусств и был признан лучшей работой маслом, выполненной японцем с того времени, как западная школа живописи получила распространение в Японии".

В 20-е годы портрет "Господин Ерошенко" (6) с большим успехом экспонировался в Париже. Затем он некоторое время висел в кафе "Накамурая", но вскоре оказался в частной коллекции банкира Имамура Сигэдзо. В последние годы эта картина Накамура Цунэ приобрела широкую популярность: в 1974 году, к пятидесятилетию со дня смерти художника, цветная литография с портрета издана в Японии массовым тиражом. Эта литография, подарок токийского друга, рабочего Итигю Итиро, висит на стене моей комнаты.

Крестьянская рубаха, большой лоб мыслителя, грустное, мечтательное лицо поэта с плотно сомкнутыми глазами. Кажется, сейчас он раскроет их и на нас взглянет Великий Принц, понявший, что цветок Справедливости нужно оросить собственной кровью, или Тополиный Мальчик, готовый сгореть, чтобы разогнать тьму жизни…

Лицо Ерошенко печально. На губах и щеках его видны слабые отблески огня, но, похоже, источник света не снаружи – внутри.

Черты лица нерезкие, словно их прикрывает легкий утренний туман. Копна русых волос напоминает факел. Огонь поэзии, который светит сквозь туман жизни, – вот смысл картины Накамура Цунэ. Но как же близок этот образ слепому мечтателю, который, выражая свое кредо, писал:

Я зажег в моем сердце костер -
С ним и в бурю не будет темно.
Я в душе моей пламя простер
И умру – не угаснет оно.
Лей, костер, ласку жизни и новь!
Вейся, пламя, бессмертно горя!
Мой костер – к людям мира любовь.
Пламя – вольного завтра заря.
Перевод К. Гусева.

(3) Тора-атян – букв. "Тигренок".

(4) Ласковое уважительное обращение. Переводится примерно как "малыш", "мой хозяин".

(5) Обращение, примерно соответствующее русскому "старшая сестра".

(6) Писатель Эгути Кан считал эту картину высшим достижением живописи за всю эпоху Тайсё (1912 – 1926). Слепой писатель знал об успехе художника. Он говорил: "Я бы отдал год жизни, только бы разок взглянуть на этот портрет".

Два цвета жизни

Характеризуя взгляды Ерошенко до его возвращения в Японию летом 1919 года, писатель-коммунист Акита Удзяку назвал его абстрактным гуманистом, романтиком и индивидуалистом. И действительно, в ранних произведениях русского литератора отразились "вечные темы": любовь и смерть ("Морская царевна и рыбак"), стремление к совершенству ("Божество Кибоси", "Кораблик счастья"), единство всего сущего ("Во имя человечества", "Сон в весеннюю ночь"). Иногда в них слышатся философские, главным образом буддистские и бехаистские мотивы ("Дождь идет", "Божество Кибоси").

Люди в ранних сказках Ерошенко делятся не на бедных и богатых, а на хороших и плохих, причем все они, по мысли автора, живя в согласии с природой и друг с другом, могут в

конце концов достичь совершенства и счастья. Символическим в этом смысле представляется финал сказки "Сон в весеннюю ночь": девочка-аристократка и крестьянский паренек идут рука об руку по дороге жизни. А герой "Странного кота" утверждает, что все на земле, в том числе хозяева и слуги, – братья.

"Я живу, чтобы построить золотой корабль для всех", – говорил герой "Кораблика счастья". Великий Принц отдал свою жизнь во имя человечества. "Во имя человечества" – так называются и сказка, и сборник произведений Ерошенко. И сердце их автора светило, как костер, всем людям – об этом мы читаем в приведенных выше стихах.

Что же, некоторая абстрактность образов вообще свойственна романтическим произведениям многих писателей. Эгути Кан правильно заметил, что мир, в котором жил русский писатель и его герои, "не целиком реальный. Это – страна прекрасного будущего, утопическая свободная земля – поэтический, почти сказочный мир".

Но со временем сказочный мир Ерошенко стал все больше отражать мир реальный с его делением на бедных и богатых, с борьбой обездоленных за свои права. Конечно, это отражение происходило по строгим законам жанра сказки. Так, в "Падающей башне" крестьяне с презрением смотрят на аристократов, которые возводят помпезные дворцы в попытке превзойти друг друга. А в сказке "Во имя человечества" пес Эль, не желая, чтобы его, "трудящегося" пса, путали с холопами, говорит: "Мой отец – дворовый пес, но не тот, который охраняет дом богача. Та собака не имеет к нашей семье никакого отношения".

Все чаще в произведениях Ерошенко проявляются два главных цвета жизни – белый и красный, цвета угнетателей и угнетенных. Слепой сказочник перешагивает через границы жанра анималистической сказки и вводит в свои произведения реальных людей – рабочих и аристократов.

В этом плане знаменательна сказка "Две смерти" (не случайно Лу Синь включил ее в число своих переводов) .

…Больница. В соседних палатах, недалеко друг от друга лежат двое – мальчик из богатой семьи и юноша рабочий. Оба они неизлечимо больны. Но рабочего парня смерть не пугает – она подстерегала его с самого начала – и когда он еще сосал сухую грудь больной матери, и когда сам работал на заводе и голодал. Мальчик же из богатой семьи боится умереть, ведь он так много теряет, уходя из этого мира, – и сенбернара, лежащего у его ног, и поющих для него канареек, и благоухающие цветы – роскошь, окружающую его с первого шага.

Был вечер. Мальчик следил за проплывающим по небу

персиковым облаком. А юноша посылал ему улыбки, потому что он полюбил мальчика, соседа по больничной койке, как брата. Это был последний вечер их жизни. По больничным коридорам уже не таясь бродила Смерть. Она пела песнь о том, что ей подвластны все – и люди, и животные, и цветы, что она самый главный поборник полного и абсолютного равенства бедных и богатых.

" – Эй, парень! – крикнула Смерть, подходя к рабочему. – Ты что это делаешь? Торопись – я пришла за тобой. Пришла твоя пора умереть!

– Ты говоришь, я должен умереть? А разве до сих пор я был живой?..

– До чего же глупый народ эти пролетарии, – проворчала про себя Смерть. – Для них что жить, что умереть – все равно. Вот почему отнимать у них жизнь не доставляет мне никакого удовольствия.

Потом она вновь обратилась к рабочему:

– Послушай, малец! Я могу немного продлить твое существование. Но за это ты должен мне уступить жизнь твоего самого любимого дружка. Согласен?..

– Вы говорите о жизни малыша?.. – изумленно переспросил рабочий парнишка. – Но я не знаю, я не понимаю, как я могу вам уступить его жизнь?

– Не задавай дурацких вопросов… Жизнь всех, кого ты любишь, находится в твоих руках…

– Нет… Если жизнь любимого существа передана в мои руки, то не для того, чтобы отдать ее смерти, а чтобы защищать.

– Весь этот рабочий люд вечно мелет вздор, – прошипела Смерть. – Поэтому я их всех ненавижу. Послушай, парень! Мне некогда больше с тобой валандаться. Выбирай одно из двух: либо ты уступишь мне жизнь своего друга, либо умрешь сам.

– Лучше я умру сам…

– Ну хорошо, оставим твоего друга в покое. Уступи мне жизнь того сенбернара.

– Нет, не уступлю…

– Глупец! А как насчет канареек?

– Их я тоже не отдам.

– Ну а как насчет цветов? Их, надеюсь, не жалко?

– Нет, пусть живут и цветы…

– В таком случае готовься умереть.

Смерть вышла из палаты, а юноша широко улыбнулся: "Ох, до чего же радостно стало у меня на душе… Я жив! Впервые за все годы я ясно понял, что живу на свете. Как это хорошо!.."

А в это время в соседней палате Смерть разговаривала с

мальчиком из богатой семьи. Он очень испугался ее и попросил продлить его жизнь хотя бы до той поры, пока не закатится солнце и не поблекнет персиковое облако на горизонте. Смерть запросила за это жизнь соседа, сенбернара, канареек и цветов. Мальчик-аристократ все отдал Смерти и умер вскоре после рабочего.

Наутро за гробом мальчика шла пышная процессия. Тело же рабочего никто не пришел провожать. Только одна молодая, стройная сиделка с лицом, закрытым белой вуалью, рыдала над его гробом. Потом она, видимо приняв решение, проговорила: "Я тоже пойду. Я должна пойти: истина и справедливость живут там". И указав рукой вдаль, она медленно направилась за гробом в сторону трущоб, где жили рабочие. "Да ведь это сама Смерть!" – в ужасе зашептали вокруг нее люди…"

Справедливость на стороне тех, кто трудится, – эта идея стала одной из главных в творчестве зрелого Ерошенко. Автору близок мастеровой, который многозначительно говорит: "Все мы родились под несчастливой звездой… Но причина наших несчастий известна!" ("Страна Радуги"). Писатель сочувствует рабочим, которые, ломая кордоны полиции, рвутся к красному цвету счастья ("Красный цветок"). И, наконец, в "Зимней сказке" Ерошенко рисует образ большевика-партизана, отдавшего свою жизнь за рабочих, за дело социализма. Этим партизаном оказался уже выросший сказочный Тополиный Мальчик, который мечтал сгореть, освещая людям путь во тьме.

Так Ерошенко как бы стер грань между сказочным и реальным миром: в Тополином Мальчике можно увидеть и черты Великого Принца, погибшего во имя счастья людей, и образ самого сказочника, страдающего за униженных и оскорбленных. Такова логика развития поэзии Ерошенко: из сказки – в жизнь. Впрочем, это и понятно, ведь поэзия Ерошенко отразила эволюцию их автора, логику его жизни.

Среди японских социалистов

Время второго пребывания Ерошенко в Японии было в истории этой страны бурным. В 1920 – 1921 годах в Японии разразился сильный экономический кризис. Правящие классы пытались переложить всю тяжесть экономических трудностей на плечи трудящихся. Это вызвало отпор со стороны рабочих и невиданный до той поры размах стачечной борьбы. Реакции

пришлось маневрировать, правящие круги были вынуждены разрешить некоторые объединения прогрессивных сил. Так, в декабре 1920 года родилась Японская социалистическая лига, ставившая целью вовлечь в рабочее движение передовую интеллигенцию. И хотя состав лиги был разношерстный – в нее входили, например, анархисты и христианские социалисты, – правительство было напугано уже и тем, что появилась организация, открыто провозгласившая себя социалистической.

В это же время родилось общество марксистов "Гёминкай" (7) ("Общество пробуждения народа"). Одним из активных его членов был Комаки Оми, незадолго до этого приехавший из Франции, где он примыкал к революционной группе А. Барбюса "Кларте". В манифесте этой группы А. Барбюс призывал всю сознательную интеллигенцию стать на сторону революции; он осуждал капиталистический строй. Комаки вернулся в Японию с твердым желанием распространять идеи "Кларте". В феврале 1921 года он издал первый пробный номер журнала "Танэмаку хито" ("Сеятель"). Комаки, опасаясь преследований, напечатал журнал вдали от столицы, в рыбачьем поселке префектуры Акита. На обложке "Танэмаку хито" картина французского художника Милле "Сеятель" (8), аллегорически выражающая кредо Комаки Оми и других руководителей журнала.

Привлекая в новый журнал не только японских писателей, Комаки Оми хотел с самого начала придать токийскому изданию "Танэмаку хито" интернациональный характер. Хотя первый токийский номер "Танэмаку хито" вышел в октябре 1921 года, когда Ерошенко уже уехал из Японии, его участие в журнале было отнюдь не формальным (9).

Журнал был тесно связан с литературным обществом того же названия, в котором, как писал Акита, Ерошенко принимал самое активное участие. Существовало также и общественное "движение сеятелей". Его участники выступали с докладами о Великой Октябрьской социалистической революции, боролись под лозунгом "Руки прочь от Советской России", собирали средства для голодающих Поволжья..

Где бы ни выступали "сеятели", на трибуне всегда появлялся Василий Ерошенко (10). Акита писал о том, что "пропаганда великой русской революции" Василием Ерошенко сыграла большую роль в развитии социалистического движения, и сам русский писатель "был очень популярным человеком в Японии в эпоху непосредственного влияния там Октябрьской революции".

Активное участие Ерошенко в социалистическом движении благотворно сказалось на его творчестве. Его поэтические образы стали конкретней, сатира приобрела общественное звучание. Он

на практике осуществлял лозунг "Искусство – орудие класса", выдвинутый впервые в Японии на страницах "Танэмаку хито".

Интересно рассмотреть, как декларации социалистов той поры отражались в творчестве Ерошенко.

Так, в манифесте Японской социалистической лиги говорилось о будущем обществе, "где не будет богатых и 'бедных… где все будут работать и все будут обеспечены одеждой, питанием и жильем". А в сказке "Страна Радуги" Ерошенко писал о стране, "где нет бедных, где все дети едят досыта и живут в сухой, теплой комнате, где вода не течет с потолка и ветер не дует в щели", намекая, что речь идет о Советской России. Видимо, только цензурные соображения не позволили ему ска-зать об этом прямо.

Авторами манифеста лиги были близкие друзья Ерошенко – Осуги Сакаэ и Акита Удзяку. В печати манифест появился на полгода раньше "Страны Радуги".

Поэтому может сложиться впечатление, что Ерошенко просто отразил, проиллюстрировал в своей сказке то, что до него сказали другие. Однако такой подход был глубоко чужд слепому писателю, который, по словам Акита, "был революционером по натуре".

Позднее, уже в Пекине, Ерошенко написал сказку "Мудрец-Время". Вот вкратце ее содержание.

В одном из уголков нашей земли стояла древняя молельня, а в ней были статуи богов. Старики поклонялись каменным идолам, юноши же охраняли молельню и помогали совершать обряды. Много жертв приносили люди богам, но самые страшные жертвы – это души молодых людей. Их больше всего любили получать каменные идолы.

В слабом неверном свете среди скользящих по стенам теней статуи богов казались живыми каменными великанами. В невероятной духоте звучала мистическая музыка, и звуки ее и молитвы заглушали робкие проклятия людей. В зыбком свете никто не видел, как слезы молящихся превращаются в кровь, а тела их содрогаются в конвульсиях.

В кумирню эту не попадали ни чистый воздух, ни лучи солнца. Люди верили в старое предание, что стоит проникнуть туда свету или свежему воздуху, как боги сразу покарают тех, кто окажется в храме.

Но вот однажды пришла особенно теплая весна, ярко светило солнце, пели птицы. В такое время душный мрак кумирни казался особенно невыносимым. И юноши усомнились: а не обманывает ли их старая легенда. Самые решительные раскрыли окна. Свет хлынул в кумирню и безжалостно обнажил фигуры каменных

идолов, которые, лишившись теней, оказались совсем нестрашными.

Но старая легенда оказалась правдивой. Идолы неожиданно сошли со своих пьедесталов и упали, похоронив всех, кто был в кумирне. Никто из нарушивших закон не остался в живых. Но и умирая, юноши не пожалели о том, что сделали.

"И в свой смертный час предупреждали живых, что мало только сбросить богов на землю, – писал Ерошенко. – "Никогда не видать человечеству счастья, если не разобьет оно на куски каменных идолов" – это были их последние слова…

Я встал. Сердце мое болело, в висках стучало, в ушах звучали слова: не видать человечеству счастья, если не разобьет оно на куски каменных идолов. О, если бы мог я отдать свою жалкую жизнь за счастье человечества!"

Эти слова напоминают выражение Вольтера: "Раздавите гадину!", но относятся они не только к религии.

Перебрасывая мост от аллегории к реальности, Ерошенко утверждал: "Я верю, что человечество в конце концов придет к свободе, равенству, братству, справедливости. Я верю, что этот несчастный мир вырвет власть у тех, кто ее украл, освободит слабых и бедных от неимоверных страданий. И тогда наступит царство любви, где властвовать будут борцы за счастье людей. Дни и ночи мечтаю я об этом времени. Но когда я вижу, как молодежь изучает историю только для того, чтобы повторить ошибки и преступления отцов и дедов, когда я слышу, как юноши маршируют под барабанный бой, мне становится страшно за будущее человечества… И в эти минуты я боюсь, что нить горя людского никогда не прервется. Для меня нет страшнее такой мысли".

В декларации журнала "Танэмаку хито" было записано: "Некогда человек создал богов. Теперь человек убил богов… Но в видоизмененном виде все полно ими. Боги должны быть убиты. Убьем их мы.. Кто признает их, тот враг. Смотрите, мы сражаемся за истину настоящего времени. Мы хозяева жизни. Кто отрицает жизнь – тот не человек нашего времени. Мы защищаем истину революции во имя жизни. Вот здесь-то и поднимается "Сеятель" вместе с единомышленниками всего мира!"

Действительно, совпадение мыслей и даже слов поразительное. Может быть, Ерошенко читал декларацию "Танэмаку хито" в то время, когда писал свою сказку в Пекине? Вряд ли: номер журнала с этой декларацией не увидел свет – он был запрещен цензурой. "Поэтому вполне справедливо предположить, – заметил Р. С. Белоусов, – что еще до своей высылки из Японии он был знаком с основными мыслями

будущей декларации и принимал участие в подготовке этого номера" (11).

(7) Общество "Гёминкай" было предшественником созданной в 1922 г. Коммунистической партии Японии.

(8) Ромен Роллан считал взмах руки Сеятеля угрозой простолюдина, бросающего ввысь пригоршни картечи. Теофиль Готье видел в этой картине образ человека, "сеющего на земле хлеб будущего".

(9) После закрытия "Танэмаку хито" его сменил другой журнал под названием "Федерация деятелей пролетарской культуры Японии", в котором, как писал академик Н. И. Конрад, "непрерывно печатали все сколько-нибудь значительное, появившееся в 20-е или в начале 30-х годов в советской литературе", в результате чего "советская литература становилась в Японии чуть ли не столь же известной, как и в собственной стране".

(10) В "Записках о высылке из Японии" Ерошенко отмечал:

"У меня были близкие друзья среди японских социалистов… я состоял членом обществ по изучению и распространению социализма…" В сказке "Мудрец-Время" он разъяснял: "Вспоминая Москву и… Токио… собрания социалистов… я думаю о том времени, когда обнимал друзей, и мы вместе мечтали вырвать общество, государство, человечество из рук богачей и убийц, вырастить на земле сад свободы".

(11) Р. С. Белоусов первым обратил внимание на совпадение текста этой декларации и нескольких абзацев из сказки "Мудрец-Время".

Оружием сатиры

Японская социалистическая лига была первым в истории этой страны крупным демократическим объединением. Лига проводила массовые лекции, диспуты и демонстрации, выпускала брошюры и листовки, издавала журнал "Сякайсюги" ("Социализм").

Состав лиги, как уже отмечалось, был очень разношерстным – в нее входили и передовые рабочие-марксисты, и христианские социалисты, и анархисты, и люди без определенных взглядов. Это говорило прежде всего о незрелости социальных отношений в стране, где молодой капитализм встречался с еще сильным феодализмом и где даже среди рабочих была популярна

анархистская идея немедленного взрыва государственной машины.

Социалистическое движение в Японии не было столь развитым, как в Европе. Правящие круги Японии пользовались слабостью этого движения, разлагали его изнутри – засылали туда агентов, старались провести их в руководство лиги, где смогли бы действовать по принципу "возглавить, чтобы обезглавить". Ерошенко приходилось встречать в Лиге и таких людей, для которых социализм был только модой, прикрытием их корыстных планов. Обостренным чутьем Ерошенко легко их распознавал, но внутрипартийная борьба не была его стихией, – к тому же он был иностранец, человек со стороны.

Время поставило перед Ерошенко вопрос о том, где его место как писателя в пору социальных бурь и потрясений. Собственно, сама эта проблема не была для Ерошенко новой: и в своих сказках, и в воспоминаниях он не раз размышлял о взаимоотношениях поэзии и действительности, осуждал такую литературу, которая выполняла роль духовного дурмана, навевавшего народу золотые сны. В 1919 – 1921 годах Ерошенко занял в своем творчестве (как и в жизни) более четкую классовую позицию. Отстаивая свои взгляды, Ерошенко обратился к оружию, которым до той поры пользовался редко, – сатирической сказке. В 1921 году он написал "Гибель Кенаря".

"…Однажды молодой Кенарь, мечтатель и поэт, покинул родную клетку и отправился в свободный мир. По дороге он повстречал Воробья-профессора, который не раз проповедовал идеи социализма перед его клеткой и звал птиц на волю. Воробей, сидя на ветке черешни, читал лекцию молодежи.

– Профессор, – сказал Кенарь, – я давно не встречался с вами. Как видите, я тоже стал свободным. Надеюсь, что вы, как социалист, укажете мне правильный путь в жизни…

– Что? Я? Социалист! – удивился профессор… – Не говори глупостей! Ты, верно, ошибаешься?..

– Но, профессор, когда-то вы говорили, что мир наш идет по пути социалистических идеалов…

– Глупец! И ты все еще несешь такую чушь? В свободном мире безопаснее всего не говорить правду. Имеется большая разница между свободным миром и твоей клеткой. Ты должен это усвоить. Иначе не избежать тебе неприятностей…

Вот ты хочешь стать социалистом. А ведь хвастать здесь нечем. Лучше быть попугаем, чем социалистом. Попугаи просто помнят много слов и рекламируют себя изо всех сил. Но социалистов, как, например, ворон, никто не любит. Потому что всюду они предвещают беду… Я бы еще кое-что сказал тебе, но

спешу на лекцию "Слава коммунизму". Сразу после этого я прочту другую лекцию на тему "Слава самодержавию".

– О! Оказывается, быть профессором совсем не-просто!"

В поисках истины Кенарь отправился на съезд ворон-социалистов. Завидев Кенаря, птицы схватили его и притащили к председателю съезда. Испуганный Кенарь признался все-таки, что решил изучать различные общественные проблемы и сделаться социалистом.

" – Слышу умный разговор, – заметил председатель. – Но что ты будешь делать среди нас в своей блестящей, яркой одежде?

– А что, для того чтобы изучать общественные науки, непременно нужно носить такую же черную одежду, как у вас? – смущенно спросил Кенарь.

– Конечно. Правда, среди социалистов-людей есть много таких, которые носят

красивые туфли и модные костюмы, пьют сакэ, вино, пиво, ходят в рестораны, в публичные дома и там изучают… страдания рабочих. Но мы же с тобой птицы!"

Узнав, что Кенарь – поэт, вороны предложили ему спеть песню. Но они лишь посмеялись над птицей, которая только и умела, что слагать стихи о любви. Тут председатель потребовал от Кенаря, чтобы тот, если хочет остаться здесь, снял с себя блестящую одежду. Вороны с криком бросились обдирать с Кенаря перья. Кенарь уже истекал кровью, и только внезапный приход охотника сохранил ему жизнь.

В это время появился толстый Кот-капиталист:

" – …Ага, это ты, тот Кенарь, что удрал вчера из клетки. Ну я тебе сейчас покажу!..

– Я артист, стремящийся к свободе. Я не хочу возвращаться в клетку.

– И после всего, что с тобой случилось, ты еще болтаешь? Ах ты, неблагодарный. Если бы не было нас, капиталистов, то такие, как ты, артисты, давно бы умерли с голоду… – сказал Кот, глядя на Кенаря жадными глазами. Говоря это, он незаметно выпустил когти.

– Лучше умереть от голода, чем в твоих когтях, – сказал Кенарь и, собрав последние силы, попытался бежать.

– Эх ты, упрямец! Хочешь удрать?.. Побыв немного на свободе, ты стал опасным идеалистом. Поэтому я всегда говорю людям: таких птиц, как канарейки и соловьи, нужно прятать в клетки… А ну-ка иди сюда… – сказал черный Кот и, схватив Кенаря, содрал с него шкуру".

Это "страшное птицеубийство" комментирует Мышка. Она обращается к Белке:

" – Видишь? Конечно, Кот-капиталист очень кровожадный. Но он снял с бедной птицы одну шкуру, а капиталист-человек ухитряется содрать с рабочих десять шкур".

В этой сказке автор, словно перебрасывая мост между вымыслом и реальностью, несколько раз приподнимает занавес над аллегорией. Этот прием в его творчестве мы встречаем неоднократно – можно вспомнить, например, авторские ремарки к "Цветку Справедливости". Но в "Гибели Кенаря" Ерошенко настойчиво намекает, что эзопов язык для него вынужденная необходимость,

Читатель хорошо понимал это. Ведь начало 20-х годов было временем разгула японской цензуры. Под запретом оказалось даже само слово "революция". Желая применить "запрещенное" слово, авторы были вынуждены ставить на его месте крестики – по числу иероглифов.

Цензура не раз расправлялась с социальными сказками Ерошенко. Текст его сатирического произведения "Поражение молодого ангела" так и не удалось восстановить – оттуда вычеркнуты целые абзацы. Правда, смысл этой сказки все же ясен: Ерошенко высмеивал – тех, кто пытался отгородиться стеной от новых идей (не содержался ли здесь намек на правительство, ограждавшее Японию от влияния Великой Октябрьской социалистической революции?), он как бы пророчески предвидел то тяжелое для страны время, когда реакция примет "закон об опасных мыслях".

Неизвестен и подлинный текст "Гибели Кенаря". Трудно судить о взглядах автора и по другим его подцензурным произведениям – мы так и не знаем, что же ему не дали досказать. Об этом можно лишь догадываться по тем отрывкам, которые автор восстановил в сказках, повторно опубликованных после его отъезда из Японии.

Однако существует сочинение Ерошенко, которого не коснулось перо японского цензора. Недавно в Японии впервые опубликовали его очерк (без названия), который пролежал пятьдесят лет в архиве.

… Редакция буржуазной газеты. Кэйдзи (12) расспрашивает о прошедшем накануне собрании общества "Белая чайка". Отвечает ему некий бесхребетный журналист:

"Кэйдзи. А как называется ваше общество?.. Белая чайка?

Журналист. Да, белая… Заметьте, не красная чайка… Сначала мы хотели назвать наше общество "Дым", но отказались от этого, так как это невольно напоминало бы о полицейском участке, который был подожжен. Затем мы хотели дать ему название "Черная птица", но подумали, что наверняка в связи с

этим появятся мыслей о страшных делах… Вообще, и главном управлении полиции слишком много вещей…

Кэйдзи. Ну ладно, о названии достаточно. Между прочим, почему этот русский слепой был приглашен на собрание?

Журналист. Почему?.. Мне это тоже не совсем понятно… Видимо, здесь произошло какое-то недоразумение. Во-первых, я ни разу не читал его стихов. А считают, что этот слепой – поэт… Пригласили поэта, который не пишет стихов. Это стыдно для японского литературного мира. У нас достаточно много поэтов, пишущих стихи… Конечно, удачно еще получилось, что там не было ни одного писателя, который не писал бы литературных произведений.

Кэйдзи. Вообще-то мы лучше относимся к тем писателям, которые не пишут прозы, и к тем поэтам, которые не пишут стихов… Но этого слепого поэта все же нельзя было приглашать… Для слепого безразлично – "белая чайка" или "красная чайка". Кроме того, он вообще не различает цвета. Это самое опасное. Он не может определить разницу между белой и желтой расой. Более того, он не считает это для себя зазорным, а, наоборот, бравирует этой своей особенностью.

Если бы, допустим, он жил в Америке и агитировал за равенство между белой и черной расой, тогда мы, наверное, еще могли бы с ним согласиться. Но разве может быть на свете что-либо хуже, чем говорить, будто нет разницы между русскими и японцами, как он утверждает. Для зрячего человека сразу видно, что у японца красивое лицо, что он изящнее и значительно превосходит европейцев. Но слепой – этого никогда не поймет. И в этом отношении он очень опасен. Конечно, вы-то знаете, что белая чайка гораздо красивее, чем красная.

Журналист. Я, конечно, это знаю.

Кэйдзи. То-то. Но для слепого это непонятно. Да он никогда и не поймет. Поэтому ваше общество "Белая чайка", которое вы с таким трудом организовали, из-за этого слепого в один прекрасный день может превратиться в "Красную чайку". Вот я и говорю, что приглашать его очень опасно".

Комментируя этот очерк, Р. С. Белоусов предполагает, что в нем описан случай, действительно происшедший со слепым поэтом. Думаю, что так оно и было: в очерке не только отражены некоторые факты биографии Ерошенко, но упомянут и близкий приятель поэта политический деятель Оидзуми Кокусэки. Но "Беседа" представляет интерес не только с точки зрения содержания. Ее можно рассматривать как попытку Ерошенко вырваться из удушающих объятий цензуры и, отбросив тесный костюм аллегории, назвать вещи " своими именами.

(12) Кэйдзи – агент полиции, сыскной агент, сыщик.

"Мы защищаем истину революции"

Японские критики отмечали, что в 1921 году Ерошенко почти не писал сказок, он обратился к социальной сатире. В общем, это было закономерно для Ерошенко той поры – он отзывался на требование жизни. Но в это же время произошло и еще одно событие, не замеченное критиками: сказочник стал также оратором и публицистом (13). Весной 1921 года, в пору подъема социалистического движения, Ерошенко чаще можно было увидеть на трибуне, чем за письменным столом.

16 апреля общество "Гёминкай" организовало собрание в столичном зале "Канда". Было заранее объявлено, что Василий Ерошенко прочтет лекцию… о вреде пьянства. Затем состоится обсуждение подготовки первомайской демонстрации, кстати второй за всю историю Японии.

Огромный зал был полон. В первом ряду сидели кэйдзи и шеф токийской полиции Кавамура. Выступил первый, второй, затем третий оратор. Слушая людей, поднимавшихся на трибуну, Кавамура то и дело восклицал: "Докладчик, берегись!" или "Докладчик, запрещаю!" Никому из выступавших так и не удалось закончить речь.

Когда в зал вошел Ерошенко, все три тысячи человек обернулись к нему с немым вопросом, захочет ли он выступить в такой обстановке. Но русский вел себя так, словно полиции не было в зале. Он демонстративно подошел к Такацу Масамити, одному из основателей "Гёминкай", который лишь недавно был исключен из университета Васэда и находился на подозрений у властей. Такацу познакомил Ерошенко со своей семьей, которую привел в зал "Канда", а потом представил его прогрессивному журналисту из "Иомиури симбун" Эгути Кану (14).

Председатель собрания Такасэ Киёси предоставил слово писателю из России. Ерошенко, по воспоминаниям Акита, поднялся на трибуну, поддерживаемый студентом, и с согласия аудитории опустился на стул. Он достал рукопись речи и начал говорить, повернувшись слегка вправо, в то время как пальцы его скользили по выпуклым точкам текста. Повышая голос, Ерошенко слегка покачивал головой.

– С далеких времен древней Греции и Рима до наших дней, – говорил он, – несчастные, обездоленные люди боролись, стремясь

освободиться от тирании. Рабы Греции и Рима стремились избавиться от своих жестоких деспотов, крестьяне Франции – от ненавистной аристократии, русские рабочие и крестьяне – от безграничного произвола… Много раз угнетенные жертвовали жизнью и осушали полную чашу страданий… Но мы надеемся, что для несчастных и обездоленных эта горькая чаша будет последней…

Зал напряженно слушал. Такацу Масамити, сидевший рядом с трибуной, прошептал:

– Да он же настоящий агитатор!

Шеф полиции Кавамура недоумевал. Оратор не употреблял "крамольных" слов: Ленин, Россия, революция. Да и тема выступления была вроде бы разрешенной – о вреде алкоголизма (Ерошенко ловко манипулировал словами "рюмка водки" и "чаша страдания"). Однако аудитория, по словам Акита Удзяку, хорошо поняла смысл его речи: чтобы освободить человечество, необходима революция, необходимо идти по пути русских.

Ерошенко говорил о том, как заблуждаются отставшие от жизни люди во взглядах на социалистическое и рабочее движение:

– Говорят: исчезают крысы – значит, в доме начнется пожар. Но на самом деле .крысы потому и покидают дом, что в нем уже вспыхнул пожар. Говорят: муравьи бегут с плотины – быть наводнению. Но потому-то муравьи и бегут, что наводнение уже началось. Люди, отставшие от жизни, утверждают, что раз социалисты и рабочие бунтуют, значит мир стал плохим. А на самом деле, потому они и бунтуют, что мир давно уже плох…

Ерошенко говорил так минут сорок, ни разу не запнувшись. В зале не было ни одного человека, кого бы не захватили его слова. Мягкий европейский акцент, красивый тембр голоса, искреннее увлечение, с которым он говорил, – все это очаровало зрителей. Оратору, вспоминал Эгути Кан, не раз и от всего сердца аплодировали.

Вслед за Ерошенко на трибуну поднялся Такацу Масамити. Он обратился к залу:

– Товарищи! Мы должны стать свидетелями большого события…

Такацу собирался говорить о праздновании Первого мая, и все этого ждали. Но тут кто-то из зала выкрикнул:

– Ага, революция!

– Арестовать его, – распорядился Кавамура.

Полицейские бросились к трибуне.

В это время с одного из кресел поднялся человек. Это был недавно приехавший из США пролетарский писатель Маэдако

Коитиро. Он с улыбкой оглядел зал и проговорил:

– Товарищи, успокойтесь. – И, как бы сдерживая волнение слушателей, поднял обе руки.

– И этого арестовать, – проговорил Кавамура и приказал закрыть собрание. Ерошенко беспрепятственно ушел из зала "Канда". Его не схватили скорее всего из опасения, что это вызовет массовый протест. А может, он уже тогда, по мнению властей, зашел слишком далеко в пропаганде революции, и полиция просто выжидала время, чтобы расправиться с ним.

Следующим испытанием для Ерошенко был день Первого мая. Он, конечно же, пришел на демонстрацию. Здесь были его товарищи – Акита Удзяку, Сасаки Такамару. Кроме того, в демонстрации участвовала первая в Японии социалистическая женская организация "Сэкиранкай". Это еще больше воодушевляло демонстрантов.

Высокая фигура Ерошенко, отмечает Такасуги, привлекала к себе всеобщее внимание.

Колонна собралась в парке Сикоэн и направилась к парку Нокоэн. Путь демонстрантам преградили полицейские. После одной из схваток с полицией триста человек было арестовано. Среди них оказался и Ерошенко. Всего два часа провел он в участке, но по тону, которым с ним разговаривали, понял – над его головой сгущаются тучи.

Можно представить, как вел бы себя на месте Ерошенко человек менее смелый, не столь убежденный в своих социалистических идеалах, – ведь он получил уже второе предупреждение от властей…

И все же 9 мая Ерошенко пришел в зал Общества христианской молодежи, который Социалистическая лига арендовала для своего второго съезда. Собравшиеся на съезд социалисты еще не знали, что лигу уже было решено закрыть. Не успел председатель съезда Такацу произнести: "Товарищи!", как полицейские стащили его с трибуны и повели к выходу. Зал оторопел. Шеф полиции выскочил на сцену и заорал:

– Запрещаю! Прекратить!

Эгути Кан взбежал на трибуну, поднял руки над головой и воскликнул:

– Да здравствует Японская социалистическая лига!

В ответ весь зал трижды дружно прокричал: "Банзай"!

Эгути Кан разделил участь Такацу: его стащили с трибуны и увели. По залу шныряли полицейские и хватали людей. Но кто-то уже разбрасывал листовки, а группа смельчаков развернула красное знамя, на котором белели иероглифы: "Революция!"

Ерошенко арестовали у входа в зал. Вначале отправили в

районный участок на улице Нисики, а оттуда, как серьезного преступника, в главное полицейское управление. Там собрали уже человек двести арестованных. Они пели революционные песни, танцевали и кричали "Банзай!"

Ерошенко пытался отыскать хоть кого-нибудь из знакомых. Неожиданно к нему обратился какой-то человек:

– Помните меня – я Эгути Кан?

– Да, да, помню.

Русский протянул японцу свою большую руку и продолжал прислушиваться к разговорам. За его спиной анархисты спорили об Октябрьской революции. Один из них живописал "ужасы" диктатуры пролетариата и бранил русских революционеров. Услышав это, Ерошенко изменился в лице и воскликнул:

– Неправда, наш Ленин – не честолюбец. Он великий революционер и замечательный человек. Благодаря .Ленину и большевикам Россия преодолеет все трудности на своем пути.

– Совершенно верно, – сказал Эгути Кан и пожал ему руку. У Ерошенко поднялось настроение.

Много лет спустя, вспоминая этот эпизод, Эгути Кан писал, что Ерошенко "глубоко любил Россию, с уважением относился к В. И. Ленину, великому революционеру. Ерошенко очень гордился русскими… Мне кажется, он был счастлив, что у него такая родина, такой великий герой, как Ленин, такой народ".

…Эгути Кана выпустили через день. Ерошенко же провел в тюрьме двое суток. По допросу, который ему там учинили, он понял, что против него что-то замышляют. Но догадаться, что именно, Ерошенко тогда еще не мог.

(13) В 20-х годах в Китае вышло два сборника Ерошенко – "Уходящие призраки" и "Статьи о международном языке".

(14) Эгути Киёси (Кан) (1887 – 1975) – известный писатель-коммунист, автор переведенного на русский язык романа "Любовь и тюрьма". В автобиографии "Полвека моей литературной работы" Киёси вспоминает о В. Ерошенко.

Арест

28 апреля 1921 года японские власти отдали распоряжение о высылке Ерошенко из страны. Когда он возвращался домой, у ворот "Накамурая" его встретили двое кэйдзи и предложили следовать в полицию. Ерошенко отказался. А госпоже Сома сказал:

– Почему я должен идти с ними? Однако кэйдзи продолжали дежурить у ворот, и он прибавил:

– Прошу вас, госпожа, передайте этим людям, что я никуда не пойду.

Отец Сома вышел к дежурившим полицейским узнать, в чем дело. Они сказали ему, что отдан приказ министра о высылке Ерошенко из страны. Русскому следует сегодня же явиться в полицию, иначе его арестуют.

Ерошенко понимал: власти боялись огласки и решили действовать побыстрее. Опасаясь расправы, Ерошенко отказался идти с кэйдзи, заявив, что посоветуется с друзьями, в частности с известным политическим деятелем Цумасадо Нагатака.

В четыре часа в дом госпожи Сома пришел корреспондент газеты "Иомиури симбун" Эгути Кан. Вслед за ним собрались и репортеры других газет. Все они уже знали о приказе министра и ждали, как развернутся события. Но полицейские на этот раз не решились войти в дом и арестовать Ерошенко. Часов в десять вечера они ушли, пообещав назавтра вернуться. Вскоре разошлись и репортеры.

Был поздний вечер. Окончился рабочий день на соседнем заводе. Закрылись магазины. Обезлюдела обычно шумная улица Синдзюку. Вот и последний трамвай прозвенел вдали. Но Ерошенко не ложился спать: он чувствовал себя, словно путник у костра, которого подкарауливают невидимые в темноте шакалы, расположившиеся поодаль. Стоит только огню погаснуть – и тогда…

– Мне не хотелось бы сегодня быть одному, – сказал он госпоже Сома. – Можно я останусь с вами?

Госпожа Сома молча взяла его за руки. Они долго сидели рядом и разговаривали шепотом.

И вот в полночь с шумом и треском распахнулись ворота. Казалось, целый отряд полиции ворвался в дом. Прозвучала команда. Из тьмы появились решительные лица кэйдзи. Отец Сома вышел и стал в дверях:

– Кто позволил вам врываться ночью в мой дом. У вас есть на это разрешение? Где оно?

– Разрешения не требуется. Мы действуем по приказанию начальства, – ответил полицейский, – и пришли арестовать господина Ерошенко.

Кэйдзи разошлись по комнатам большого и запутанного, как лабиринт, дома. Грязными ботинками топтали они татами, поднимали детей, шумно, со скрипом раздвигали перегородки и, не находя Ерошенко, громко переговаривались:

– Здесь нет! И там тоже нет!

А один из полицейских топал ногами, оповещая:

– Идет полицейский в форме! Идет полицейский в форме!

Добравшись до комнатки на втором этаже и обнаружив там Ерошенко, полицейский рывком поднял его с дивана и заорал:

– Сам пойдешь или потащим?

– Сообщите свою фамилию, я подам на вас в суд (15), – сказала госпожа Сома. Полицейский даже не удостоил ее ответом.

В это время подоспел второй, кэйдзи, и, заломив Ерошенко руки за спину, они вывели его из комнаты. И тут слепой бросился вниз по лестнице, увлекая за собой и полицейских. Схватка продолжалась на первом этаже. Наконец Ерошенко вытащили за ворота.

Двое полицейских поволокли Ерошенко по брусчатой мостовой. Эгути Кан писал, что со слепым человеком обошлись хуже, чем с бродячей собакой: ведь даже собаку, которую собираются убить, швыряют сначала в тележку.

В полицейском участке слепого писателя избили. Кэйдзи раздирали ему веки, сомневаясь даже в том, что он слепой. "Пробудился ли стыд в их низких душах, когда они убедились, что он действительно слеп? Если бы они были людьми, то покончили бы с собой от стыда!" – с гневом и возмущением писал Эгути Кан в "Иомиури симбун" спустя несколько дней после этих событий.

Ерошенко бросили в холодную сырую камеру, полуодетого, без ботинок и носков. Шеф жандармов не позволил отпустить его домой за вещами. Тогда служащие магазина "Накамурая" принесли ему в тюрьму ботинки, плащ и трость. Одежду приняли, а вот еду взять отказались. "Мы кормим его так, чтобы он только не сдох", – ответили в полиции госпоже Сома.

Ерошенко пытался протестовать. Он заявил, что это произвол, его изгоняют из страны, лишив вещей и оставив без средств (16). На это начальник полицейского участка ответил:

– Человек вроде вас, господин Ерошенко, не может рассчитывать на иное отношение к себе властей Страны Восходящего Солнца.

Когда стала известна точная дата высылки Ерошенко, госпожа Сома еще раз попросила отпустить Ерошенко домой, чтобы он мог собрать и уложить вещи, но начальник резко ответил:

– Ничего, уложит вещи в полиции!

…Он сидел в углу камеры в изорванной толстовке, подпоясанной веревкой. Все его лицо было в синяках и кровоподтеках. Рядом лежали принесенные госпожой Сома вещи. Василий, ощупывая то одну, то другую вещь, говорил:

– Это отдайте Акита, это подарите Накамура, а вот это я возьму с собой в Россию.

Затем Ерошенко продиктовал госпоже Сома вступление к сборнику своих сочинений. В нем говорилось:

"Некоторые из моих читателей говорят, что мои сказки слишком серьезны для детей и несерьезны для взрослых. Кое-кто упрекает меня в том, что я, мол, использую искусство в целях саморекламы. Но я никогда не думал об известности, славе. Писать для меня так же естественно, как дышать. Жить для меня – главное искусство, ведь сама жизнь есть драма, и каждый человек исполняет свою роль на ее великой сцене.

Итак, главное – это жизнь. Все же остальное: речи, стихи, сказки – кажется мне лишь украшением жизни.

А теперь я хочу рассказать о том, что и как я писал. Работая над "Тесной клеткой", я обливался кровавыми слезами. Я плакал и смеялся, когда писал "Смерть Кенаря", ..Расточительность морского дракона". "На берегу", "Самоотверженную смерть безбожника", "Голову ученого". В "Кораблике счастья" и в "Сосенке" я рассказал о своей страдальческой жизни и о человеке, которого любил. "Горе рыбки" и "Сердце Орла" написаны о страданиях художника.

Я с улыбкой писал "Сон в весеннюю ночь", "Грушевое дерево", "Божество Кибоси". Когда я говорю об улыбке, то нужно помнить, что она у меня получалась вымученной: в этом повинна обстановка в Японии.

Работая над сказками "Цветок Справедливости", "Во имя человечества" и "Две смерти", я макал кисточку не в тушь, а в свою кровь.

Друзья отмечали, что мой смех, моя улыбка всегда были грустными, а критика пороков общества – несерьезной и недостаточно глубокой. Возможно, это и так, но мои страдания за человечество, за Японию, за моих японских друзей, которых я очень люблю, – все это, поверьте, у меня всерьез. Я еще не знаю, куда я поеду из этой страны. Но где бы я ни был, моя любовь к людям, мое сострадание оскорбленным и униженным – все это навсегда останется в моем сердце".

Госпожа Сома опускала кисть в тушечницу и с грустью думала о том, что она по-настоящему так и не поняла своего Эросана, для нее он был всего лишь милым наивным ребенком. Только теперь она поняла, какой это мужественный человек. А Ерошенко продолжал:

– Я хочу завещать все авторские права на мои книги ей. Вы, конечно, догадываетесь, о ком я говорю. Ерошенко не хотел, чтобы имя Итико прозвучало в этих ненавистных стенах.

Сома составила завещание. Василий подписал. – Эро-сан, – сказала она, взглянув на его ноги. – Как вы поедете в Россию в таких изодранных ботинках? Разрешите, я завтра принесу вам сапоги.

Ерошенко покачал головой, словно сомневаясь, а будет ли оно вообще это завтра.

– Свидание окончено! Свидание окончено! – голос полицейского звучал, как испорченная, застрявшая на одной фразе пластинка.

Ерошенко прижал к лицу руку госпожи Сома, затем опустился перед ней в традиционном поклоне. Ему показалось, что он видит, как низко кланяется в ответ госпожа Сома.

Ей все же удалось упросить сапожника сшить для Ерошенко за одну ночь большие, наверно, 45 размера, сапоги. Но когда на следующее утро она передавала их дежурному, из ворот выехал закрытый автомобиль, в котором перевозили обычно арестантов. "Он, он, – забилось тревожно ее сердце. – Не может быть, – тотчас успокоила она себя, – иначе зачем они согласились взять сапоги?"

Но предчувствие не обмануло госпожу Сома. Ерошенко увозили. Нежаркое утреннее солнце светило в спину, и узник понял, что его отправляют на запад, в порт Цуруга – откуда обычно уходили суда во Владивосток. "Значит, высылают в Россию", – решил он.

Такая мысль может показаться странной – разве можно выслать на родину? Но во Владивостоке хозяйничали японцы и бесчинствовали белые банды, а его Обуховка оставалась где-то за тридевять земель, в кольце фронтов. Более того, из Японии попасть в Советскую Россию можно было гораздо быстрее, чем из Владивостока. Кончилась мировая война, и первые пассажирские пароходы начали курсировать в Европу. Сколько раз Ерошенко представлял себе, как он взойдет однажды на палубу и сотни разноцветных лент протянутся от него к друзьям на берегу. Он уедет домой, в Советскую Россию. А сейчас его везли к белым, во Владивосток.

До последней минуты Ерошенко верил, что друзья не оставят его в беде и добьются, чтобы его не высылали из Японии. Но они уже ничем не могли ему помочь. Правда, им удалось все же добиться приема у самого министра внутренних дел. Профессора Накамура и Куроита, писатели Арисима, Акита и Эгути, журналисты Фусе, Сино и Сома Кокко – все эти люди были настолько авторитетны, что министр, видимо, не мог их не принять. И вот они в его кабинете.

– Господин министр, в чем конкретно вы обвиняете Василия Ерошенко?

– Он оказывал дурное влияние на японцев.

– Но ведь он всего лишь поэт…

– Вот и плохо, что поэт.

– … и у него нет четких политических убеждений. Министр скептически улыбнулся: он читал и сатирические сказки и политические выступления этого русского.

– А речь в обществе "Гёминкай"? А участие в первомайской демонстрации? А членство в запрещенной ныне Социалистической лиге? И вообще, господа, мне стало известно, что вашего Ерошенко уже изгнали однажды – из британских владений. Но это не стало для него уроком, он и в Японии связался с подрывными элементами.

– Разрешите нам проводить господина Ерошенко. Прикажите полиции отпустить его ненадолго – хотя бы попрощаться.

– Извините, господа, здесь я не могу быть вам полезным.

Министр встал – аудиенция была окончена. А в это время пароход уже увозил Ерошенко из Японии в Россию, но не как пассажира, а, по выражению одного журналиста, "как простой багаж".

Уже потом, пытаясь оправдать произвол властей, правительственная пресса писала, что Ерошенко будто бы осуществлял связь между революционерами Японии России, передавая японским социалистам "крупные суммы от большевиков". Но друзья знали, что все это было ложью: в то время у него, увы, не было контактов с родиной. Что же касается денег, то писатель действительно делился с социалистами своими гонорарами.

Ни одно из обвинений, выдвинутых против Ерошенко, не выдерживает критики. Японская реакция знала, что творила.

К 1921 году Ерошенко сложился как писатель-сатирик, агитатор-социалист, убежденный противник эксплуататорского строя. И японские власти поступили с ним, как со своим заклятым врагом: выслали из страны "как большевика" (так и было написано в предписании полиции) под конвоем во Владивосток – на расправу к белогвардейцам.

Но японские власти не учли одного: высылка Ерошенко вызвала большой резонанс как в самой Японии, так и на всем революционном Востоке. Газеты захлестнула волна протеста. В защиту слепого сказочника выступил великий китайский писатель Лу Синь: "Англия и Япония – союзники, они нежны, как родные братья: кто не угоден в английских владениях, не придется, конечно, ко двору и в Японии. Но на этот раз все рекорды грубости и издевательства оказались побитыми", – писал Лу Синь и, вскрывая причины, почему "типично русская, широкая

натура" Ерошенко пришлась не по вкусу японским властям, добавлял: "Мне хотелось, чтобы был услышан страдальческий крик гонимого, чтобы у моих соотечественников пробудились ярость и гнев против тех, кто попирает человеческое достоинство".

Эгути Кан также связывал высылку слепого писателя с политической ситуацией в Японии. Он писал: "Эта высылка, произведенная по распоряжению японских властей, была тяжким оскорблением и унижением для Ерошенко… Мне очень больно думать об этом. На мои глаза невольно навертываются слезы. И вместе с тем сердце наполняется гневом против тех, кто так оскорбил его. Как бы они ни изворачивались, ясно, что эта высылка была осуществлена лишь путем грубого насилия…

Высылка Ерошенко, так же как и разгон Социалистической лиги… наполнили сердца японской молодежи глубокой ненавистью к деспотизму, и эта ненависть взрыхлит почву для грядущих социальных перемен…

…Где-то далеко, по ту сторону Японского моря, скитается сейчас слепой поэт, не переставший мечтать об утопической свободной земле.

Где-то скитается в своих изорванных ботинках этот несчастный, на чьем теле еще не зажили синяки от сапог японских полицейских, еще не утихла острая, пронизывающая боль.

И когда я думаю об этом, мои глаза вновь наполняются слезами, а в сердце вспыхивает пламя гнева".

(15) Полиция, напуганная общественным резонансом, который приобрел арест Ерошенко. пыталась замять это дело. Госпожа Сома при поддержке Эгути Кана возбудила против администрации участка района Едобаси судебное дело. Свидетелями на процессе выступили рикши, видевшие, как был схвачен Ерошенко.

(16) Акита Удзяку пытался передать Ерошенко аванс за подготовленные им к публикации книги "Песнь предутренней зари" и "Последний стон" (они вышли из печати под редакцией Акита после высылки Ерошенко). Однако полиция отказалась принять деньги. Тогда почитатели поэта собрали большую по тем временам сумму в 500 иен и потребовали передать ее Ерошенко. На этот раз полиции пришлось уступить.

Глава V. ПРИМОРЬЕ

Вторая высылка

Василий Ерошенко стоял на палубе корабля "Ходзан-мару" и вслушивался в звуки на берегу. Он тяжело переживал свой арест и высылку из Японии.

"Четвертое июня 1921 года, – последний день, проведенный мной на японской земле, – писал Ерошенко. – О, как я молился о том, чтобы этот злосчастный день стал для меня последним…

Власти отдали распоряжение выслать меня из Японии, я был схвачен полицейскими и под конвоем препровожден на пароход "Ходзан-мару", уходивший во Владивосток.

Только двое – корреспондент "Асахи симбун" и преподаватель коммерческой школы (переводивший с русского в полиции порта Цуруга) – пришли проститься со мной. Они все время были рядом, сочувствовали мне, а когда я заговаривал о случившемся, с тревогой останавливали меня: "Осторожнее! Полицейский услышит". Я умолкал. Но они, наверно, и без слов понимали мое безграничное отчаяние. Корреспондент "Асахи симбун" и преподаватель позаботились о моих вещах и проводили меня в помещение третьего класса. Но там было нечем дышать, и мы в сопровождении полицейского, не спускавшего с нас глаз, снова поднялись на палубу. Я все еще ждал своих друзей, надеялся, что хоть кто-нибудь приедет проститься. Но все мои ожидания были тщетны – никто не появился…

Но вот уже отдана команда: "Провожающим покинуть судно!" Журналист и преподаватель в последний раз крепко пожали мне руку, и это пожатие было для меня словно прощальный привет от друзей, с которыми мне так и не довелось увидеться… Резко прозвучал третий свисток. Еще немного – и "Ходзан-мару" выйдет в широкие морские просторы, навстречу свободе. Но меня не радовала эта свобода. Стоя у поручней, я до последней минуты все ждал, что кто-нибудь приедет со мной проститься. Но напрасно… Никто так и не приехал. Быть может, они не смогли, а, быть может, решили, что не стоит… Я с трудом сдерживал слезы.

Когда-то Япония казалась мне чужой и далекой. Но после стольких лет, проведенных там, она стала мне почти такой же близкой, как Россия. И вот сегодня меня выслали из этой страны…

Нет, я не плакал, только в горле застрял сухой комок. Голова слегка кружилась.

Полицейский, сопровождавший меня до Владивостока, помог мне добраться до моего места в третьем классе. Я чувствовал такую страшную опустошенность, словно там, в этой туманной, постепенно скрывающейся вдали Японии, оставалась моя душа. Совершенно измученный, я улегся в постель, хотя было часов пять вечера. Я даже не знаю, уснул ли я тогда или потерял сознание. Помню только, что в этом забытьи мной владело лишь одно единственное желание – никогда больше не проснуться…" (1).

Сон вернул Ерошенко в прошлое, туда, где ему хотелось бы быть сейчас больше всего – в маленький дом у дороги, недалеко от женской школы Аояма, где жила Камитика Итико. Он был у нее недавно – всего за три дня до ареста. Она лежала в постели: не успела еще поправиться после родов. Камитика показала ему дочь. Ерошенко провел пальцами по головке новорожденной, а девочка схватила его за палец.

– Вот видишь, – сказал он весело, – малышка сразу догадалась, что я тебя люблю. Как ты назвала девочку?

– У нее еще нет имени.

– Прошу, назови ее Ниной, – сказал он и звонко рассмеялся. Этим, милым его сердцу именем, называл он и свою Камитика.

Тут Ерошенко почувствовал, что кто-то схватил его я трясет за плечи.

Полиция? Неужели они пришли и сюда, в дом Камитика? Василий проснулся и вспомнил, что арестован и лежит в помещении третьего класса "Ходзан-мару". А за плечи его тряс какой-то незнакомый человек.

– Странный ты какой-то: то смеешься во сне, а то плачешь, разговариваешь, спать не даешь.

– А ты кто будешь?

– Чижинский моя фамилия. Рабочий я. Возвращаюсь из Америки домой, в Россию.

Они познакомились.

Окончательно проснувшись, Ерошенко услышал голоса людей. Они говорили о нем. "Наверное, агитировал рабочих устраивать забастовки… А, может быть, готовил большевистскую революцию?" – долетали до Ерошенко отдельные фразы. Он поднялся, сел на койке. Все, словно только того и ждали, заговорили в один голос:

– Скажи, что за дела творил ты в Японии? За что тебя выслали?

– Да нет, – отвечал Ерошенко, – ничего особенного я не совершил. Те, кто меня выслал, просто сделали глупость.

Но пассажиры третьего класса не верили ему, считая, что он просто скромничает. Что ему оставалось делать? Смущаясь, Ерошенко стал рассказывать о своей жизни в Японии.

…Некоторым из рабочих, возвращавшимся из Америки на "Ходзан-мару", пришлось по нескольку раз сидеть в американских тюрьмах, а один даже отбыл пять лет на каторге.

Сдружившись с рабочими за время пути от Цуруга до Владивостока, Ерошенко часто доставал свою гитару и пел им революционные песни. "Старики Катковы, – писал В. Ерошенко, – полюбили меня словно родного сына, а с молодым рабочим Чижинским мы стали как братья. Другие же относились ко мне с таким искренним уважением, что я порой чувствовал себя неловко".

(1) Этот очерк был написан в Харбине в сентябре 1921 г. Любопытен подзаголовок, данный редакцией журнала "Кайдзо": "Под красным флагом. Путевые заметки в изгнании". И хотя во время пребывания Ерошенко в Приморье там развевались трехцветные флаги белогвардейцев, подзаголовок как бы говорил о социалистических устремлениях автора очерка и о его желании скорее оказаться в Советской России.

В бухте Золотой Рог

Шестого июня 1921 года в восемь часов утра Ерошенко разбудили голоса:

– Владивосток! Владивосток!

Все высыпали на палубу. Одни были возбуждены, другие встревожены.

Рабочие, сгрудившись в уголке на нижней палубе, смотрели на Владивосток – город, ставший после переворота 26 мая 1921 года центром контрреволюции на Дальнем Востоке.

Ерошенко писал о своем прибытии в Россию:

"Я тоже вышел на палубу. Рабочие молчали. Однако это молчание яснее слов выдавало их тревогу. Чижинский сжал мою руку. Его рука была как лед.

– Тебе холодно?

– Нет, не холодно… Только… На улицах Владивостока не видно теперь красных флагов…

– Да, сейчас во Владивостоке нет красных флагов, – сказал я наконец. – Но вы должны водрузить их здесь своими руками!

– Мы вернем красные флаги, во что бы то ни стало!..

Чижинский был взволнован, но его руки по-прежнему оставались холодны как лед…

– Друзья, – сказал я, видя, что рабочие совсем приуныли, – как вам не стыдно! Нам грозит беда, давайте подумаем, что делать дальше.

Старушка Каткова взглянула на меня:

– Постой-ка, а что это у тебя дрожат губы и глаза полны слез?

– Это оттого, что во Владивостоке не видно крас-ных флагов!

Чижинский, услышав мой ответ, воскликнул:

– Эге, да ты, наверное, все еще грустишь об этой проклятой Японии?

Я лишь усмехнулся и ничего не ответил. Мне не хотелось говорить им, что чем дальше оставалась эта ,,проклятая Япония", тем дороже она мне становилась…

На палубе первого класса русские офицеры, захлебываясь от восторга, говорили:

– Смотрите, Владивосток такой же, как прежде. Наконец-то вместо этих красных тряпок над ним родные наши трехцветные флаги! Это чудесно! Какой-то младший офицер начал речь:

– Господа! Это первый шаг на пути к освобождению России, это начало истинной свободы! Молодые офицеры хором подхватили: "Да здравствует свобода!" Мы молчали. Офицер продолжал:

– Господа! Во Владивосток прибыл наш родной отец, атаман Семенов. Русский трехцветный флаг и флаг Японии будут господствовать во всем мире. Помолимся же о том, чтобы успешно идти вперед рука об руку с братьями-японцами!

Сняв фуражку, он перекрестился. Другие офицеры проделали то же самое, и офицер продолжал:

– Будем молиться, господа, об успешном продвижении к Москве и Петрограду плечом к плечу с дорогими братьями-японцами!

Рабочие по-прежнему стояли понурив головы, не произнося ни слова.

– Нам сейчас тяжело, – проговорил Чижинский. – Мы ведь бросили все и уехали из Америки, чтоб скорее попасть в рабочую Россию.

Он не мог больше сдерживать слезы и расплакался, как ребенок. У меня тоже было, как никогда, тяжело на душе.

– Не стоит плакать, друг мой. Сейчас во Владивостоке нет красных флагов, но еще хватит для них полотна, и вы сами поднимете эти флаги… Ты слышишь, к чему призывает этот офицер? "Пусть флаг генерала Семенова и японский флаг господствуют во всем мире!" Когда-то распяли Христа,

проповедовавшего новое учение. Такие, как генерал Семенов, хотели бы вот так же распять и Россию, несущую свет нового учения всему миру. Однако новая Россия не похожа на поруганного, страдающего, распятого Христа! Все это в прошлом. Сейчас она подобна воскресшему Христу, который обрел новые силы в своих страданиях. Лишь фарисеи могут не видеть этого. Они хотят, чтоб флаги генерала Семенова господствовали во всем мире. Но этого не будет. Новая Россия оставит эти флаги на их могилах, как суровое предостережение всем своим врагам. А вы должны сделать все, чтобы навсегда вернуть народу красные флаги.

– Не беспокойся, мы приложим все силы для этого, – ответил Чижинский, словно утешая меня…

К борту "Ходзан-мару" подошел катер. На пароход поднялись служащие нового владивостокского правительства… Бой объявил: "Всем собраться в салоне первого класса, имея при себе документы!" Все стали подниматься наверх. Чижинский сжал мою руку:

– Пусть они только посмеют что-нибудь тебе сделать! Мы тут же пожалуемся Советскому правительству!..

– Не беспокойся, все будет хорошо, – ответил я и тоже поднялся в салон. Кто-то усадил меня в кресло, оказавшееся неподалеку от служащего, проверявшего документы. Он проверил вначале паспорта пассажиров первого и второго классов и собирался заняться нами. В этот момент к нему подошел японский чиновник и стал по-русски рассказывать обо мне. Русский служащий, с изумлением глядя на меня, что-то произнес в ответ, но он говорил так тихо, что я уловил лишь обрывки фраз: "Ерошенко! Вот как… Хорошо… Мы посмотрим… Не беспокойтесь, из наших рук он не уйдет!" Затем он обратился ко мне:

– Каковы причины вашей высылки из Японии?

– Об этом вам следовало бы спросить японскую полицию!

– Вы не волнуйтесь, – продолжал чиновник, – мы не японцы. Надеюсь, у нас вам никто не причинит зла!".

Ерошенко почувствовал, что таможенник хочет как-то помочь ему, слепому. Быть может, подумал он, этот человек служил здесь еще при царе и теперь, вероятно, вынужден заниматься тем же и при белых, но в душе, как большинство русских, ненавидит оккупантов.

– Кажется, вы социалист? Надеюсь, однако, не большевик? Русский чиновник намекал Ерошенко, как надо отвечать здесь, в городе, занятом белогвардейцами. Но писатель и здесь не хотел скрывать своих убеждений. Он твердо сказал:

– Большевизм я пока только изучаю!

– Я кое-что узнал о вас, но пусть это вас не тревожит. Не волнуйтесь, наше правительство не собирается никого истязать. У нас, как и в каждой стране, слепым никто не станет причинять зла. Если пожелаете – вы можете в любой момент выехать в Советскую Россию. Если не захотите – оставайтесь во Владивостоке, сколько вам будет угодно, – любезно закончил он и пропустил Ерошенко в город.

Город трехцветных флагов

Странное, двойственное чувство испытывал Ерошенко, вступив на русскую землю. Впервые за много лет он дышал воздухом родины, всюду слышал русскую речь, наслаждался свежим ветром и солнцем. Владивостокские эсперантисты приняли его радушно. Председатель эсперанто-общества Вонаго, знакомый Ерошенко еще по Японии, поселил его в своем доме и советовал не уезжать, переждать смутное время.

Однако, как следует из "Записок" Ерошенко, ему во Владивостоке не понравилось. Здесь была Россия, но ему нужна была Россия советская. Ерошенко писал:

"Владивосток был городом трехцветных флагов. Аристократия и духовенство, буржуазия и интеллигенция, полные ненависти к новой России, – все слетелись теперь под трехцветный флаг. Генерал Семенов, отброшенный с Байкала, Каппель, заливший кровью Сибирь, готовились здесь к последнему бою. Армиям Семенова и Каппеля отступать было уже не-куда, и они собирались драться за этот город не на жизнь, а на смерть.

Три цвета господствовали во Владивостоке повсюду: трехцветные флаги на крышах и в окнах домов, трехцветные эмблемы в петлицах и на шляпах прохожих".

Слепой писатель четко различал главный цвет революции – красный, хотя ему это было не просто: ведь он все же был лишен зрения и воспринимал мир на ощупь и на слух. По городу распространялись самые невероятные слухи. Кое-кто рассказывал о "зверствах большевиков и ужасах Совдепии" – Советской России. А газеты взахлеб писали, что белые наступают, красные повсюду разбиты и бегут. Пал Хабаровск и вскоре сдастся Чита, армия Семенова готовит поход на .Москву. Японская газета "Урадзиво нити" самым серьезным образом сообщала, что советское

правительство расстреляно, а Ленин убит…

Быть может, в некоторые из этих россказней поверил слепой писатель? Нет! В "Записках" Ерошенко мы читаем: "Японские журналисты, выдумывавшие весь этот вздор," считали подобное занятие своим священным долгом… Но мне кажется, что глупцов, писавших такие статейки, было гораздо больше, чем тех, которые верили им.

Я стремился как можно скорее уехать из этого города трехцветных флагов в европейскую часть России".

Целые дни Ерошенко проводил на базаре, закупал продукты, готовился в дорогу. Он не только делал покупки, но и старался из разговоров уяснить истинное положение дел в России, то, о чем не писали газеты. На базар приходило много военных, и для Ерошенко они не были безликой массой. Он без труда определял их профессиональную принадлежность по речи, выяснил из разговоров, что у их руководителей были разные цели: генерал Каппель мечтал восстановить в стране монархию, а атаман Семенов не прочь был сам стать царьком под крылышком у японцев. Ерошенко с презрением смотрел на возню временщиков, он верил, что власть в этих краях непременно перейдет в руки народа. Действительно, год спустя, после побед под Волочаевкой и Спасском, Красная Армия освободила Владивосток.

И вот наступил день, когда Ерошенко решил отправиться в дорогу. Нашлась у него и попутчица – жившая в доме Вонаго девушка Тося: ее родная деревня Поваровка находилась на Уссури, по пути из Владивостока в Советскую Россию.

О своих планах и настроениях Ерошенко написал в день отъезда (11 июня 1921 года) своему другу Акита Удзяку:

"Дорогой господин Акита!

Сегодня я покидаю Владивосток и через Хабаровск направляюсь в Читу и Иркутск, а оттуда – в рабоче-крестьянскую Россию… Но путешествие в Читу, наверно, будет очень трудным. Во всяком случае, я долго готовился… Покупал нитки, иголки, чай, сахар, колбасу, верхнюю одежду, различные продукты и прочее. Никто не верит, что я один смогу совершить это путешествие в глубь России.

Мои приготовления к путешествию уже закончены. Можно подумать, что я собираюсь на северный полюс или в Африку. Но я ничего не боюсь, я спокоен. Если людям понадобится меня убить, оборвать мое жалкое существование, то я без страха, легко доставлю им это удовольствие.

Политическая обстановка во Владивостоке изменчива, как и погода в это время. Пресловутый атаман Семенов тоже здесь, выжидает случая.

Ну, до свидания! Передайте привет моим знакомым. Постараюсь по возможности писать Вам во время своего путешествия. Пишите на адрес господина Вонаго во Владивосток. До свидания. Ерошенко".

Случай в поезде

"Одиннадцатого июня около полудня, – писал Ерошенко в "Записках о высылке из Японии", – мы с Тосей покинули Владивосток. В нашем вагоне оказалось несколько солдат Каппеля, двое младших офицеров-семеновцев, владивостокские интеллигенты и даже священник – известный проповедник из белых. Вначале, как это всегда бывает, все держались натянуто и говорили лишь о политике, потом постепенно познакомились поближе.

Офицеры-семеновцы, узнав, что я недавно приехал из Японии, тут же принялись расспрашивать меня, что думают японцы об армии генерала Семенова. Видно, они не столько сами жаждали услышать из моих уст нечто лестное для себя, сколько хотели, чтобы это слышали их попутчики. Разумеется, они были уверены, что я, столько лет прожив в Японии, должен быть горячим приверженцем генерала Семенова.

Однако я никогда не склонен был восхищаться военными и говорить им комплименты, а с этими мне и подавно не хотелось церемониться. Поэтому я сказал им напрямик:

– Видите ли, большинство японцев считает Семенова доверчивым дураком, которого Япония использует в своих интересах. А русские в Японии с негодованием называют атамана предателем, который и деньги, и свои знамена получил из рук иностранцев.

– Ну довольно! – дрожа от ярости, вскричали офицеры. Они были до того взбешены, что Тосе едва удалось их утихомирить. Владивостокцы посмеивались, священник тихонько бормотал молитву…

Священник ехал с проповедью в Никольск… Вообразив, вероятно, что перед ним его паства, он вдруг разразился проповедью:

– Вы, наверно, думаете, что коммунизм послан небом, и считаете Ленина новым пророком. Все это выдумки! Когда пало правительство Керенского и произошла Октябрьская революция, то многим Москва и Петроград казались величественной горой

Синайской, окутанной дымом, а Ленин – богом, возвещающим среди громов и молний новое учение. Но гора Синайская вскоре стала Голгофой, на которой распяли безгрешного Христа…

– Кого же это вы считаете распятым Христом, позвольте полюбопытствовать?

– Христос, распятый на Голгофе, – это русская церковь! Мы все должны благословлять атамана Семенова и наших дорогих братьев-японцев, которые призваны спасти невинного Христа!

Я хотел было что-то сказать, но мой сосед, опередив меня, с яростью накинулся на священника:

– Вы вместе с русской интеллигенцией просите иностранцев спасти Россию! О жалкие фарисеи! Меч Каина, готовый поразить Авеля, кажется вам оливковой ветвью в руке архангела Гавриила, а предательский поцелуй Иуды Искариотского вы готовы принять за братский поцелуй. Вы ослепли и оглохли, вы смотрите и не видите, вы слушаете и не слышите! О фарисеи, ведь вы денно и нощно молитесь: "О боже, милостивый, сжалься над нами, прости все наши прегрешения! Ведь мы во имя твое совершаем все эти преступления…""

В преддверии новой России

Поезд, в котором ехал Ерошенко, приближался к фронту. Миновали Никольск. Еще через два часа – конечная станция Евгеньевка. Дальше пути не было. Здесь проходили передовые позиции армии Каппеля. На западе за ними начиналась нейтральная полоса, где орудовали банды, нападавшие и на белых и на красных.

Доброжелатели советовали Ерошенко дальше не ехать. Но он узнал, что от Евгеньевки до станции Уссури перегоняют порожняк. И вот вместе с Тосей и двумя ребятишками-школьниками Ерошенко укрылся в вагоне за мешками со щебнем, служившими защитой на случай обстрела. Несколько часов опасного пути… и вот они уже на станции, занятой красными.

"Здесь, – вспоминал Ерошенко, – несла свои воды неугомонная Уссури, ставшая границей двух миров: старого, привычного, понятного всем, и нового, неведомого мира красных знамен, озаренного отблесками пожаров. Эти два мира соединял полуразрушенный мост через реку. Когда мы прибыли сюда, красноармейцы как раз собирались взорвать остатки этого моста и вели последние приготовления… Мне, конечно, хотелось уехать

отсюда раньше, чем начнутся бои, но на территорию, занятую красными…" (2).

Но поезда уже не шли. Обе стороны готовились к бою. Прошел слух, что армия Семенова подходит к Уссури.

На станции скопилось много народу, все просили разрешения проехать через реку, но комиссар, усталый парень лет восемнадцати, ничего и слышать не хотел: у него был приказ взорвать мост и занять позиции по ту сторону реки. Что оставалось делать Ерошенко? Он решил погостить у Тоси в Поваровке и впервые за много лет очутился в русской деревне.

У Тосиных родителей был дом, вишневый сад и огород – совсем как дома, в Обуховке. В деревне жили переселенцы с Украины и звучала не только русская речь, но и милая сердцу Ерошенко "украинська мова".

Здесь он чувствовал себя, как дома. Ерошенко вспоминал: "Встав рано поутру, мы с Тосей поливали овощи и цветы, потом, когда становилось жарко, бежали к Уссури, со смехом бросались в воду и затевали веселую возню. Наконец, совсем устав, располагались с книжкой под деревом и читали в тени. А вечером мы все собирались у самовара, подолгу беседовали, пели песни".

Словно и не было ни революции, ни войны.

Но стоило заговорить о самом главном для крестьян – о земле, о воле, о сельском житье-бытье, – и сразу поднимались вопросы, которые волновали тогда всю Россию. Крестьяне в Сибири жили иначе, чем, к примеру, хлеборобы на Украине. Ведь на сибирских землях никогда не было помещиков. Поколения переселенцев вели здесь суровую борьбу с природой. Некоторые из них постепенно обзавелись хозяйством, пахотной землей, стали зажиточными мужиками и сами эксплуатировали беднейшее крестьянство. Они боялись большевиков, справедливо полагая, что те лишат их достатка, нажитого чужим трудом, и с ненавистью относились к власти Советов.

"Прежде мне уже приходилось слышать об этом, – писал Ерошенко, – но я никак не мог понять причин этой ненависти. Другое дело – капиталисты, которые лишились и привилегированного общественного положения и огромного состояния. Но ведь у крестьян не было ни того, ни другого, напротив, коммунизм принес бы им более обеспеченную жизнь, поэтому я считал, что эта ненависть порождена лишь невежеством.

Однако, познакомившись поближе с крестьянами из этой деревни, я понял, что лишиться заработанных денег, своего налаженного хозяйства они боятся не меньше, чем капиталист опасается потерять миллионы, нажитые за счет эксплуатации

рабочих".

Крестьянский вопрос всегда глубоко интересовал Ерошенко. Родители его были зажиточными крестьянами, хотя и не имели своей пахотной земли, занимаясь в селе торговлей. Конечно, он не раз задумывался над тем, как будет жить его семья после революции. Акита Удзяку, еще в 20-е годы ставший марксистом, как-то спросил Ерошенко, как он отнесется к потере его родителями собственности.

– Что ж, – ответил после долгой паузы Ерошенко, – это будет наша семейная беда. Но я никогда не буду таить злости против советской власти, потому что только она способна повести Россию к новой, счастливой жизни.

…Крестьяне полюбили Ерошенко и в один голос уговаривали его переждать смутное время в деревне. У Тосиных родителей была пасека, где он мог бы пожить в тишине и покое, а священник из соседнего монастыря предлагал ему пристанище в келье. Пробыть здесь пару месяцев, рассуждал Ерошенко, пожалуй, и неплохо. А потом? Не привяжется ли он и к этой земле, и к людям, и к полюбившей его Тосе, он, прирожденный бродяга, скитающийся по земле, перекати-поле? И судьба словно оберегала его от оседлой жизни.

Уезжая из Владивостока, Василий дал Чижинскому адрес Тоси. И вот, о радость, рабочие, с которыми он познакомился на "Ходзан-мару", появились в Поваровке! Они многое пережили, все их вещи конфисковали в порту, потом их обманул какой-то проходимец, выдававший себя за представителя красных. Теперь они спешили в Советскую Россию.

"Рабочие очень обрадовались встрече со мной, – писал Ерошенко. – Они хотели, чтобы я непременно ехал с ними, и мои намерения провести это лето в деревне казались уже несбыточными".

Сесть в поезд, идущий на запад, рабочим не удалось. Посадить туда позволили только Ерошенко и стариков Катковых. Остальные наняли несколько подвод, положили на них пожитки, а сами отправились пешком. Вечером 23 июня 1921 года они встретились с Ерошенко в Имане. Но здесь произошло несчастье.

В Имане проходила временная граница Дальневосточной республики. Большим влиянием здесь помимо большевиков пользовались левые эсеры. И нужно же было, чтобы посты в Имане как раз занимал эсеровский отряд.

Ерошенко сказал, что добирался сюда из Токио, а рабочие – из Америки. Но комиссар-эсер не разрешил проезд. Разговаривать с Ерошенко он вообще не пожелал. Невидящими глазами смотрел слепой туда, где была его родина. Незаживающей раной остался

этой день в его сердце.

Один из фильмов Чарли Чаплина заканчивается так: герой добежал до границы, за которой его ожидает свобода. Но вдруг с двух сторон начинается перестрелка. И смешной маленький человек (впрочем, здесь он уже не кажется смешным) бежит вдоль границы, одна нога в родной стране, другая – в чужой; и он не знает, куда деться…

В подобном положении оказался и Василий Ерошенко… Тогда он решил отправиться в Китай. Пересек границу и по шпалам (поезда по КВЖД тогда не шли) пошел в Харбин.

В один из июльских дней Ерошенко, оборванный, без вещей, с одной лишь гитарой, постучался в стоявший на окраине Харбина дом своего японского друга Наканэ Хироси.

Василий был подавлен и разбит, несколько дней отлеживался, приходил в себя, а потом вдруг поделился с Наканэ грандиозным планом – решил через Гонконг поехать в Европу, в Прагу, где в августе того же 1921 года слепые эсперантисты собирались на свой первый всемирный конгресс.

Друг не возражал Ерошенко, лишь только грустно смотрел на него…

А потом Ерошенко заболел, он стал плохо слышать. Неужели его постигнет и глухота, с болью в сердце думал он (к счастью, эти опасения не оправдались). В таком состоянии он написал свое, быть может, самое грустное стихотворение "Отчаявшееся сердце", которое как бы подводило итог его скитаниям.

Я шел по планете, я брел по Востоку,
Мечтая о нежных и любящих братьях.
Но часто встречал я чудовищ жестоких,
Готовых душить меня в цепких объятьях.
Улыбку привета встречали оскалом,
В ладони мои они зубы вонзали.
Их лица темны и суровы, как скалы,
Сердца их – как ночь в этом крае печали.
Устал я и скоро в могильную землю
Уйду я на этом нерусском кладбище.
И все-таки сердцем истерзанным внемлю
Я брату родному, что сам меня ищет.

Голоса товарищей еще не дошли до Ерошенко, и он страдал. Но как только друзья узнали, что Ерошенко в Харбине, в дом Наканэ стали приходить письма. Акита Удзяку рассказывал о подготовке к печати книг Ерошенко, Арисима Такэо посылал деньги на поездку в Европу, а Камитика Итико и Накамура Цунэ

просили подождать в Харбине, пока они выхлопочут ему разрешение возвратиться в Японию.

Письма вернули Ерошенко силы. Он снова стал работать. Наканэ, желая приободрить своего гостя, договорился о его выступлении в украинском клубе. Ерошенко переработал и перевел на русский язык свою сказку "Страна Радуги", написанную в Японии, восстановил текст, уничтоженный цензурой (3).

Выступая в клубе, он читал свою сказку: "Хиноко была очень хорошая девочка. Она всегда слушалась мать и отца, никогда не обижала кошку Тама-тян (4) и была внимательна к своей кукле Куми-тян.

С раннего утра до поздней ночи отец и мать Хиноко работали, не пили сакэ и не курили, были бережливыми, зря не тратили ни копейки", но ее братья и сестры один за другим умирали от голода.

И вот Хиноко осталась одна, последний ребенок в семье. Но и она с каждым годом таяла, как свеча.

" – Видимо, и Хиноко родилась под несчастливой звездой. И имя у нее несчастливое. Быть может, нам переменить имя девочки? – часто с беспокойством говорила мать отцу.

– Все мы родились под несчастливой звездой. Все мы несчастливые. Но причина нашей несладкой жизни понятна! – отвечал с грустью отец.

При этих словах глаза его загорались гневом, и он грозно сжимал кулаки".

Однажды одна богатая женщина, увидев Хиноко, пришла в восторг. Она захотела удочерить девочку и предложила родителям отдать ей дочь. Мать и отец согласились, ведь дома Хиноко ожидала голодная смерть. Но девочка наотрез отказалась: "Если я не смогу больше жить с папой и мамой, то лучше умру". И тяжело заболела.

Как-то она спросила:

" – Папа, а есть такая страна, где нет бедных, где все дети едят досыта и живут в сухой теплой комнате и где вода не течет с потолка и ветер не дует в щели? Есть ли где-нибудь такая страна?

– Да… – наклонив голову и задумавшись, промолвил отец. – Такая страна есть. Это – Страна Радуги.

– А мы, папа, сможем поехать туда, в эту страну?..

– Попасть в эту страну нелегко: для этого нужно пройти по мосту из радуги… Но не обязательно всем туда идти. Когда ты станешь большой и будешь изо всех сил работать, и наша страна станет таким же краем счастья, как Страна Радуги".

После этого разговора три дня шел дождь и Хиноко страдала

без солнца, а цветы рядом с ее постелью опустили головки, словно догадываясь, что жить девочке остается недолго. Но вот показалось солнце, и через все небо перекинулся многоцветный мост радуги, причем один конец его подходил прямо к окну.

" – Неужели я могу сегодня попасть в Страну Радуги?! Да, нужно пойти сейчас, немедленно, вряд ли представится другой такой случай", – думала Хиноко.

Она встала с кровати, подошла к окну. Чудесный мост засветился еще ярче, переливаясь разноцветными красками. Нежные цветы манили девочку к себе, звали: "Добро пожаловать, Хиноко!"

Взобравшись на подоконник, Хиноко осторожно шагнула на радужный мост. Он не прогнулся. И Хиноко уже смелее сделала шаг, другой, третий и пошла, тихо считая: "Раз, два, три…"

… Вот и Страна Радуги. Хиноко оглянулась назад и крикнула в восторге:

– Мама, я здесь, в Стране Радуги!..

"Склонившись над кроватью, мать посмотрела на девочку. Ее лицо, навсегда застывшее… выражало радость, которую ничто уже не смогло стереть с него.

– Хиноко! Хиноко! Хиноко! – несколько раз позвала мать. Ответа не было. Слабый милый голос Хиноко не прозвучит уже в этом холодном мире.

– Она улыбается, – сказала мать. – Она попала, наверное, в Страну Радуги. Живи же счастливо и радостно!..

– Что случилось? – спросил отец, увидев поникшую фигуру жены…

– Это уже пятый, – оказала в отчаянии мать, указав на Хиноко. – Я дала жизнь детям не для того, чтобы они умирали с голоду. Это жестоко и безнравственно… Мы, рабочие, не имеем права рожать детей. Не думай, что я перестала тебя любить. Я люблю тебя, как и прежде, но все наши дети умерли от голода. С меня достаточно…

Маленькая белая роза у постели Хиноко источала нежный аромат, словно прощаясь со своей короткой жизнью".

""Страна Радуги", – писал товарищ Ерошенко Ф. И. Шоев, – это тихая сказка, песня о детях японских бедняков, чьи сердца увядают, как розы, срезанные с куста, для кого смерть иногда – высшее благо".

…Страна мечты сливается у Ерошенко с миром небытия. Но он желает утвердить Страну Радуги на земле и поэтому стремится в новую Россию. Либо возвратиться домой, на обновленную землю, либо умереть – не об этом ли желании узнаем мы из сказки Ерошенко?

(2) Приморье летом 1921 г. входило в состав Дальневосточной республики (ДВР), "буферного государства", созданного большевиками по указанию В. И. Ленина для того, чтобы предотвратить войну Советской России с Японией, войска которой высадились в Приморье и оккупировали его совместно с белогвардейцами. До осени 1921 г. между войсками ДВР и оккупантами поддерживалось перемирие. В ноябре белогвардейцы перешли в наступление против Народно-революционной армии, занимавшей позиции по р. Уссури.

(3) Цензура так "выполола" текст сказки, что Такасуги, готовя ее издание для трехтомника, вышедшего в 1959 г., дополнял его по китайскому переводу, вошедшему в сб. "Сказки Ерошенко" (под ред. Лу Синя).

(4) Тян – ласкательный суффикс.

Глава VI. КИТАЙ (1921 – 1923)

Полгода скитаний

Когда Ерошенко кончил читать в украинском клубе в Харбине "Страну Радуги", ему задали только один вопрос: собирается ли он в Советскую Россию.

– Да я готов туда всей душой, – простодушно ответил Василий. – Собственно для этого я и приехал в Харбин.

Зал в ответ неодобрительно промолчал. Здесь собрались в основном украинцы-самостийники, враги советской власти, выброшенные Красной Армией за пределы страны. Они тоже хотели вернуться "домой", но не в ту страну, о которой мечтал Ерошенко, а в царскую Россию, на гетмановскую Украину.

Василий ушел из клуба один. На душе у него было тяжело. В Харбине, среди соотечественников, он почувствовал себя более одиноким, чем, например, в Токио или Киото. Вокруг него подчас звучала русская и украинская речь, но для Ерошенко это был чужой город: по главной улице Харбина ходили, позвякивая наградами, царские генералы, тут и там слышались команды – казалось, город населяли одни военные. Советский писатель Сергей Третьяков, посетивший эти края в начале 20-х годов, метко назвал Харбин "Белогвардейском" (1).

Но и в этом белом Харбине был красный остров: на заводской окраине под защитой рабочих действовал Совет профсоюзов, выходила газета "Трибуна". К ее редактору, старому большевику Н. Н. Матвееву-Бодрому, Ерошенко пришел за помощью. Николай Николаевич знал уже обо всех злоключениях русского слепого писателя и приветливо его встретил:

– Очень рад, садитесь. Но почему вы пришли именно ко мне? – Матвеев-Бодрый лукаво подмигнул двум сопровождавшим Ерошенко японцам в студенческих куртках, словно вопрос этот относился и к ним.

– А к кому же еще? – простодушно улыбнулся Василий. – Вы, большевики, здесь сила.

– Вот то-то и оно, – подтвердил Николай Николаевич, обращаясь к японцам. – Есть вещи, которые видны даже слепому, а некоторые зрячие их видеть отказываются. А вам, дорогой Ерошенко, я всячески постараюсь помочь, хотя, увы, пока еще не все в наших силах. Вы ведь знаете, какое здесь положение?

Ерошенко знал. Между Японией и РСФСР находился "красный

буфер" – Дальневосточная республика. И хотя во главе ее стояли большевики, они по тактическим соображениям своих связей с Москвой не афишировали. Вот почему, выполняя просьбу Ерошенко, Матвеев-Бодрый обратился к руководителю Русско-Азиатского банка Остроумову: Восточно-Китайская железная дорога, которая вела из Китая в Советскую Россию, находилась в ведении этого банка.

Но "добродушнейший" Остроумов, который в зависимости от обстановки, расточал улыбки то белым, то красным, не спешил с выдачей разрешения на проезд Ерошенко. А тем временем военное положение ДВР ухудшилось – белогвардейцы перешли в наступление и вскоре захватили Хабаровск. Начали арестовывать рабочих.

В этих условиях человеку, которого изгнали из Японии "как большевика", опасно было оставаться в Харбине. И в октябре 1921 года, списавшись с редактором и переводчиком Ху Юй-чжи (2), Ерошенко уехал в Шанхай.

Целых две недели добирался Ерошенко до Шанхая. Это было тяжелое путешествие. Денег не хватало. Китайского языка он не знал. Вокруг него говорили и сновали какие-то люди, но на всем пути к нему никто даже не подошел. В Шанхае его никто не встретил (3). в отчаянии он сел на ступени Северного вокзала, не зная, куда идти дальше. Заметив это, полицейский довел слепого до сеттельмента – европейского квартала, где Ерошенко устроился на ночлег в дешевом пансионе. Через несколько дней здесь его нашли Каваками и еще один японец, врач, приютивший русского у себя. И хотя в первое время Ерошенко старался оставаться в тени, он сразу же оказался в центре событий.

В эти годы в Китае ширилось национально-освободительное движение, и приезд человека, изгнанного из Японии за революционные убеждения, вызвал горячий интерес. Ерошенко, по замечанию Каваками, стал символом антияпонских настроений в Шанхае. Газета тогда еще революционного гоминьдана "Миньго жибао" посвятила Ерошенко целый номер.

Знакомя китайскую общественность с Ерошенко, Ху Юй-чжи на страницах этой газеты писал: "Слепой поэт является нашим искренним другом, любящим нас, относящимся с большой симпатией к нашему народу. Как гуманист, он мечтает о свободном мире, плюет в лицо империалистической, милитаристской культуре, плачет над несправедливой судьбой униженного, презираемого народа, скорбит и негодует. Одни называют его мечтателем, другие анархистом, третьи боятся, считая "опасным человеком". Однако все они ошибаются: он гуманист и только гуманист".

Впервые после высылки из Японии Ерошенко снова оказался среди друзей. У него опять появилась служба – Ерошенко стал преподавать эсперанто в Институте языков мира. И, если судить по воспоминаниям Каваками, он снова воспрянул духом, шутил, смеялся… Но в душе скитальца словно что-то надломилось: высылка из Японии, которую он так любил, неудачные попытки попасть домой, на родину – все это, конечно, не прошло для Ерошенко бесследно.

Об этом времени он писал: "Была осень, становилось холодно. Это была первая осень, которую я должен был его провести в Шанхае. Воспоминания о весне в Японии, о дорогих друзьях, о благородных помыслах делали эту осень еще тоскливее, еще холоднее.

По счастью, я встретил здесь двух друзей, которых знал еще в Японии. Они приехали незадолго до меня и также испытывали одиночество. Почти всюду мы были вместе. Китай являлся для нас загадкой, решать которую у нас не было ни настроения, ни сил. Я думал о Европе, мои друзья мечтали об островах Южных морей или о Тибете; мы чувствовали, что наш корабль окончательно разбился, а мы выброшены на пустынный остров, именуемый "Шанхай". Мы не надеялись уже построить другой корабль и не смели думать о Китае как о .своей новой родине. Безнадежно смотрели мы на людское море, безучастно стояли на ревущем пустынном острове. Как часто, проходя огромным рынком, где тысячи людей продавали и покупали, обманывали и становились жертвами обмана, слушая рев тысячеголосой толпы, мы, с улыбкой на губах, с невыносимой болью в сердце, говорили: "Вот поистине непроходимый лес". Как часто, бродя по "Новому миру" (4), мы повторяли: "Почему люди ищут одиночества в горах? – Пусть они придут в 'Новый мир' – и они почувствуют себя более одинокими, чем где-нибудь в Гималаях".

Однажды мы бесцельно бродили по этому городу и вдруг остановились около могучего дерева: оно уже совсем оголилось, и лишь один увядший листок виднелся на нем – и вид этого одинокого листа на огромном дереве произвел на нас невыразимое впечатление; мы стояли молча, неподвижно, а в наших полных непрестанной боли сердцах звучали тысячи вопросов: "Разве каждый из нас не похож на этот листок? Разве мы не увядшие листья на огромном дереве жизни?" О, как мы ему сочувствовали, потому что сами нуждались в сочувствии. А он, казалось, говорил нам: "Я сделал все, чтобы продлить свою жизнь на этом дереве; чтоб сохранить жизнь, я не любил никого, кроме самого себя. Целью моей жизни было не упасть с ветки, и вот я теперь один, печальный и жалкий, и вяну от мысли, что не сделал

ничего полезного, никого не любил, думал только о самом себе…" Мы стояли недвижно, молчали. Листок упал мне на шляпу, я взял его с собой.

В холодные ночи, в осенние ночи, в бессонные, одинокие ночи, когда, спрятав лицо в подушку, я старался удержаться от рыданий, от жалобных вздохов о потерпевшем крушение корабле счастья, увядший листок возникал передо мной и начинал рассказывать свои истории, и, слушая его, я понемногу забывал о корабле счастья, который своими руками привел к гибели.

И теперь я уже не сожалею о своем корабле, не плачу о нем; и если бы дело обернулось так, что все прошлое оказалось бы только сном, если бы, проснувшись, я увидел, что корабль цел, руль в моих руках и я могу направить судно по своей воле, я не изменил бы направления ни на йоту, не повернул бы руля, я снова пошел бы морем, в котором уже погиб мой корабль".

(1) Белогвардейцы при поддержке японской военщины фактически оккупировали этот город.

(2) Ху Юй-чжи – китайский писатель, переводчик произведений русской и советской литературы. Был редактором сборника произведений Василия Ерошенко "Стон одинокой души" (Шанхай, 1923).

(3) Живший тогда в Шанхае японский эсперантист Каваками писал, что он был извещен о приезде Ерошенко, но встретить его не смог. "За Ерошенко, – отмечал Каваками, – всюду велась полицейская слежка, по его пятам шли детективы из японского консульства, ведь Ерошенко и в Китае считался опасной личностью".

(4) "Новый мир" ("Синь шицзе") – самое большое увеселительное заведение в Шанхае; в нем помещались театр, ресторан, залы для игр и т. п.

"Рассказы увядшего листка"

Вот что писал Василий Ерошенко в "Рассказах увядшего листка".

Была весна. Юные листочки старого дерева пели свой зеленый гимн солнцу, теплым вечерам, таинственной луне, загадочным звездам. Они трепетали от радости и любовного томления и просили старое дерево научить их любить.

В одну из тихих весенних ночей листочки увидели девочку. Обращаясь к дереву, она спросила его, правда ли, что все люди

обязательно умирают? Дерево молчало, а девочка рассказала, что когда у нее умерли отец, мать, то дядя и тетя, чтобы их похоронить, продали ее сестренку. А теперь, продолжала она, заболел брат, – он кашляет кровью. Неужели, спросила девочка, он тоже должен умереть? Дерево ничего не ответило, девочка попросила у него листиков на венок для брата.

Листочки зашумели, спрашивая, как им поступить. Дерево молчало. И только несколько листьев упали в руки маленькой девочки.

А вокруг все улыбалось: луна, и звезды, и причудливые облака, ловившие счастье в бескрайнем просторе.

… Весна миновала. Листья старого дерева стали желтеть от жарких поцелуев солнца. И однажды вечером, когда они собрались отдохнуть от жары, листья заметили под деревом юного рикшу. Он прижался щекой к стволу и с горечью проговорил:

" – О доброе дерево с желтой листвою! Долго ль я должен быть для них лошадью?.. Доколе, скажи мне, доколе я должен сносить удары седоков? Может, до тех пор, пока мне не выбьют все зубы, чтобы не мог я кусаться? Может, до тех пор, пока не утрачу я голос, чтобы не мог я облаять их прогресс, удивительную культуру белых людей. И если так, то время настало: уже выбиты зубы и не могу я кусаться, голос охрип от рыданий, от непролившихся слез, и не могу уже лаять на их прогресс знаменитый".

Рикша разжал кулак, и листья увидели у него на ладони несколько зубов, испачканных грязью и кровью. Но листики держались за свою ветку, и лишь один из них, жалея человека, опустился к нему на лоб. Но рикша уже не шевелился. А наутро полицейский врач засвидетельствовал разрыв сердца. Разве мог он знать, отчего оно разорвалось?

…Наступил другой такой же теплый тихий вечер. Мир погрузился в сон, и люди во сне охотились за счастьем с большим успехом, чем наяву. Дерево безмолвствовало. Пожелтевшие листья свисали в теплом густом воздухе. И в этой тиши раздался голос: "- О доброе дерево с желтой листвою, больше я к ним не пойду, не буду просить подаянья – жить больше я не хочу!

Листья посмотрели вниз и увидели девушку-горбунью, которая говорила, протягивая к ним руки:

" – Все я богу прощу – эти горбы и обезьянье лицо; я не брошу упрека в его святой лик за дни постоянного голода на узких улочках, холодные ночи без сна, вместе с собаками. Я не плюну с проклятием в его святые очи… Только дай позабыть мне последние эти два дня!..

Я сидела на углу улицы и думала об облаках на синем небе, и вдруг пришел он, этот юноша в красивой шляпе, в одежде заморской, в блестящих ботинках. Увидев его лицо, увидев его глаза, я обо всем позабыла. Что-то случилось со мной. Я забыла вытянуть руку, забыла попросить подаянье… Улыбаясь, он бросил мне серебряную монетку и исчез.

Что-то случилось со мной; от радости вся задрожала, песни запела душа облачку на небе синем.

Я взяла монетку и спрятала ее на груди: она была моим первым сокровищем, я скорее согласилась бы умереть с голоду, чем истратить это сокровище.

Вновь я просила у них, но теперь они словно знали, что у меня на груди серебряная монетка; они проходили мимо со злостью, они словно не хотели простить мне; завидовали…

Прошел еще один день. Я ничего не ела и уже виде-ла смерть, что пряталась в каждом уголке узких улочек. Еще крепче прижимала я слабеющими руками мое сокровище к пылающей груди.

Наконец, я решила испытать последнее средство. Я пошла на широкие улицы белых…

…Я сразу же узнала этот ужасный ад. Все казалось созданным из вражды и ненависти: дома, все презирающие, трамваи, куда-то спешащие, фонари, гордо стоящие, люди, быстро проходящие…

И вдруг я увидела прямо против себя, на другой стороне улицы, ужасный призрак. Там стояла маленькая девочка с двумя горбами: один – на груди, другой – на спине… Я видела много нищеты, моя жизнь прошла среди бедных калек, но никогда я не видела ничего более жалкого, чем этот призрак на широкой улице…

Мое сердце сжалось от сострадания с такой силой, что я застонала от боли.

Я взяла мою серебряную монетку… и бросила ее той девочке как милостыню, и тогда я все поняла…".

Это было зеркало, нищенка увидела себя! Люди стали смеяться над ней. Но здесь она вновь встретила юношу в заморском платье, того, кого любила больше жизни. И она бросилась к нему:

– О, помоги мне, помоги! Помоги мне убежать от себя самой!..

– Прочь, – закричал он, – урод, прочь, дьяволенок! Он ударил ее ботинком в грудь и этим ударом разбил ее сердце.

Горбунья обняла дерево и забылась вечным сном, а несколько листиков опустились на ее лоб, образовав на нем венок.

…Наступила осень. Листья на деревьях стали багряными.

Казалось, природа устала. И однажды под деревом присела очень усталая девушка с маленькими ножками, которые вовсе не годились для того, чтобы много ходить. Но по ее изорванной пыльной одежде было видно, что она прошла сотни миль.

Она тоже обратилась к старому дереву и рассказала себе. Родилась она далеко в горах и там полюбила красивого юношу, смелого и бесстрашного сына гор. И хотя она с ним давно была помолвлена, однажды он ушел в далекий город, а ее просил ожидать его дома, в горах.

Но годы шли, и девушка решила узнать, что с ним. Своими маленькими ножками она прошла долгий путь от своих гор до города на могучей Янцзы, потому что, как сказала она дереву, решила шагать по дороге жизни, а для этого нужно иметь не большие ноги, а большую душу.

И вот девушка увидела любимого… Но нет, это был не он – не сын гор, брат нерушимых скал и друг гордых орлов. Перед ней предстал юноша с изможденным лицом, с угасшим взором и печальной улыбкой. Все помыслы его занимали только деньги. Стремясь к богатству, он утратил все: и честь, и мужество, и душу. И она обратилась к багряным листикам и старому дереву, чтобы они помогли ей.

Но листья не хотели помочь девушке, ведь для этого им пришлось бы покинуть родимую ветку.

Они держались за нее из последних сил. И дерево молчало, в отчаянье заламывая ветки. Но вскоре не выдержало и оно и взмолилось:

– О ветер, свали меня, чтобы я ничего не видело! Однако это было очень старое дерево, и ветер его уважал. Тогда оно крикнуло дровосекам: – О срубите меня, срубите быстрее, чтоб ничего мне не видеть: ни желтых чертей, ни дьяволов белых, чтоб не могло я видеть ни рабский народ, ни еще более рабских. правителей!

Но дровосеки лишь преклонили перед деревом колени: они его тоже уважали.

"И дерево воскликнуло в отчаяньи:

– О, что же случилось с этим народом, что же случилось с этой страной? Дух ли великий народа умер?

Душа ли страны навсегда отлетела? Геройские сердце ужель не забьется в груди этих юных?..".

Но старому дереву никто не ответил. И с тех пор оно молчит?.

В последних его словах слышалась мольба, обращенная к народу:

– Ты проснешься ль, исполненный сил, иль, судеб повинуясь

закону, все, что мог, ты уже совершил?…

Этот некрасовский вопрос был особенно актуален в Китае 20-х годов – во времена революционного подъема и естественно, что он оказался главным вопросом "Рассказов увядшего листа".

Но Ерошенко не знал на него ответа: он не был марксистом, ему неясны были пути социального развития. Изгнанник, человек, оторванный от родины, он переживал личную трагедию. Наверно, отсюда и печаль, даже пессимизм, которые пронизывают "Рассказы увядшего листка".

Символом тоски, одиночества, ненужности стал в этих рассказах последний, уже увядший лист. По ассоциации вспоминаются лермонтовские стихи:

"Дубовый листок оторвался от ветки родимой и в степь укатился, жестокою бурей гонимый; засох и увял он от холода, зноя и горя…"

Не так ли сложилась и судьба самого слепого писателя – русского листка, отторгнутого восточной чинарой?

Однако последний, увядший лист Ерошенко совсем не похож на лермонтовский дубовый листок. Первый – домосед, безразличный к чужому горю и потому держащийся за родную ветку, второй – бродяга, путешественник, перекати-поле. А судьба их одинакова – оба засохли и увяли "от холода, зноя и горя".

И все же тоска Ерошенко не переходит в отчаяние. В этом убеждает и юмор "Страниц из моей школьной жизни" и просветленный лиризм "Рассказов увядшего листка", которые, по замечанию японского критика Хираока Нобуру, очаровательны, как воспоминания давно минувшего детства. Печаль слепого писателя не беспросветна: у него есть якорь, с которого нельзя сорваться, если сам не захочешь. Этот якорь – любовь к родине.

Россия спасла своего сына от отчаяния, она не только навеяла Ерошенко некоторые образы для его "Рассказов увядшего листка", но и сама появилась в них в образе Страны Мечты, где высится гора Свободы, восходит солнце Истины и луна Справедливости. Ерошенко писал, что путь в этот край лежал "на север, в ту таинственную страну снегов, в страну великого духа, скрытых сил, грозящих перевернуть мир…" Автор как бы призывал народы Востока воплотить в реальность свою Страну Мечты "силой молодых, отважных сердец", ибо "дух юных смелых сердец всемогущ, он – бог, что сотворил мир, творит и будет творить его".

Правда, Ерошенко предчувствовал, что путь к светлому будущему полуколониальных стран неимоверно труден и долог, потому что настоящее темно, как ночь, и до рассвета еще далеко. Но он звал "приближать утро", даже самая темная ночь должна же

когда-нибудь смениться рассветом! И вот в рассказе "Мировой пожар" Ерошенко писал: "Прислушайся, брат, что там за звуки? Ты слышишь? Это ведь… Не набат ли? Да, это набат! Пожар! Пожар! Скорее открой окна! Пошире распахни их! О, какое зарево в небе! Великий пожар разгорается! Но где горит? На западе, на севере? А здесь все еще тьма?.. Ты хочешь сказать, что пожар дойдет и до нас! Что станем мы тогда делать?"

Ответ напрашивался сам собой. Читатель угадывал пламя революции в отблеске пожаров, полыхавших на севере и западе от Китая.

В Пекин

Во вступительной статье к сборнику "Стон одинокой души", в который вошли "Рассказы увядшего листка", Ху Юй-чжи предсказывал, что "изящный талант слепого поэта и на Западе получит такое же широкое признание, каким он уже пользуется на Востоке". И действительно, этот небольшой по объему цикл рассказов положил начало долгой известности писателя Ерошенко. На протяжении десятилетий "Рассказы" печатались в японских и китайских журналах, выходили отдельными изданиями в сборниках Ерошенко на русском, японском, китайском языках и на эсперанто. В чем же причина популярности этого произведения на Востоке, и особенно в Китае?

Здесь, видимо, сказалось то, что Ерошенко был писателем-романтиком, а романтизм (так же, как и натурализм), по замечанию академика В. М. Алексеева, "уже давно отжившие свое в Европе, оказались на китайской почве чем-то чрезвычайно новым, внесшим в литературу снова жизнь и волнение, хотя уже на иной почве, в иной среде и на ином языке".

И все же популярность этого произведения была определена прежде всего его идейным содержанием. Китайский литературовед и переводчик Гэ Бао-цюань считал, что "Рассказы увядшего листка" проникнуты "безграничной симпатией к китайскому народу" – и в этом он видел их главное достоинство. Такасуги добавлял, что Ерошенко ярко "показал антиколониальный Китай под гнетом империализма". В те же годы, писал он, Китай посетило немало значительных японских литераторов, обладавших большим, чем Ерошенко, талантом, например Танидзаки Дзюнъитиро, Сато Харуо, Акутагава

Рюноскэ. Они тоже писали о Китае, но Ерошенко и увидел, и отобразил жизнь народа лучше и глубже их.

"Если никто не любит нас, – писал Ху Юй-чжи, – если никому на свете более не жаль нашего несчастного народа, что ж, будем считать, что автор "Стона одинокой души" – наш единственный верный друг". Китайский читатель почувствовал родственную душу в этом гонимом и униженном слепом русском человеке, который, сам страдая от тоски по родине, открыл свое сердце навстречу боли и страданиям простых китайцев.

К "Рассказам увядшего листка" примыкает по теме "Колыбельная" Ерошенко – очень русское по своему ритму стихотворение, напоминающее стихи М. Ю. Лермонтова. В нем автор пытается успокоить китайчонка, которому в ночной тьме чудится то ли японец с ружьем, то ли белый с палкой.

Милый мой, в года глухие
Свой закон и суд:
Если мы не бьем – другие
Нас с тобою бьют…

И предрекая мальчику беспросветную жизнь рикши в стране, где бесчинствуют иностранцы, грустно заключает:

Говорят, на свете волчий
Царствует закон -
Телом, духом правит молча
И жестоко он.
Над тобою вечной тенью
Будет он витать,
Ты оплачешь день рожденья
И родную мать.
Ты не первый в этом мире…
Видно, в черный час
Нас с тобой на свет родили,
Не спросив у нас.
Перевод с эсперанто К. Гусева

Ерошенко не знал ответов на мучившие его вопросы. Ему было так же тяжело, как и китайскому рикше – "человеку-лошади", и нищенке-горбунье или девочке с маленькими ножками – он ведь не понаслышке знал о своих героях. И здесь снова на помощь ему приходят друзья.

Оказавшись в Китае, Ерошенко сразу же попал в поле зрения великого китайского писателя Лу Синя. Русский изгнанник еще

только приехал в Харбин, а прогрессивный пекинский журнал "Синь циннянь" ("Новая молодежь") уже поместил на своих страницах его сказки "Тесная клетка" и "На берегу" в переводах Лу Синя. 22 октября 1921 года, когда Ерошенко был уже в Шанхае, вышло из печати литературное приложение к пекинской газете "Чэньбао", целиком посвященное русскому гостю: Ху Юй-чжи знакомил читателя с судьбой слепого писателя, а переведенная Лу Синем сказка "Сон в весеннюю ночь" – с его творчеством.

Что же привлекло внимание Лу Синя к судьбе русского скитальца? Словно отвечая на этот вопрос, Лу Синь писал в 1925 году: "Пока г-на Ерошенко не выдворили из Японии, я не знал ни его имени, ни фамилии. Произведения его я прочитал уже после того, как он был выслан. Из статьи г-на Кана в "Иомиури симбун" мне стали известны более подробно обстоятельства позорного изгнания слепого русского писателя из Японии. Тогда-то я и перевел его детские сказки и пьесу "Персиковое облако". Дело в том, что тогда я думал только об одном: мне хотелось, чтобы был услышан страдальческий крик гонимого, чтобы у моих соотечественников пробудилась ярость и гнев против тех, кто попирает человеческое достоинство, и, право, не больше. Я вовсе не собирался протягивать руку за редкостным заморским цветком и пересадить его в благоухающий искусствами цветник "Государства цветов"" (5).

"Я люблю этого наивного поэта Ерошенко", – писал Лу Синь еще за полгода до встречи со своим будущим русским другом. Узнав, что Ерошенко оказался в Шанхае, Лу Синь принял горячее участие в судьбе изгнанника. Из дневника китайского писателя следует, что в ноябре и декабре 1921 года он обменялся письмами с шанхайским товарищем Ерошенко Ху Юй-чжи и писателем Мао Дунем.

Видимо, Лу Синь беспокоился о слепом писателе: он понимал, что над головой Ерошенко снова собираются тучи. Ерошенко жил в Шанхае под надзором полиции. Ему снова грозила высылка. Только куда? Ведь из британских и японских владений его уже изгнали. Быть может, власти посадили бы его в тюрьму… И Лу Синь пригласил Ерошенко немедленно переехать в Пекин.

24 февраля 1922 года Ерошенко уже выходил из поезда на Пекинском вокзале. Его встречали младший брат Лу Синя Чжоу Цзо-жэнь (6) и друг китайского писателя Цянь Сюань-тун – оба профессора Пекинского университета, куда по их рекомендации был приглашен и Ерошенко.

– Добро пожаловать, дорогой Эро-сан! – приветствовал Ерошенко Чжоу Цзо-жэнь на эсперанто.

– Здравствуйте. Кто вы? – настороженно спросил писатель: всю дорогу он чувствовал, что за ним следят, и опасался случайных знакомств.

– Ваши друзья, Эро-сан. Ваши друзья, – успокоил его Чжоу Цзо-жэнь.

Он представил Цянь Сюань-туна, сказал, что здесь они по просьбе Лу Синя, который, к сожалению, не смог прийти.

– Мой брат и я приглашаем вас пожить у нас в доме, – сказал профессор Чжоу. Ерошенко широко улыбнулся: теперь он среди своих. Он понял, что друзья решили укрыть его от преследований.

– Как вам нравится у нас, в Китае? – спросил Цзоу Цзо-жэнь русского гостя, когда они вышли на привокзальную площадь. Ерошенко, боясь, что их могут услышать, сдержанно ответил:

– Мне здесь все нравится, но только не рикши: не могу привыкнуть, что один человек ездит на другом, как на скотине.

– Понятно, – рассмеялся Цянь Сюань-тун. – Но если не взять рикшу, нам придется идти пешком – в Пекине еще нет трамваев.

– А ведь рикш придумали не китайцы, – сказал Цжоу Цзо-жэнь. – Само это слово японского происхождения, по-китайски оно звучит "янчэ" – "Заморская коляска". А ввел в употребление двухколесную коляску с тянущим ее человеком один разбитый параличом европеец.

– Вот видите, – обрадовался Ерошенко, – а мы с вами здоровые люди. Поэтому предлагаю идти пешком. Я хотел бы познакомиться с Пекином.

Оба китайца нехотя двинулись в дорогу: путь предстоял неблизкий. К тому же дул обычный для этого времени года ветер с песком.

– А ведь вам как профессору университета будет положен персональный рикша, – сказал Цянь Сюань-тун. – Что же, вы откажетесь от него? Но тогда этот человек останется без хлеба, умрет с голоду его семья.

– Нет, почему же, – замялся Ерошенко, – мы будем ходить с ним рядом… разговаривать. Он будет учить меня говорить по-китайски.

– Наш друг просто не знает местных условий, заметил Чжоу Цзо-жэнь. – Когда в одном городе провели трамвай, то рикши легли на рельсы: трамвай лишал их работы, а для рикши это равносильно голодной смерти.

Так, беседуя, все трое дошли до тихого пустынного переулка Бадаовань, где стоял дом Лу Синя. Писатель купил его, продав дом в Шаосине, и поселил здесь всю семью: мать, жену, обоих братьев с их женами, свояченицами и детьми.

Приведя гостя, Чжоу Цзо-жэнь ознакомил его с будущим

жилищем. Лу Синь с матерью и женой жил в доме, окна которого выходили в сад. В строении поодаль обитали его братья и их семьи. Работал писатель во флигеле для гостей, неподалеку от которого поместили и Ерошенко, так что окна его комнаты были расположены как раз напротив кабинета Лу Синя.

– Я не знаю, как смогу объясняться с вашей семьей, – смущенно сказал Ерошенко, – ведь я совсем плохо разговариваю по-китайски.

– О, пусть это вас не беспокоит, – ответил Чжоу Цзо-жэнь. – Мы со старшим братом говорим на эсперанто. Впрочем, если вам угодно, можете разговаривать с нами и по-японски. И не только с нами. Моя жена Хато Нобуко – японка, так же как и ее сестра. Свободно болтают по-японски все пятеро ребятишек, мои и младшего брата. Кстати, разрешите познакомить вас со старшим братом. Он только что вернулся с работы.

Лу Синь протянул Ерошенко руку и приветливо сказал:

– Здравствуйте. Давно ждал вас и рад, что вижу, наконец, живым и здоровым.

– Спасибо… – В Лу Сине Ерошенко сразу же почувствовал друга. – Спасибо, что пригласили в дом человека вам еще совсем незнакомого.

Глядя на усталого от скитаний писателя, Лу Синь сказал:

– Дорогой Эро-сан, я читал ваши сказки и знаю кое-что о вашей судьбе. Наверно поэтому мне кажется, что мы с вами знакомы уже давно.

– И мне тоже, – радостно отозвался Ерошенко.

Лу Синь сделал все, чтобы жизнь гостя в его доме была интересной и приятной. Слепому помогал студент У Кэ-ган, который читал ему книги, составлял вместе с ним конспекты будущих лекций. Члены семьи Лу Си-ня, и прежде всего его старушка-мать, тоже отнеслись к Ерошенко с большим участием.

Особенно подружился Ерошенко с четырехлетним сыном Чжоу Цзо-жэня. Завидев гостя, мальчик кричал: "Эротинко!" – он не выговаривал трудную для китайца русскую фамилию. Дети вообще так и льнули к этому доброму человеку. Но даже жена Чжоу Цзо-жэня относилась к Ерошенко неплохо, хотя тот был гостем Лу Синя, которого она ненавидела и всячески изводила. Лу Синь по этому поводу грустно шутил: "Трачу энергию девяти волов и двух тигров, чтобы хоть немного переделать членов своей семьи".

Китайскому писателю было неуютно в собственном доме: братья не всегда его понимали. Ерошенко чувствовал это и всем сердцем тянулся к Лу Синю. Как раз в это время У Кэ-ган познакомил русского гостя с опубликованной незадолго до того

лусиневской "Подлинной историей А-кью", и Ерошенко показалось, что он начинает понимать душу китайского писателя. Но поговорить с Лу Синем ему все время не удавалось – тот был круглые сутки занят. Утром, сидя в плетеном кресле, он просматривал газеты и отвечал на письма, днем работал в министерстве, вечером преподавал в университете, ночью, надев халат, садился к столу писать.

Ночь для Лу Синя была заполнена радостью творчества, и как ни хотелось Ерошенко поговорить с ним, он, конечно же, не решался отвлечь писателя от его занятий. К тому же и сам он тоже работал ночами: писал при зеленой лампе, хотя ему, разумеется, свет был не нужен. Но лампу он всегда зажигал, словно приглашал Лу Синя зайти к нему на огонек. И вот однажды ночью Ерошенко услышал, как заскрипела дверь его комнаты. По походке он узнал Лу Синя.

(5) "Государство цветов" – образное название Китая.

(6) Лу Синь – псевдоним писателя. Настоящее имя – Чжоу Шу-жэнь. Чжоу Цзо-жэнь – литератор, переводчик с немецкого, японского и русского языков. В 20-е годы сотрудничал с Лу Синем. В 30-е годы запятнал себя работой на японских оккупантов.

Друг Лу Синя

– Добрый вечер! – Ерошенко услышал усталый, с хрипотцой голос – видимо, Лу Синь прочитал сегодня несколько лекций. Писатель тяжело опустился в кресло, закурил сигарету и сказал:

– Я давно хотел расспросить вас, дорогой Эро-сан, вашей жизни. Если это, конечно, удобно.

– И мне очень хотелось рассказать вам о себе, Лу Синь-сэнсэй.

Ерошенко начал свой рассказ с того, как он ослеп, затем перешел к учению в школе, работе в оркестре и путешествию в Англию.

Лу Синь внимательно слушал, тихо покашливая, и непрестанно курил. Особенно взволновал его рассказ об аресте и высылке Ерошенко из Японии. Когда гость рассказал, что в разговоре с таможенником не стал отрицать своего интереса к большевизму, Лу Синь спросил:

– Почему же вы так ответили, ведь это для вас было небезопасно?

– Я был в своем, русском Владивостоке. И пусть японцы

захватили его и даже переименовали в город Урадзиво, они должны были бояться меня, а не я их.

– Так, так, – подтвердил Лу Синь. – Японская пословица в таких случаях советует: "Садясь на чужого коня, помолись предварительно Будде".

Ерошенко радостно рассмеялся в ответ: он понял намек Лу Синя – незадолго до их встречи Народно-революционная армия ДВР разбила белых под Волочаевкой и вела успешное наступление на Приморье.

С той поры Лу Синь и его русский друг не раз беседовали по ночам. Иногда в их разговорах принимал участие У Кэ-ган или кто-либо из гостей Лу Синя. Один из них впоследствии вспоминал, что такие беседы длились нередко за полночь. "При этом совсем не чувствовалось, что Лу Синь – китаец. Он умел так проникаться настроением, мыслями собеседника, что совершенно перевоплощался. Даже на шутки Ерошенко он отвечал тоже японскими шутками…". Так и не освоившийся в Китае, Ерошенко чувствовал себя в доме Лу Синя естественно и свободно.

Японию, замечал Лу Синь, Ерошенко искренне любил и говорил о ее бедах так, словно высказывал свое собственное горе. Видимо, Лу Синь и его русский друг немало беседовали об этой стране. Говорили они и о Советской России, которая очень интересовала Лу Синя и к которой он чувствовал большую симпатию (7). Однако объяснить его дружбу с Ерошенко только этим нельзя. В 20-е годы в Пекинском университете, бок о бок с Лу Синем, работали и другие русские – китаеведы А. Ивин, Б.Васильев, писатель С. Третьяков. Но близок он был только к Василию Ерошенко.

К сожалению, об отношениях Лу Синя с Ерошенко еще мало известно. Ерошенко не оставил воспоминаний о своей жизни в Пекине. Более того, возвратившись из Китая на родину, он в разговорах никогда не упоминал о своей дружбе с китайским писателем, видимо считая даже само такое упоминание нескромным. К счастью, Лу Синь в своем эссе "Праздные мысли на исходе весны" поведал читателю о своем русском друге. Он вспоминал свои беседы с Ерошенко:

" – Господа капиталисты все больше превращают рабочих в машины, – сказал как-то Ерошенко. – Они не только эксплуатируют их, но и навязывают им свои мнения, взгляды, заставляя с покорностью работать на себя. И я опасаюсь, Лу Синь-сэнсэй, как бы будущие ученые, чтобы парализовать рабочих в их борьбе, не изобрели специальное лекарство.

Я вздохнул, чтобы Ерошенко понял, что я разделяю его страхи, и сказал:

– Конечно, досточтимые господа и мудрецы, которые им служат, мечтают о золотом веке, когда они с помощью каких-либо технических средств смогут превратить рабочих в своих механических рабов. К счастью, у человека нет такого нервного узла, как у гусеницы, чтобы одним уколом можно было парализовать его волю, поэтому этим господам приходится обманывать людей…

Когда в 1915 году, – продолжал Лу Синь, – помещик Юань Ши-кай решил объявить себя императором, то его ученые американские советники написали: "специфические черты характера китайцев таковы, что Китай может быть только монархией". К счастью, ваша страна недавно отказалась от такой "специфики"".

Во время этих встреч Ерошенко бывал счастлив. И хотя были они не частыми – Лу Синь много работал, – слепой писатель всегда чувствовал, что рядом с ним большой настоящий друг.

Однажды заметив, как грустит Ерошенко, невесело наигрывая на гитаре, Лу Синь сказал:

– А почему бы вам не пригласить сюда приятеля из Японии? У нас в доме всегда найдется место для гостя.

– Да вы просто ясновидец, Лу Синь-сэнсэй, – ответил Ерошенко.

Как раз в это время в Китай собирался токийский знакомый поэта, студент Фукуока Сэйити; японец спрашивал, может ли он погостить в доме Лу Синя. Теперь Ерошенко мог позвать приятеля к себе. Подзаработав уроками английского языка и дождавшись каникул, Фу-куока Сэйити приехал в Пекин.

На вокзале Ерошенко его не встретил. Взяв рикшу, Фукуока отправился в дом Лу Синя. Приехав, он представился Чжоу Цзожэню и тихо, на цыпочках, вошел в комнату слепого. Японец хотел сделать сюрприз другу, но Ерошенко, повернув к нему голову, сказал:

– Фукуока, – это ты. Подойди сюда – я уже давно тебя жду. Извини, что не пришел тебя встречать на вокзал.

– Эро-сан, дорогой, как вы меня узнали? – отозвался Фукуока. – А встреча… вы, наверное, сочли, что для меня будет небезопасно свидание с человеком, высланным из Японии?

– Ты прав. В Пекине полно японских шпионов. Но это не значит, что мы просидим все дни дома. Не так ли?

На следующий день они втроем – Фукуока, Ерошенко и его поводырь, мальчик Чан-линь, отправились на прогулку. Ехали они на ослах – иного транспорта, если не считать рикш, в Пекине тогда не было.

"Был конец марта, наступила весна. Уже расцвели персики и

сливы, в сосновом бору щебетали птицы. Друзья проехали по Центральному парку, затем Ерошенко предложил посетить кладбище императоров династии Мин. Здесь он остановился, слушая птиц, дотрагивался до памятников руками…

В полдень они приехали на гору Сишань (западнее Пекина), а оттуда отправились в зоопарк посмотреть и послушать животных.

С приездом Фукуока Ерошенко стало веселее. Но особенно ценил он те немногие дни, когда их обоих брал с собой на прогулку Лу Синь. Шли они на улицу Люличан, в тихие прохладные лавки антикваров. Лу Синь занимался тогда поисками экспонатов для пополнения китайских музеев. Здесь никогда не было толчеи. Кончиками пальцев Ерошенко ощупывал фигуры девушек и всадников, раскопанные в могилах; чистый фарфор императорских заводов в Цзиньдэчжэне – чашки, вазы, которыми не разрешали пользоваться даже помещикам; бронзовые монеты X века – крупные с квадратными отверстиями; зеркала с барельефом на обратной стороне.

Лу Синю, знатоку древностей, было интересно, как воспринимает все это Ерошенко. Узнав от Лу Синя, что есть любители, которые снимают отпечаток с памятника, а сам памятник уничтожают, чтобы их копия стала уникальной, – Ерошенко в гневе сжал кулаки.

О многом говорили Лу Синь, Ерошенко и Фукуока в эти мартовские, свободные от занятий дни – об истории буддизма, о войне, о русской литературе и переводах ее на китайский язык. Однажды Ерошенко сказал:

– Лу Синь-сэнсэй был так добр, что перевел мои сказки. Знаю, я слабый литератор, но у меня есть пьеса "Персиковое облако", которая все же лучшее из того, что я написал. Мне бы очень хотелось, чтобы Лу Синь-сэнсэй перевел и ее.

– Я читал вашу пьесу: в ней так много названий растений и животных, что я не представляю, как перевести все это на китайский, – ответил Лу Синь.

– Быть может, я мог бы вам помочь, – заметил Фукуока. – Мне приходилось редактировать эту пьесу.

– Да это просто заговор, – сказал Лу Синь и улыбнулся сдержанно, одними глазами. – Нужно подождать. Перевод не каша или чай, которые проглатывают целиком. Здесь следует поработать зубами, языком. Переводить нужно так, как вкушают подлинные яства – не спеша, маленькими кусочками.

С этого дня Лу Синь сел за перевод "Персикового облака". Для него, вспоминал наблюдавший за писателем У Кэ-ган, это было почетное и торжественное дело. От работы он отвлекался только для того, чтобы посоветоваться с Ерошенко и Фукуока (8).

В день, когда Лу Синь закончил перевод пьесы, его мать пришла на мужскую половину и сказала об этом Ерошенко. Гость пришел в такой восторг, что бросился в пляс, потом сорвал со стены гитару и под ее аккомпанемент спел для старой китаянки несколько русских песен.

А Лу Синю он посвятил четверостишие – "Песнь белой птицы":

Вижу радуги мост, он играет, маня.
Слышу голос зовет – это ты, это ты!
Я иду по мосту в край чудесной мечты
И ты смотришь мне вслед, ободряя меня.

Видимо, Ерошенко понимал, что перевод "Персикового облака", сделанный рукой большого мастера, станет достоянием потомков.

(7) Лу Синь был активным пропагандистом русской и советской литературы; основал издательство, выпустившее при его участии переводы многих русских книг.

(8) В благодарность за эту помощь Лу Синь подарил Фукуока китайское издание сказок Ерошенко с дарственной надписью на эсперанто.

Персиковое облако

Действие пьесы "Персиковое облако" происходит как в реальной действительности – на земле, среди людей, так и в ирреальной – под землей, в сказочном мире животных, растений и духов. На земле, где светит солнце, живут сильные существа; внизу же, в мрачном подземелье, обитают создания слабые, но преисполненные надежды на лучшее будущее; они тянутся к солнцу.

В одной деревне живут три девушки-крестьянки: Харуко, Нацуко, Акико и дочь богача Фуюко (9). А под землей есть очень похожие на них принцессы: три добрые – Весна, Лето и Осень и одна злая – Зима. В облике неверного жениха Канэ видны черты сказочного юноши – Персикового Облака. Каждое животное или растение, согласно ремаркам автора, воплощает реальный персонаж – аристократов, ученых, артистов, рабочих. Таким образом, сказка отражает реальность, а реальность уходит корнями в сказку.

…Конец зимы. Животные и растения в подземном царстве томятся в ожидании весны. Но зимний ветер принес страшную весть: в этом году весна не придет. Сладко спит дряхлая Матушка-Природа и не знает, Что ее старшая дочь принцесса Зима – жестокая аристократка с ледяным сердцем – заточила свою младшую сестру, красавицу Весну, в заколдованном замке.

Подземный мир в смятении. Если Весна хоть раз не придет, все его обитатели умрут. И растения решили выйти навстречу солнцу:

"Резуха. Наверху холодно, зато там свобода.

Адонис. Лучше холодный свободный мир, чем теплая тюрьма.

Семь весенних трав. Ты прав, Адонис, ты прав".

Но зимний ветер накрыл смельчаков снегом, и подземный мир снова погрузился в спячку.

Как же помочь всем этим слабым и униженным? Как разбудить Весну? Об этом днем и ночью думает Молодой Крот – "юный идеалист", как представил его автор.

"Молодой Крот. Бабушка, спойте мне, пожалуйста, такую песню, чтобы хоть немного утихла моя грусть.

Дед. Да что с тобой, в самом деле? Отчего тебе грустить и тосковать? Еды, кажется, хватает: дождевых червей полно…

Бабка. Да и всяких козявок и букашек. Молодой Крот. Скажите, бабушка, отчего умерли отец мой и мать?

Дед. Оба они были странными кротами. Бабка. Да, уж это верно. И отец твой и мать всегда стремились туда, в тот мир, который на земле.

Дед. Ох и страшен тот мир, на земле. Там всегда светло… Молодой Крот. Дедушка, а почему мы должны всегда жить под землей и не можем появляться в Мире, где светит солнце?

Дед. Миром, где светит солнце, владеют существа, которые гораздо сильнее нас.

Бабка. То царство сильных и опасных существ.

Дед. Для нас хорош и мир под землей. Есть здесь дождевые черви…

Молодой Крот. Сильные живут в прекрасном, озаренном солнцем мире. А мы должны веки-вечные жить под землей?..

Бабка. Так решила Матушка-Природа…

Дед. Сильные побеждают слабых – таков главный закон природы…

Молодой Крот. А мне нравится мир, где светит солнце. Я люблю тот прекрасный мир, что на земле…

Дед. Даже солнца, которое так любят цветы и насекомые, мы видеть не можем. От солнечного света мы слепнем… и умираем. Запомни это хорошенько…

Молодой Крот. Дедушка! Я понимаю и знаю то, о чем вы сказали. Но если бы мы на протяжении многих поколений жили там, на земле, то, наверно, наши дети и внуки тоже смогли бы жить в том прекрасном светлом мире и смотреть на солнце… И я хочу туда. Хочу иметь глаза, чтобы увидеть прекрасный, озаренный солнцем мир. Хочу быть таким же умным, как люди. Хочу быть сильным… Да, я не желаю здесь больше оставаться. Либо я буду жить в мире солнца, либо умру".

И Молодой Крот пошел к мерзнущим под землей существам, чтобы повести их к Солнцу и разбудить Весну. Под его водительством животные и растения ломают двери, ведущие в земной мир. Но ветер позвал на помощь принцессу Зиму. Все подземные жители замирают в страхе. Только Крот не побоялся и сказал злой фее:

– Я тебе не цветок, принцесса Зима! Гляди, как бы я тебя не укусил… Напрасно меня пугаешь. Я все равно пойду и освобожу Весну.

Крот разбудил Матушку-Природу и рассказал ей, как Зима заколдовала Весну. Но он пожаловался не только на злую фею.

"Молодой Крот. Матушка! В этом мире сильные выживают, а слабые погибают… Говорят, что таков твой основной закон, но для меня он невыносим.

Лягушки. Мы тоже против такого закона! Мы против!

Змея. Замолчите, недоросли! Лягушки созданы лишь затем, чтобы мне было чем питаться.

Муха. Мы против того, чтобы нас глотали лягушки.

Уж. Нельзя ли издать такой закон, чтобы мы могли пожирать людей и свиней?..

Матушка-Природа. Успокойтесь, мои милые, успокойтесь. То, что сильные выживают, – это, действительно, закон. Но разве сильные это те, у кого крепкие руки и ноги, у кого острые когти и зубы, у кого ядовитые жала? Разве сильные – это они?.. Нет, ошибаетесь, дети мои. Сильные – это не они. Кто всем сочувствует, кто помогает друг другу – те гораздо сильнее их… Только те, чья жизнь наполнена высоким, прекрасным чувством любви, обретают истинное счастье… И пусть даже погибнет этот мир, я всегда, до скончания веков все буду мерить лишь одной меркой: любовь, красота и справедливость…

Пока Природа произносила этот монолог, Черная Змея высунула голову из-за ее пазухи и пыталась проглотить Квакшу.

Квакша. Что же это такое, Матушка-Природа?

Крот. Раз змея такая голодная, пусть съест меня.

Змея. А что, может он и вкусный.

Матушка-Природа (рассуждая про себя). Хотела я устроить

мир по законам справедливости, но видно в чем-то просчиталась. Невозможно сделать так, чтобы всем было одинаково хорошо".

Поняв, что природа бессильна им помочь, обитатели подземного царства приуныли. Но вернулся уходивший ненадолго Крот. Он узнал волшебные слова, с помощью которых можно расколдовать Весну.

Крот влюблен в ветреную девушку Квакшу, и во имя этой любви и преданности униженным и слабым ведет их к Солнцу, в чертоги принцессы Весны. Подойдя к воротам дворца Весны, он произносит:

– Во имя любви – откройтесь!

Но Крот ошибся и расколдовал чертоги не Весны, а Лета. А слова заклинания, которые могли бы запереть их, он забыл. От яркого солнца Кроту сделалось плохо.

Квакша. Что, плохо себя чувствует? А не он ли сулил нам золотые горы? Пусть теперь расплачивается.

Змея. Говорят тебе, поскорее закрой ворота, Крот поганый…

Слепень. Может мне куснуть его, тогда он побыстрее зашевелится.

Змея. Я же говорила, что надо быть осторожным и мудрым, как змея.

Квакша. Уж ваша мудрость-то известна. От нее – одно лишь зло".

Крот все-таки вспомнил, как запереть чертоги Лета. Животные и растения успокоились, но когда он повел их во дворец Весны, они пошли за ним уже не так охотно, как в первый раз.

"Незабудка. Не следует забывать, что может проснуться Матушка-Природа. Она устроит нам такой нагоняй, что только держись.

Крот. Напрасно ты говоришь такие слова. Или ты забыла о всех, кто страдает от Зимы там, наверху? Мы не только ради себя пытаемся разбудить Весну. Мы это делаем и во имя тех, кто замерзает в мире над нами, на земле".

И Крот разбудил Весну. Но вместе с ней проснулась и Матушка-Природа. И она заявила Кроту:

– А ты разве не знаешь, что тебе нельзя жить в мире, где светит солнце? Знаешь? И все-таки хочешь идти туда?

Крот ответил:

– Пусть, Матушка, я не смогу там жить, зато смогу там умереть!

Природа снова усыпила всех проснувшихся раньше срока. А в это время Зима, узнав от предательницы Вишни, что у Весны есть возлюбленный, прекрасный юноша Персиковое Облако, проникла

в чертог своей спящей сестры. Она разбудила юношу и спросила, со-гласен ли он по доброй воле уйти к ней.

Сравнив Весну с Зимой и решив, что Зима могущественней и богаче, юноша пошел в ее чертоги.

В это время проснулась Весна. Она побежала к сестрам и к Матушке-Природе рассказать, что натворила Зима – увела ее возлюбленного – Персиковое Облако.

Животные и растения тем временем радовались пробуждению Весны:

"Насекомые и цветы (поют хором).

Там за радужным мостом есть прекрасная страна.

Это Радуги Страна, это – счастья сторона.

Цикада. Конечно, нужно лететь туда. Мы все туда полетим:

Пчела (рабочая). Я бы рада, но только мне нужно собирать мед.

Муха (бездельница). Я, к счастью, не из рабочих, так что времени у меня достаточно. Но лететь в такую даль мне вовсе неохота. Была бы лошадь, я бы на ней поскакала.

Цикада. И у меня нет времени. Парадокс: ведь я – деятель искусства.

Лягушка. Эх ты, деятель. У тебя только и есть время, чтобы болтать о счастье и справедливости, о Стране Радуги, а вот побывать там тебе недосуг.

Молодой Крот. Я здесь. Я иду в Страну Радуги… (От яркого солнца у него темнеет в глазах)… Я ничего не вижу. В этом мире я – слепой.

Квакша. Я этого не знала. Но раз так, возвращайся к себе под землю. В этом светлом мире слепцам не место!

Молодой Крот. Квакша! Возьми меня с собой. Квакша. Ты что, хочешь, чтобы я стала твоим поводырем!

Молодой Крот (склоняя голову). Да. Квакша. Ты хочешь, чтобы я всегда, до самой смерти таскала тебя с собой? Ты думаешь, я на это способна?

Молодой Крот. Если любишь, то будешь способна стать даже поводырем слепца.

Квакша. Если люблю? Да кто может тебя полюбить, кроме какой-нибудь кротихи, такой же слепой, как и ты. Даже в Стране Радуги… (Смеясь уходит)".

Крот убит предательством Квакши, равнодушием всех, кого он привел в край Весны. Обессиленный, он попадает в руки своего врага, принцессы Зимы. Она решает убить его, подвергнув медленной пытке. Но в это время к ней врываются ее сестры, умоляя отдать Весне Персиковое Облако. Взамен Зима потребовала у Весны мост Радуги, по которому можно пройти в

Страну Счастья. После долгой борьбы Весна получила, наконец, свое Персиковое Облако. Но что это? Вместо цветущего юноши перед ней предстал рано постаревший, уставший от жизни человек, который думал только об удовольствиях и деньгах. Весне не нужен такой возлюбленный, и она просит сестру отдать ей взамен хотя бы Крота. Зима нехотя соглашается. Но Крот уже мертв.

Сердце Весны разбито, на щеках ее появляется чахоточный румянец; она должна скоро умереть.

Такова сказочная фабула пьесы, параллельно которой развивались события и в реальном мире. Так же, как и под землей, наверху, в деревне недалеко от Токио, в тот год долго не наступала весна. В деревне жила девушка по имени Харуко. Она страдала от холода, но еще больше от того, что ее возлюбленный Канэ нашел себе нового друга – дочь барона Фуюко. Правда, Канэ – социалист, он не терпит богачей, но почему же тогда он уехал в Токио с дочерью барона?

От этих дум Харуко заболела. Она мечется в бреду; то ей кажется, что ее пришел встречать какой-то крот, вышедший из-под земли, то ей снится, что Фуюко украла у нее персиковое облако.

Но пришла весна, и вернулся Канэ. Однажды, когда после дождя по небу протянулась радуга, Харуко пригласила любимого вступить на радужный мост и вместе с ней отправиться в край счастья – Страну Радуги. Но юноша сказал ей:

"Канэ. Хару-тян! Когда ты, наконец, расстанешься со своими детскими грезами? Этот радужный мост не что иное, как самое обыкновенное физическое явление.

Харуко. Наверное, ты прав. Но когда я иду с то-бой вот так, как сейчас, мне начинает казаться, будто я приближаюсь к той неведомой счастливой стране. И если ты меня поведешь, я смогу перейти через этот мост и попасть в Страну Радуги. Пусть это детская фантазия, но она мне кажется отрадной и легко осуществимой. И все-таки, если ты не пойдешь со мной, я одна никогда не дойду до той страны".

Сказав так, девушка попросила юношу никогда ее не покидать.

"Харуко. Когда тебя нет со мной, мне лезут в голову странные мысли. Если ты, Канэ-тян, оставишь меня, у меня останется единственный выход – уйти в то мрачное подземелье, где обитают кроты.

Канэ. Эти мысли – порождение твоей слабости. Ты должна стать сильной. Пойми, что мир, в котором мы живем, – не для слабых. Этот мир для сильных и здоровых существ. Лягушки,

которых мы с тобой видели в окружении змей, рано или поздно становятся их добычей. Мы – тоже лягушки, окруженные змеями… Помни это, Хару-тян, и постарайся стать сильной и крепкой женщиной.

Харуко. Да, но ведь рядом с таким сильным, как ты, я тоже смогу стать сильной.

Канэ. Если ты считаешь меня сильным, ты глубоко ошибаешься. Я сам ищу сильную личность".

И тут девушка заметила крота:

"Харуко. Это мой крот, мой. (Быстро берет его на руки и прижимает к груди.) Ты пришел за мной, милый кротик, пришел встречать меня? А я-то думала, что еще рано".

Но Канэ забрал у нее крота, чтобы приготовить из него чучело для Фуюко, дочери барона, на которой решил жениться. В разговоре с матерью Хару-тян Канэ старается оправдать свое предательство:

"Канэ. Я, матушка, еще молодой… и, кроме горестей бедной студенческой жизни, ничего не знал. А когда окончу медицинский колледж, мне тоже придется трудиться день и ночь, чтобы заработать себе хотя бы на пропитание. Эта мысль для меня невыносима… Мне хочется вкусить все прелести веселой, праздной жизни. Мать. Значит, ты хочешь жениться на дочери барона только ради богатой и праздной жизни? Да ведь это позор! Я до сих пор считала тебя человеком!

Акико. Баронский пес!.. Ты стал барской собачкой, поздравляю!"

Появившиеся на сцене девушки Акико и Нацуко также проклинают Канэ и отбирают у него крота, отдавая его Харуко.

Но Крот уже мертв. Мать решила, что он слишком долго пробыл на солнце.

– Посланец подземного мира. Это он приходил за мной, – говорит, кашляя кровью, Харуко. Девушка безнадежно больна. Предательство Канэ убило ее. Перед смертью она просит:

"Харуко. Матушка, сделайте так, чтобы Радуга не погасла! Нацу-тян, Аки-тян, подруги мои милые, сделайте, чтобы мост Радуги светился всегда. Ведь если она исчезнет, я никуда не смогу пойти. Мне останется лишь одна дорога – в темный подземный мир…

Нацуко. Тетушка, она, наверное, бредит.

Харуко. Нацуко-сан, Акико-сан, не нужно плакать. Я уже со всем примирилась, и у меня теперь на сердце совсем легко. Я решила уйти в тот подземный мир, где живут кроты. Но я не умру, я не могу умереть. И никто меня не может убить. Я бессмертна. Я – Весна!.. Сейчас я ухожу, но потом приду снова. Я

должна буду каждый год приходить в этот мир. Каждый год я должна буду бороться со своей сестрой Зимой, у которой вместо сердца кусок льда. Ради цветов, ради насекомых, ради Персикового Облака, ради моста Радуги, ради Крота, – во имя всех слабых и прекрасных существ я должна буду бороться с ней каждый год. Стоит мне хоть однажды не прийти, и весь мир превратится в снежную пустыню, и ледяными станут людские сердца, и все прекрасное, все розовое станет серым, зачахнет и погибнет.

Я – Весна! Я не умру! Я – бессмертна! (Из усадьбы барона доносятся звуки арфы. Харуко приподнимается.) Канэ-тян, прощай, Канэ-тян! Передай привет Фуюко. До свидания, земной, светлый мир! Я еще приду. Я не умру. Я – Весна. Я – бессмертна. (Падает замертво.)"

Птицы, насекомые, цветы поют песню о Стране Радуги.

Таково содержание пьесы Ерошенко "Персиковое облако".

Акита Удзяку писал Ерошенко в Китай: "Читая эту красивую сказку, я вспомнил Ваше лицо, Ваш голос, представил себе даже особенности Вашего произношения и проникся симпатией к Вам. Я положил Вашу рукопись на колени, уселся на той самой лужайке, где Вы когда-то любили гулять, и стал смотреть в бескрайнее небо, которое можно увидеть только ранней осенью. И тут я почувствовал, что проникаюсь настроением Вашей пьесы, что душевные волнения ее молодых героев близки и мне.

В "Персиковом облаке" Вы не уходите в мир мечты, не отрываетесь от земных забот. Но пламя Вашей мыс-ли, пламя Вашей мечты горит и в этой сказке".

"Персиковое облако" – исповедь писателя, биография его души и одновременно своеобразный итог всего написанного им на Востоке. Молодой Крот похож на Цыпленка ("Трагедия цыпленка") и на карасика Фунитаро ("Горе рыбки"), – так же, как они, он не может жить в безжалостном мире, где действует "закон всеобщего поедания". Стремление к солнцу, к свету сближает его с гордыми орлами ("Сердце Орла"), а готовность отдать жизнь за угнетенных и униженных – с Великим Принцем ("Цветок Справедливости"),

В образе Крота Ерошенко выразил свою боль, свою трагедию – стремление уйти от одиночества в неуютный мир борьбы за счастье и невозможность, как он считал, этого счастья для него, слепого.

Ерошенко был из породы тех чудаков, которые, по словам Горького, украшают мир. Не зная, как бороться с "законом всеобщего поедания" – и в природе, и в обществе, – герои его добровольно идут на смерть. Крот из пьесы просит, чтобы его

съели вместо Квакши, а мальчик из "Странного кота" умоляет отца: если нужна чья-то жизнь, то пусть он убьет не бедное животное, а его самого.

Ненормальные, сумасшедшие, безумцы – только так могли бы назвать этих героев горьковские пингвины и щедринские карасиидеалисты. "Сильные, присвоившие плоды труда слабых, не могли быть подлинно свободными, а слабые всегда были глубоко несчастны", – писал Ерошенко в "Сердце Орла". Но ненормальны были сами условия жестокого эксплуататорского мира, которые превращают людей либо в хищных хозяев, либо в покорных рабов. И для того чтобы говорить этому обществу правду, обличать сильных мира сего, великим писателям приходилось прибегать к иносказаниям. Так поступали Шекспир, Гоголь, Чехов и Лу Синь. Эту традицию продолжил в своей пьесе и Ерошенко.

С гневом обрушивается автор на "нормальных", "практичных", "трезвых людей", которые, начав действовать, как один из героев Щедрина, "применительно к обстоятельствам", всегда кончают переходом к подлости. Таков Канэ, предавший во имя "сытой жизни" не только любовь, но и свои социалистические идеалы.

"Молодой человек, о котором Вы рассказываете, – писал автору пьесы Акита Удзяку, – сначала был полон жизненных сил и готов был пойти на борьбу с целым миром. Но в какой-то момент он утратил мечты, лишился мужества, скрылся за старые, серые стены и стал похожим своей судьбой на многих наших японских юношей.

Японская культура теперь примерно каждые десять лет переживает переворот. И после каждого такого переворота "тени идолов", которым мы поклоняемся, становятся все мрачнее и мрачнее. Но это происходит не только в нашей стране…".

Подобные события происходили, например, и в Китае. В "Рассказах увядшего листка", как мы помним, Василий Ерошенко вывел "китайского Канэ" – "гордого сына гор", который, вкусив "прелести городской жизни", бросил свою любимую ради денег и развлечений. Что ожидало его в будущем?

Проиграв последние деньги, этот юноша продал свою честь и пошел на службу к разбойникам, – отмечал Ерошенко.

"Персиковое облако" – пьеса-призыв. Видимо, именно это имел в виду Акита, когда писал: "В этом произведении, которое на первый взгляд кажется всего лишь утопией, Вы как будто обращаетесь к нашей молодежи с призывом: "Надо иметь волю!" Вы говорите: "Не надо отчаиваться, потому что весна непременно придет". Да, это правда – весна не может не наступить!".

(9) Эти имена образованы от японских слов, соответственно означающих: "весна", "лето", "осень", "зима".

Профессор Пекинского университета

Представляя читателям "Персиковое облако", Лу Синь писал, что он спешит подарить эту пьесу китайской молодежи и раскрыть перед ней сердце ее автора, его чистую душу и глубокий ум. Китайский писатель, стремившийся разбудить народ от векового безмолвия, обращал свой призыв "прежде всего к молодежи". "Вождь молодых мятежников" (так называли Лу Синя) верил, что "будущее превзойдет прошедшее, а юноши превзойдут стариков".

В борьбе, которую вел Лу Синь, Ерошенко был его помощником. Об этом говорят и "Персиковое облако", и "Мудрец-Время", и "На берегу", и другие произведения писателя, обращенные прежде всего к молодежи.

Вот какую историю поведал он, например, в сказке "На берегу".

… В лесу среди зверей, птиц и насекомых пронесся слух, что солнце, в тот день уже клонившееся к горизонту, больше никогда не взойдет. Эта весть напугала обитателей леса, и две бабочки бросились догонять солнце, уберечь мир от вечной тьмы. Но долететь до горизонта у них не хватило сил; бездыханными они упали берегу моря.

Утром к морю пришли школьники с учителем и спросили его:

"- Почему здесь лежит мертвая бабочка? Она утонула? Да, конечно, – ответил учитель, – недаром я всегда говорю вам: не уплывайте далеко от берега. – Но ведь нам нужно учиться плавать! – закричали ребята. – Плавайте там, где мелко. Незачем забираться на глубокие места. С морем не шутят. В нашем цивилизованном мире на всех реках есть мосты или по крайней мере паромы. – И учитель предостерегающе поднял руку.

В это время подошел монастырский слуга.

– Ну а если паром перевернется? – спросил он учителя, но тот ничего не ответил. (Этот учитель получал премии от дирекции, и его неизменно ставили в пример другим преподавателям!)

Ученики старших классов в этот день тоже пошли к морю в сопровождении учителя. И они увидели бабочку.

– Эта бабочка, вероятно, не захотела жить на нашем острове. Она собиралась перелететь на материк, – сказал учитель. – Вот и погибла. Так что каждый из нас должен оставаться на своем месте и довольствоваться тем, что имеет. Это самое главное в жизни. Но

монастырского слугу не могло удовлетворить такое объяснение, и он спросил:

– А если у вас нет места в жизни? Вы тоже должны быть довольны? Ученики рассмеялись. Но учитель невозмутимо продолжал:

– Только в этом случае вы добьетесь счастья для себя и для своей страны. Объяснить людям, что они должны удовлетвориться тем, что имеют, – такова цель просвещения. (Этот учитель скоро стал директором школы!)

В этот же день у моря побывали студенты. Профессор сказал им:

– Инстинкт, друзья мои, как видите, не всегда безошибочен. Эта бабочка видела в своей жизни только маленькие ручейки. И она решила, что море – это маленький ручеек. Она задумала перелететь его, и вот – результат перед вами. Главное в жизни – опыт! И право же, наши юнцы, которые, едва выпорхнув из школы, окунаются в политику и в общественное движение, удивительно похожи на эту бабочку!

Монастырский слуга снова возразил:

– Но откуда же появится опыт у молодежи, если она ничего не будет предпринимать?

Профессор, холодно улыбаясь, продолжал:

– Говорят, что свобода – инстинкт человека, но ведь инстинкт не всегда безошибочен. (Этот профессор недавно избран в Академию. Приносим ему свои поздравления!)

А монастырский слуга с того же дня находится под надзором полиции…

И никто из них не знал, что две бабочки погибли оттого, что хотели развеять мрак и спасти человечество, вернуть ему солнце!"

Так кончается сказка. Читая ее, мы попадаем в странный, непривычный для зрячих мир, где "солнце – фиолетовый корабль", а море – "золотое". Но эти редкие краски не вносят диссонанса в картину, словно на-писанную черной тушью.

Художник беспощадно разоблачает тех, кто проповедует, что общественное безмолвие должно длиться вечно: учителей, защищающих этот бесчеловечный строй; чиновников, страшащихся солнца; беспринципных полицейских, готовых хватать невиновных. Не случайно в Пекинском университете сказку "На берегу" считали сатирой на декана-соглашателя Ху Ши, который обычно удерживал студентов от выступлений против существовавших в стране порядков.

Когда читаешь эту сказку, вспоминаются гневные слова Н. А. Некрасова: "Будь он проклят, растлевающий пошлый опыт – ум глупцов!". Вырвать молодежь из-под влияния старых обычаев,

традиционной ханже-ской морали, под воздействием которых юноши и девушки вырастают либо безжалостными эксплуататорами, либо покорными рабами, – вот к чему стремился Ерошенко. Этой же теме он посвятил и свое выступление в дискуссии о китайском театре: "Неужели юноши и девушки Китая бессильны плюнуть на. то, что с точки зрения людей, воспитанных по старинке, является нравственным или безнравственным?.. К таким, ни на йоту не обладающим силой духа юношам и девушкам, я отношусь, как к жалким и слабоумным людям… подобию их отцов и матерей… О, этот темный уклад жизни! Он погружает во тьму настоящее и хочет, чтобы и будущее было темным!"

Многим пришлись не по душе эти слова писателя. Лу Синь выступил тогда в защиту русского друга, заявив, что он целиком и полностью поддерживает его мужественную позицию в этом вопросе. Он писал: "Я готов плюнуть в лицо тем из молодых, кто вырос, впитав в себя старую мораль и новую аморальность…" Ерошенко вместе с Лу Синем боролся за молодое поколение Китая, он призывал его отвергнуть груз традиции и выбрать свой путь к новой жизни. "Эро-сан стремился привлечь внимание китайских студентов к борьбе за свободу", – отмечал Такасуги Итиро. С весны 1922 года русский гость мог уже обращаться к студентам непосредственно с университетской кафедры, ректор Пекинского университета Цай Юань-пэй по рекомендации Лу Синя пригласил Василия Ерошенко преподавать эсперанто.

В 1921 г., воспользовавшись тем, что Всекитайский съезд учителей по предложению Цай Юань-пэя принял резолюцию об изучении в школах эсперанто, три профессора-эсперантиста – Лу Синь, Чжоу Цзо-жэнь и Цянь Сюань-тун основали при Пекинском университете Специальную школу эсперанто. Директором ее назначили русского эсперантиста Иннокентия Серышева, а преподавателями братьев Чжоу (10) и Цянь Сюань-туна.

Так как в Специальную школу записалось пятьсот слушателей, то в помощь преподавателям из Шанхая был приглашен китайский эсперантист, известный под псевдонимом Сунь-фир, и Ерошенко, который не только преподавал язык, но и читал на эсперанто русскую литературу. Его лекции слушали студенты двух потоков – те, кто знал эсперанто, и те, кто его не знал (для них выступления Ерошенко переводил Чжоу Цзо-жэнь). Таким образом, например, лекции о Леониде Андрееве посещали уже не десятки студентов, как в русской секции университета (11), а сотни. На курс Ерошенко записалось пятьсот человек: триста на эсперантский поток и двести на китайский. Так, студенты преодолевали языковый барьер, мешавший их

знакомству с русской литературой.

Обычно Ерошенко читал лекции в большой аудитории, оформленной в китайском стиле. Он водил пальцем по брайлевским листам и говорил на эсперанто. Каковы были темы его выступлений? Они отражены в заголовках статей того периода: "Женский вопрос в новейшей русской литературе", "Андреев и его пьесы", "Андреев и его символические драмы" (12).

Несмотря на работу энтузиастов-переводчиков (в частности, членов созданного в 1921 г. Общества изучения литературы), произведения русских писателей были еще мало известны в Китае. Нередко Ерошенко, анализируя драмы Л.Андреева, знакомил слушателей с их содержанием.

Леонид Андреев привлекал китайского читателя своим гуманизмом (правда, несколько отвлеченным), пацифизмом и ненавистью к социальному злу. Высоко ценил Л. Андреева и Лу Синь (13). Русский писатель был близок и самому Ерошенко – гуманисту и пацифисту.

Китайских студентов, видимо, особенно интересовали проблемы, связанные с положением женщины в дореволюционной России. Буржуазная семья, основанная не любви, а на расчете, переживала кризис – это и отразил в своих драмах Л. Андреев. Василий Ерошенко, анализируя их, приходит к выводу, что буржуазный брак – узаконенная проституция, ибо, как он писал, "нет принципиальной разницы между женщиной, продающей свое тело многим мужчинам, и женщиной – рабой одного".

И хотя в своем анализе пьес Ерошенко не доходит до обнажения причин бесправия женщины, до обличения буржуазного общества и государства, даже такая критика варварских семейных отношений с большим интересом воспринималась китайскими слушателями.

Русский писатель приехал в Китай в интересный и напряженный период истории этой страны. 4 мая 1919 года, менее чем за три года до его появления в Китае, началось демократическое, антиимпериалистическое движение. В тот день на улицу вышли студенты, протестовавшие против унизительных для страны решений Парижской мирной конференции. Полиция стреляла в них, улицы Пекина обагрились кровью, но движение прокатилось мощной волной по всей стране и утихло только в начале июля. А два года спустя, весной 1921 года студенты и преподаватели Пекинского университета, протестуя против бесчинства властей, объявили забастовку и направились к министерству просвещения. Полиция на этот раз не решилась прибегнуть к оружию, ограничившись жестоким избиением и студентов и профессоров.

В то время, когда Пекинский университет стал ареной бурной политической борьбы, многие студенты обратили свои взоры к России. В этих условиях Ерошенко воспринимали в Китае, как посланца своей революционной родины. И Ерошенко оправдывает такое к нему отношение. Едва приехав в Пекин, 2 апреля 1922 года, он вступает на вечере в народной школе при Пекинском университете, поет "Стеньку Разина", аккомпанируя себе на гитаре. (Песня эта так понравилась слушателям, что Лу Синь перевел ее на китайский язык и опубликовал перевод в "Чэньбао".) А 1 Мая Ерошенко, присоединившись к учащимся Конфуцианской школы, участвует в первомайской демонстрации, во время которой поет мало кому известный тогда в Китае "Интернационал". В этот день, отмечал Такасуги Итиро, Ерошенко был по-настоящему счастлив: он бродил среди студентов, пел, играл, оживленно разговаривал с ними.

Мы еще мало знаем о деятельности Ерошенко в Пекине – неизвестны даже темы его лекций по литературе (не мог же он больше года читать лишь об Андрееве да еще об Арцыбашеве). О чем разговаривал он со студентами, что рассказывал им?

Кое-какие сведения отыскать все же удалось, в частности по публикациям советских авторов, очевидцев событий того времени.

С. Третьяков, ссылаясь на одного из слушателей лекций Ерошенко, в своей книге отмечает: "Мы бросаемся на лекцию эсперанто, всемирного языка, делающего людей братьями… Но пекинская полиция держится других мнений. Офицер, находящийся в зале, спрашивает: "Вы что тут пропагандируете?"

Студенты переглядываются и улыбаются.

– Мы не пропагандируем – мы изучаем язык, понятный всем народам. Прислушайтесь, господин офицер, и примите участие в наших занятиях.

– Язык, понятный всем народам? – бурчит офицер и прислушивается, убежденный, что понятное всем наро-дам тем более должно быть понятно полицейскому чиновнику… Запахи наших политических занятий беспокоят полицейские носы".

Мы знаем, что Ерошенко был человеком разносторонних интересов, глубоко интересовался физикой и математикой и позднее, уже на родине, преподавал эти предметы в Понетаевской школе слепых. М. Я. Безуглова отмечает в своих воспоминаниях, что ее муж, заведующий кафедрой философии, поражался эрудиции ее брата в философских вопросах.

Музыкант, литератор, педагог, Ерошенко, как говорилось, был еще и одаренным лингвистом, знатоком многих языков. Изучение языков для него было не самоцелью, а средством,

открывающим путь к культуре народа. Хорошо знакомый с иероглификой, он призывал к реформе китайской письменности, из-за сложности которой, как отмечал Лу Синь, большинство китайцев оставались неграмотными.

Китайский лингвист Ли Цзинь-си вспоминает выступление Ерошенко в Женском

педагогическом институте, русский писатель назвал "Миссия интеллектуалов". "Почему в стране с четырехсотмиллионным населением лишь незначительное меньшинство любит литературу? – спрашивал Ерошенко и продолжал: – Это удручающее обстоятельство легко объяснимо. Люди физического труда не имеют свободного времени для учения. Тем более у них нет времени на то, чтобы тратить бесполезные усилия на изучение сложной иероглифической письменности… Во всем мире нет другой такой национальной литературы, какой, к несчастью, является китайская, которая была бы полностью отделена от народных масс.

Сегодня нельзя сказать, что простые рабочие не испытывают интереса к литературе, – возможно, они ею как раз очень интересуются; но если не любят ее, то исключительно потому, что целый день вынуждены работать и у них нет времени и надежды на то, чтобы одолеть трудности, связанные с иероглифическим письмом.

Из-за того, что в Китае существует преграда в виде подобной письменности, ваша интеллигенция отделена не только от простого люда Европы и Америки, но и от своего собственного народа. Преграда эта прочнее древней Великой китайской стены и таит в себе значительно большую опасность, нежели феодальная дикость".

Мнение Ерошенко об усовершенствовании китайской письменности совпадало со взглядами Лу Синя, который был одним из активных борцов за реформу литературного языка.

Выступление Ерошенко за доступность языка для всех не было для него случайным: в Китае, так же как в Бирме, а потом – на Чукотке и в Туркмении, он ратовал за то, чтобы простые люди (а в их числе и слепые) в совершенстве овладели родным языком – умели и читать, и писать (он сам создал брайлевский алфавит для туркмен).

Но вместе с тем писатель предупреждал, что это лишь начало – нужно изучать и те языки, на которых говорят в других странах. Вот почему он пропагандировал в Бирме английский язык, преподавал его в Москве и в Кушке и всюду, где только мог, обучал людей эсперанто.

(10) Лу Синь преподавал эсперанто в Пекинском

университете и Женском педагогическом институте с декабря 1923 г., т. е. уже после отъезда Ерошенко из Китая.

(11) Русская секция при Пекинском университет была создана в 1920 г. Однако из-за языковых трудностей (в китайских школах русский язык не изучали и студентам приходилось осваивать одно-временно и литературу и язык) число слушателей колебалось от 15 до 50 человек.

(12) Лекция "Женский вопрос в новейшей русской литературе" впервые была прочитана В. Ерошенко перед студентками женского пединститута в японском городе Мито. Четыре статьи об Андрееве, по свидетельству советского китаеведа М. Е. Шнейдера, были про-диктованы Ерошенко на эсперанто и опубликованы в приложениях к китайским газетам "Миньбао", "Цзюэу" и "Чэньбао фуцзюань" в 1923 – 1924 гг.

(13) Оценивая отношение Лу Синя к некоторым рассказам Л. Андреева, В. Петров писал: "Лу Синю импонировал протест Андреева против равнодушия к человеческой личности… тем не ме-нее он никогда не закрывал глаза на слабые стороны его дарования" (В. Петров. Лу Синь. Очерк жизни и творчества. М., 1960, с. 336).

"Утиная комедия"

Несмотря на активное участие в общественной жизни страны, Ерошенко в Пекине было грустно и одиноко. Он стремился домой и, как заметил Лу Синь, постоянно тосковал по Советской России. К тому же слепой изгнанник все время с симпатией вспоминал Японию. По сравнению с Японией Китай казался ему бесплодной пустыней.

Однажды Чжоу Цзо-жэнь спросил гостя:

– Если представится возможность, поедете ли вы снова в Японию?

– Мне хотелось бы этого, только ведь такое никогда не случится, – грустно ответил Ерошенко.

Чжоу Цзо-жэнь обратился за советом к Лу Синю:

– Ты понимаешь, отчего Эро-сан всегда такой печальный? Мне кажется, он просто не может найти общий язык со своими студентами. Но что мы можем поделать?

– Дело не только в этом, – ответил Лу Синь. – Эро-сан оказался здесь без дела, близкого его сердцу, которое захватило бы его целиком. У нас ведь нет организованного

социалистического движения, как в Японии… Я вообще не знаю, брат, сможем ли мы чем-то помочь нашему печальному гостю.

Вот таким, грустным и тоскующим, изобразил Лу Синь своего русского друга в новелле "Утиная комедия".

Однажды, вспоминал автор новеллы, он вошел в комнату к Ерошенко. Гость рассказал ему о своем путешествии в Бирму и пожаловался:

" – Как тихо, как тихо, точно в пустыне!.. В Пекине даже лягушки не квакают…

– Нет, квакают! – ответил Лу Синь. – Летом, после больших дождей, здесь можно услышать кваканье лягушек. Они водятся в каждой канаве, а канав в Пекине много.

– Вот как! – удивился Ерошенко".

Ерошенко купил головастиков и пустил их резвиться в пруду посреди двора.

Вскоре после этого ребята сказали ему, что у "лягушкиных сыновей" выросли лапки.

Прошло несколько дней, Ерошенко купил славные желтых утят. Их пустили в тот же пруд.

Как-то раз, когда Ерошенко возвращался домой, к подбежал самый маленький мальчик.

– Эротинко (так произносили малыши его фамилию) – пролепетал он, – пропали лягушкины дети. Вслед за тем и взрослые подтвердили, что утята склевали лягушат.

А когда с утят сошел желтый пух, – писал Лу Синь, – Ерошенко, затосковав по матушке-России, поспешно уехал в Читу… Скоро зима, а от Ерошенко нет вестей. Где-то он теперь, я так и не знаю… Остались только его четыре утки, они крякают, как в пустыне: "Я!.. Я!.."".

Почему же Ерошенко, уроженцу деревни, в Пекине было так одиноко? И почему он не жаловался на тишину ни в Лондоне, ни в Москве, ни в Токио, ни даже в тихом, провинциальном Моулмейне? Ерошенко так ответил на этот вопрос: "Есть большой и шумный Пекин. Но мой Пекин – скромный и тихий… Люди моего Пекина – простые и честные труженики. В этом городе, среди молчаливых людей сердце мое немного успокаивается. Но, увы, оно не может быть совсем спокойным и, должно быть, никогда не сможет.

Ночью, когда я один, мне тоскливо. Я зову сон, но он не идет ко мне. И хотя мой Пекин спит, но это не тот город, который располагает к безмятежному сну. Мне не снятся здесь красивые сны. Даже те, что снились когда-то, я в Пекине позабыл…

Вспоминая Москву и Токио – театры и концерты, собрания социалистов, я горько вздыхаю. Я думаю о том времени, когда

обнимал друзей, и мы вместе мечтали вырвать общество, государство, человечество из рук богачей и убийц, вырастить сад свободы на земле.

Уныние охватывает меня. Иногда я кладу у своей постели часы, чтобы в их мерных ударах услышать голоса далеких друзей. И тогда начинает казаться, что все возможно!"

Нет, не тишина угнетала русского скитальца, его терзало одиночество – он тосковал здесь по родной Москве и по любимому им Токио, недаром же названия этих далеких городов писатель ставит рядом в своих воспоминаниях.

Пекин кажется ему пустыней, потому что сюда не доходят голоса его русских и японских друзей. И если русский гость скучает по кваканью лягушек, то лишь оттого, что оно напоминает ему о милых сердцу краях!

Это хорошо понимал автор "Утиной комедии". Тоскуя по своему уехавшему другу, он проникается его чувствами, и кажется ему, что купленные Ерошенко утки кричат, словно в пустыне.

Новелла не зря названа "комедией". Автор предлагает нам уловить скрытый смысл своего произведения, а не ограничиться лишь восприятием его нехитрого сюжета: слепой разводит симпатичных лягушат, но их съедают не менее симпатичные утята. Комедия? Пожалуй. Смешная? Наоборот, – грустная. В аллегорической форме раскрыта подлинная трагедия ее главного героя, который мечтал о том, чтобы все люди любили друг друга…

Во вступительной статье к сказкам Ерошенко Лу Синь говорит о "трагедии художника". Он знал, что ожидает мечтателя, современного Дон-Кихота, проповедника всеобщей любви в обществе насилия и денег.

Обычно "Утиная комедия" анализируется европейскими литературоведами, в том числе и советскими, в совокупности с новеллой того же цикла "Кролики и кошка", в которой крольчата становятся жертвой кошки.

Милая кошка слопала симпатичных кроликов, симпатичные утята сожрали милых лягушат. Плохо же устроена жизнь, если одни существа должны поедать других, нужно как-то вмешаться в нее, изменить. "Взволнованно и с огорчением говорит Лу Синь о равнодушии, с кото-рым люди относятся к гибели живых существ, – пишет В. В. Петров. – Если все мирятся с тем, что слабые становятся жертвой сильных, что, кстати, было характерно и для Ерошенко, то Лу Синь реагирует иначе. Он готов встать на защиту беспомощных и бросает вызов природе и творцу, "который слишком необдуманно действует"" (14).

В. В. Петров отмечает бессилие наивного гуманизма героя "Утиной комедии" перед жестокими законами борьбы за существование. Исследователь замечает, что противоречие между поэзией мечты и прозой жизни заставляло Ерошенко глубоко тосковать. Писатель оказался утопистом: лягушки не разогнали тишины пустыни, а утята не смогли накормить всех голодных. Китайский критик Цай И идет еще дальше: он считает, что "Утиная комедия" не только "произведение в память о Ерошенко, но и критика его утопического социализма".

В этих замечаниях много верного. Но нетрудно заметить, что критик не отделяет героя "Утиной комедии" от реального человека и писателя Василия Ерошенко. Ведь новелла Лу Синя – это художественное произведение с присущим ему вымыслом и типизацией.

Со временем, после того, как стал известен прототип ее героя, "Утиную комедию" стали относить к жанру рассказа-воспоминания, или даже очерка. С этим не совсем согласен В. И. Семанов, который пишет: "Лу Синь говорит о кроликах, жаворонках, маленькой собачонке и т. д., но читатель не пройдет мимо очевидной аллегории – тем более, что сам автор намекает на возможность обобщений".

Рисуя образ героя, Лу Синь по своему обыкновению (эти особенности его письма отмечает В. И. Семанов) скупо, двумя-тремя штрихами набрасывает его портрет: "Ерошенко сидел, развалившись на кушетке, хмуря густые золотистые брови". Авторскую характеристику ("Поэт был слепым, но не был глухим") дополняет рассказ об отношении к Ерошенко детей, госпожи Чжун Ми, самого Лу Синя. Характер героя, как это принято у Лу Синя, не дается в развитии, он раскрывается обычно в одном эпизоде. Читатель сразу же попадает в гущу событий, автор не рассказывает о прошлой жизни и не рисует будущего своего героя. Все это делает "Утиную комедию" одной из типичных новелл Лу Синя, в которой, по мнению В. И. Семанова, отразилось новаторство писателя по отношению к предшествующей китайской литературе.

Вот почему герой новеллы – образ собирательный, типический, хотя и имеющий в своей основе близкий к нему реальный прототип. Автор сказок "Мудрец-Время", "Сердце Орла" и "Страна Мечты" не смирился с действительностью (как герой новеллы Лу Синя), – наоборот, он призывал народ разбить на куски каменных идолов, олицетворявших вредные традиции, силы зла, и выступить против угнетателей, призывал идти к свету, к солнцу – за могучими орлами. Он звал людей в выдуманную им Страну Радуги, но сам не знал туда пути. И в

этом была его трагедия.

Да, он считал, что мир устроен плохо, раз слабые становятся добычей сильных. Но от пассивного сетования, которое звучало в "Горе рыбки" и "Персиковом облаке", Ерошенко пришел к призыву испить последнюю горькую чашу страданий и "освободиться от ужасных тиранов" ("Чаша страданий"). Все сильнее звучат у него призывы к бунту, к революции.

Конечно, нередко произведения Ерошенко наивны, а порой и пессимистичны. Но и в самые тяжелые моменты жизни Ерошенко все же находил в себе силы и преодолевал такие настроения. Во многих сочинениях он высказывал твердую веру в то, что наступит время, когда на земле установится мир и не будет ни угнетателей, ни угнетенных. Именно за это его уважал и ценил Лу Синь.

Они были очень разные, китайский писатель и его русский друг, выросшие

разных странах, писавшие на разных языках. И вместе с тем их многое объединяло. Вот почему, когда Ерошенко уехал из Китая, Лу Синь почувствовал острую тоску, о которой он и поведал в "Утиной комедии".

(14) В. В. Петров разделяет точку зрения чешской исследовательницы Б. Кребсовой, по мнению которой Ерошенко считал, что "все в мире достойно любви". Они оба согласны с критиком Ван Ши-цзи-ном, писавшем о русском сказочнике: "Он готов любить всех, но общество, которое разрушает мир красивых фраз, не вызывало у него ненависти, а лишь порождало безысходный пессимизм".

Делались попытки сравнить позиции китайского писателя и его русского друга. Ван Ши-цзин писал: "Ерошенко любил уходить от людей, витать в воздухе. В идеале он любил все и всех, а в действительности – никого и ничего. Отсюда и неизбежно его горе, но только горе. Лу Синь же, напротив, чем больше любил, тем больше ненавидел. Между любовью и ненавистью у него лежит резкая грань. В такие эпохи… любовь неотделима от борьбы, которую вел Лу Синь". Мы полагаем, что творчество В. Ерошенко не дает материала для столь категоричных выводов.

Путешествие длиной в 20000 верст

Летом 1922 года Ерошенко покинул Пекин и отправился за десять тысяч верст – в Финляндию, на XIV Международный

конгресс эсперантистов. И хотя в списках делегатов его имя не значится, сам факт участия Ерошенко в конгрессе не вызывает сомнения: там его видели эстонские эсперантисты Хильда Дрезен и Хиллер Саха, это подтверждает и пекинский журнал "Ла верда люмо" (1923, N 1). На обложке журнала фотография с подписью: "Представитель Пекинской эсперанто-организации В. Ерошенко и японский делегат Нарита Сигео в Хельсинки, у зала, где происходит XIV Международный эсперанто-конгресс".

Как, однако, объяснить это путешествие с позиций житейской логики? Ведь путь от Пекина до Хельсинки и по нынешним временам нелегок (для слепого в особенности), а в те годы через Сибирь, лишь недавно освобожденную от интервентов, поезда ходили нерегулярно, кое-где еще орудовали банды. Чем был вызван этот интерес к конгрессу эсперантистов – одному из обычных совещаний, происходивших ежегодно? И почему в таком случае Ерошенко не остался на родине, по которой так тосковал, а возвратился в Китай, где ему было одиноко, как в пустыне?

Вопросы, вопросы. И нужно попытаться ответить на них, иначе мы не поймем логику жизни Ерошенко.

Приезд Ерошенко в Хельсинки одним интересом к занятиям эсперанто объяснить нельзя. Им двигало, по-видимому, страстное желание провозгласить идею братства простых людей мира перед лицом националистов всех мастей, в огромной степени виновных в только что закончившейся первой мировой войне.

Но побывав на XIV съезде эсперантистов, Ерошенко не мог не вернуться к тем, кто его туда послал – к своим китайским друзьям, к Лу Синю: ведь они ожидали вестей из Финляндии. К тому же Ерошенко обещал еще год поработать в русской секции Пекинского университета.

…Во второй половине июля 1922 года, поезд, шедший из Пекина через Харбин в Россию, остановился в Чите. Там, после таможенного досмотра и проверки документов, профессор Пекинского университета В. Я. Ерошенко покинул вагон для иностранцев, перебрался на крышу и, смешавшись с многочисленными пассажирами, осаждавшими тогда поезда, стал одним из тысяч слепцов, которые скитались по России. Рубил на остановках дрова для паровоза, вместе со всеми прятался в лесу от бандитов, пел песни у костра – он был у себя на родине.

М. Я. Безуглова писала, что брат ее вез из Китая целый чемодан гостинцев. Но когда дома, в Обуховке, чемодан открыли, там оказались лишь старые тряпки. Ерошенко сетовал: стоило ему уйти из вагона для иностранцев, как его обокрали. Потом успокоился и сказал:

– Нет, не жалею, что ушел. До чего же хорошо было на крыше

– вся Россия видна.

Однако на Родине Ерошенко не задержался – он хотел успеть к началу конгресса. В Хельсинки писатель приехал 8 августа 1922 года, как раз накануне открытия. Город встретил его неярким северным солнцем. Делегаты разных стран обменивались приветствиями, улыбками, значками. Ерошенко прислушивался к ним, пытаясь по выговору определить, кто из какой страны приехал. Вдруг он услышал эсперантскую речь с явным японским акцентом. Ерошенко окликнул незнакомца. Им оказался Нарита Сигео.

– Здравствуйте, товарищ, – сказал Нарита. – Я вас знаю, ведь вы тот самый Василий Ерошенко, которого наше правительство выгнало из Японии. Поверьте, мне больно говорить об этом. Как японцу, мне стыдно…

– Стоит ли вспоминать? Лучше расскажите, как поживают там мои друзья – Акита, Камитика, Сома.

– Что я могу сказать?! – грустно ответил Нарита. – Я ведь давно не был дома, в Японию мне тоже въезд воспрещен. (Коммунист Нарита Сигео находился в то время на подпольной работе по заданию Коминтерна.)

Ерошенко молча пожал ему руку. Во время конгресса они не расставались. Ерошенко знакомил Нарита Сигео со своими корреспондентами из Германии, Франции, Эстонии.

Делегаты жили в Хельсинки, словно на островке, вокруг звучала незнакомая им финская речь, и, отправляясь в город, они полностью зависели от помощи финских эсперантистов. И только Ерошенко, неплохо объяснявшийся по-фински и хорошо говоривший на распространенном в Финляндии шведском языке, не чувствовал здесь себя стесненным.

– Сколько же языков вы знаете? – спросил его как-то Нарита.

– Не могу сказать точно, то ли десять, то ли все двадцать, – ответил с улыбкой Ерошенко. – Выучить все нельзя – одной жизни не хватит. Как было бы хорошо, если бы каждый человек на земле знал еще один, кроме родного, вспомогательный международный язык эсперанто. Я думаю, что рано или поздно так и будет.

– Только – почему вспомогательный? – сказал На-рита. – Почему бы людям не выбрать тот, на котором говорит больше всего людей, например, английский, французский или немецкий?

– Позвольте спросить, почему тогда не китайский или японский? – Ерошенко постепенно распалялся – так всегда бывало, когда он начинал спорить. – Нет, милый Нарита, любой "великий" язык, который попытаются объявить международным, будет всеми народами объявлен агрессором. Ведь это же колонизаторы пытаются навязать угнетенным народам свои

языки. Хорошо сказал Владимир Ильич Ленин: "Ни одной привилегии ни для одной нации, ни для одного языка!" (14а)

Конгресс закружил русского писателя. Людям, пережившим трудные годы войны, голода, разрушений, хотелось отвлечься от тяжелых воспоминаний: устраивались вечера, концерты, веселые диспуты. Не пропускал их и Ерошенко.

Но все чаще, спрашивая о своих довоенных друзьях, он слышал в ответ: "Убит, умер от голода, пропал без вести". И ему становилось тоскливо: чего стоили все разглагольствования о "вечном мире", если миллионы простых людей разных стран загнали в окопы и заставили убивать друг друга! Конечно, он радовался, что разрушения и убийства позади, но это была какая-то грустная радость. Свое настроение он выразил в рассказе "День всеобщего мира", который прочитал делегатам после одного из заседаний конгресса.

"Мать с сыном стояли вверху, на балконе, на армию глядя, что маршем победным внизу проходила; и мать ликовала, что вот наступил день всеобщего мира. А сын ее плакал…

– Не плачь, дорогой мой; дитя, не печалься: война завершилась, прервались страданья людские. Взгляни же, как реют знамена! Не крылья ли это навеки над всею землей наступившего мира? Взгляни же на лица героев! Они не сулят ли покой долгожданный родине нашей усталой, всему человечеству не обещают ли отдых бессрочный от бесконечных страданий? В звуках ликующих маршей победных слышен триумф дорогих идеалов, в шелесте этих знамен – исполненье мечтаний поэтов, надежд благородных всех жителей мира. О братстве всеобщем, о равенстве всех, о свободе народов…

– Мама, не надо, прошу тебя, мама, умолкни… Меж" шелестящих победно знамен тех я вижу… Мама, вижу я руки, лишь руки брата родного… Их уже видел я в дрёме бессонной – они меня нежно так брали, ласково гладили щеки, волосы тихо трепали, любовно так обнимали… Мама, ведь не было видно его самого – только руки, что оторвало снарядом… Словно я в пропасть срывался… Проклятые сны, любимые руки!..

Гордые лица героев… Меж ними, мама, я вижу… Голову отца, голову только… Я уже видел ее в бессонные ночи, в дрёме ужасной… Мне улыбался отец и шутил так со мною; поцеловать мне его захотелось как прежде, а он…

О мама! Голову с шеи снял он руками, ее протянул мне для поцелуя, голову мне протянул он, что саблей срубили… О ужасные сны! О голова дорогая?..

Все так же шли строем победным герои.

– Ты бредишь, сыночек, не плачь же, дитя, не горюй! Гремит

героический марш, звучат победные трубы!

– Но, мама, послушай, сквозь радостный марш не слышны ли скорбные звуки, в песнях победных не слышится ль плач безутешный? Кто-то ведь плачет, кто-то тоскует. Кто бы? Послушай!

– Ты бредишь, сыночек, ну кто же заплачет в дни ликованья такого? Кто ж затоскует в дни всеобщего мира?

– Но мама, слушай… Ужели не слышишь?

– О да, я услышала – это любимец погибшего брата, наша собака. После смерти его скулит она и не ест. Заслышав победные марши, вспомнила, видно, она хозяина облик геройский… Давно я хотела, а нынче решила – пусть ее тут же застрелят: не может она без него, зачем же страдать понапрасну?..

– Послушай, о мама, в звуках ликующей песни слышу я скорбные крики: кто-то где-то страдает, кто-то кричит там от боли, несмотря ни на что – ни на величье победы, ни на праздник всеобщего мира…

– Ты бредишь, сыночек, это ведь лошадь отца, верный конь; геройские песни услышав, вспомнил хозяина он, погибшего нашего вспомнил… Давно я хотела, а нынче решила – пусть его тоже убьют: хозяина он не забыл, а негоже унылое ржанье в день великой победы, в праздник всеобщего мира…

– О, слушай же снова! Сквозь шелест победных знамен все мне слышны слезы и вздохи, послушай…

– Грезы больные, сыночек, не слышно мне плача; слышу я песню кукушки…

– Но, мама, о чем же кукушка тоскует в этот день великой победы?.. Смотри-ка, вон ивы, склонясь над рекою, тоже вздыхают; мама, о чем же ивы вздыхают в день всеобщего мира? Мама, пусть же охотник застрелит всех кукушек нашего леса: ведь не должно им плакать в дни великой победы; мама, скажи лесорубу, чтобы все ивы срубил он: им негоже склоняться и плакать в дни всеобщего мира; и прикажи же, о мама, чтоб и меня застрелили. Как не может собака жить без хозяина доле, как лошадь не хочет жить без хозяина – так и я не могу жить без брата, жить не хочу без отца я! Дай умереть мне с моими родными, дай же уснуть мне с любимыми вместе!.. А ты… Над океанами крови и слез, над морями страданий людских ты башню воздвигни из костей всех погибших; там водрузи ты знамена отчизны, играй победные марши, пой геройские песни и празднуй победу, ликуй в день всеобщего мира!..

Он плакал. Все уже стихло, герои прошли мимо, лишь издали еще слышались барабаны и звуки победной трубы. Опершись на перила балкона, он плакал, в руки спрятав лицо; молча, недвижно

смотрела она на него, и, казалось, она начала понимать, что за победу отчизны, за мир тот всеобщий миром ее же души заплатили.

Все было спокойно, замерла вдали дробь победных барабанов, растаяли в чистом воздухе звуки фанфар, все погрузилось в покой, только выла собака, лошадь сетовала на судьбу, а где-то стонала кукушка и, склонясь над рекой, грустили о чем-то ивы; опершись на перила балкона, он плакал, в руки спрятав лицо.

Безмолвно, недвижно смотрела она на него и, казалось, начала понимать, что такое мировая война, что такое всеобщий мир…"

Ерошенко закончил чтение. Взволнованный зал молчал. Но это молчание было для автора дороже любых оваций.

– Да, грустный рассказ, – сказал Нарита.

– Что-то невесело мне, Нарита-кун, – отозвался Ерошенко. – Живя на Востоке, я не мог представить себе по-настоящему, что такое война. Но вот я проехал через Россию, увидел, как много несчастий принесла война моему народу…

– Отсюда вы поедете домой? – спросил японец.

– Да, но ненадолго. Нужно возвращаться в Пекинский университет: я дал слово – там меня ждут студенты.

В конце августа 1922 года Ерошенко приехал в Москву и сразу же разыскал японского студента Вада, адрес которого ему дал Нарита. В институте, где учился японец, были каникулы. Он скучал, но из Москвы уехать не решался, так как не знал русского языка.

Едва познакомившись, Ерошенко предложил Вада поехать вместе с ним в Обуховку.

– Я буду вашими ушами, а вы – моими глазами. Согласны?

От Москвы до Обуховки 600 километров – сутки езды по тем временам. Но Ерошенко не спешил домой, он хотел насладиться встречей с родиной. Они прожили с Вада неделю на берегу Дона, в домике рыбака. Ерошенко много плавал и, уходя под воду, выныривал так далеко, что сердце выросшего в горах и боявшегося воды японца замирало от испуга. Несколько дней они провели в Ельце, а когда доехали до ближайшей к Обуховке станции Голофеевка, Ерошенко ни за что не согласился сесть на подводу. Он шел и шел вперед и пел, не чуя под собой ног. Впереди была его Обуховка.

Какой увидел Ерошенко свою страну после долгой разлуки? Об этом он рассказал сам в "Зимней сказке".

"Там как раз начиналась весенняя пора, которую люди моей страны всегда с таким нетерпением ждали. Все надеялись, что в

этом году весна будет более продолжительной, более теплой, чем когда-либо раньше. Вернувшись на родину, я, разумеется, решил непременно побывать в деревне, которую покинул десять лет назад. Пригревало солнце, но в деревне еще было холодновато. Природа здесь была уже расцвечена весенними красками, но на всем почему-то лежала печать неизъяснимого уныния. От тополиной рощи, которую так не любили жители деревни и так любил я, не осталось и следа. Глядя на равнинное место, где прежде была тополиная роща, я подумал: уж не превратилось ли снова это место в поле битвы людей со зверями, из которой на этот раз победителями вышли люди. Однако следов их победы я нигде обнаружить не мог".

Читателю, знакомому с символикой сказок Ерошенко, не трудно увидеть здесь и революцию (битву людей и зверей) и весну – провозвестницу новых времен. "Говорят, – писал он, – что сейчас в моей стране почти не осталось людей, которые бы страдали и плакали по ночам из-за невыносимых условий существования… Я хочу верить, что на моей родине действительно произошли чудесные перемены".

Новая жизнь постепенно приходила и в его родную деревню. И он всей душой тянулся к этому новому.

…А между тем по Обуховке распространился слух, что пришли туда слепой и "ходя" (15). Эта новость взбудоражила все население: крестьяне шли в дом Ерошенко, чтобы послушать своего односельчанина, который – подумать только, слепой! – объездил чуть ли не полмира. Иногда рассказы Василия дополнял Вада, что придавало им в глазах обуховцев особую достоверность.

– Так ты что же, и на человеке ездил? – спросил Ерошенко отец во время одной из таких бесед.

– Да что ты? – возразил Ерошенко. – Мы с рикшей ходили рядом, я по тротуару, а он по мостовой. Ходили и разговаривали. Так я выучился говорить по-китайски.

Однажды, когда гости разошлись, Иван, младший брат, начал разговор о том, что вот, мол, семья их не живет уже так, как раньше, отец лишился и лавки, и лошадей. Ерошенко резко его оборвал. Он был доволен, что Советская власть не посчитала его семью кулацкой, сохранила им и дом, и огород. Старшая сестра Пелагея работала в селе врачом, а младшая Мария – учительницей. За это семью Ерошенко уважали.

В середине октября Ерошенко сказал:

– Ну, отец, погостил я у вас – и будет. Пора и за дело. Поеду на год обратно в Китай – доучивать студентов. А через год по весне ждите – вернусь.

Провожало Ерошенко полсела. А вслед ему полетели письма,

с конвертами, надписанными рукою отца: "Китай. Пекин. Пекинский университет. Прохвесору Испиранта Василию Ерошенку".

Вспоминая это время, Ерошенко писал: "Я снова покинул свою родину и уехал за границу. Но и здесь у меня продолжало болеть сердце. Мне казалось, что в нем образовалась новая, еще более глубокая рана. Она становилась все глубже и глубже… О мое сердце! Что мне поделать с тобой?.."

(14а) В. И. Ленин. Рабочий класс и национальный вопрос. – Полное собрание сочинений. Т. 23, с. 150.

(15) Так в старое время в деревнях называли китайцев, разносивших по домам товары. Крестьяне, очевидно, приняли японца за китайца.

"Падающая башня"

Рано утром 4 ноября 1922 года, никого не предупредив, Ерошенко приехал в Пекин. Пешком добрался до дома Лу Синя и, к счастью, застал хозяина: чиновники министерства, где работал Лу Синь, в этот день бастовали.

Лу Синь так обрадовался возвращению друга, что не стал ему выговаривать за опоздание.

– Я ждал от вас телеграммы из Хельсинки, – сказал он.

– Извините меня, – тихо ответил Ерошенко. – Мне так хотелось остаться на родине, но я обещал вернуться – и вот я здесь.

– Это ничего, ничего, – успокоил его Лу Синь. – Вы, наверно, голодны с дороги, так присаживайтесь к столу и ешьте яичницу с рисом. Мы готовим ее по-крестьянски, как в моем родном Шаосинском уезде. Отведайте бобов, запеченных в тесте, – отличное лакомство.

Ерошенко чувствовал, что друг хочет сделать ему приятное, успокоить, ободрить. А между тем, как рассказал Лу Синь, дела в Пекинском университете шли неважно: на русском отделении из пятидесяти человек осталось только пятнадцать, да и на эсперантском потоке студентов поубавилось.

– Мне хотелось бы повидаться со своими слушателями, – сказал Ерошенко.

– В университете сейчас никого нет. Но встретить вы их можете: на 7 ноября назначена студенческая демонстрация. Только прошу вас, – Лу Синь взял руки друга в свои, – будьте

осторожны.

Студенты Пекина, выступавшие за безусловное признание Китаем Советской России, организовали демонстрацию по случаю пятой годовщины Октябрьской революции. Лу Синь понимал, что его русский друг, человек кипучей натуры, патриот, не останется в стороне.

На демонстрацию Ерошенко пошел вместе с профессором русской секции А. Ивиным. Когда они приблизились к зданию министерства иностранных дел, его уже осаждали толпы студентов. Здание было оцеплено полицейскими. Юноши и девушки угрожающе молчали.

– Я знаю, почему вы здесь, – сказал, обращаясь к ним префект полиции. – Каждый из вас получил деньги от большевиков.

– Вы много знаете, господин префект, – с достоинством ответил один из студентов. – А вот нам известно, что ваша сестра – любовница министра.

Толпа студентов дружно рассмеялась. Префекта с трибуны словно ветром сдуло.

– О чем шла речь? – спросил Ерошенко.

– Студенты, – пояснил А. Ивин, – вежливо… как бы это сказать… послали префекта куда подальше.

– Спросите их, почему они выступают за признание Советской России, – попросил Ерошенко.

Ивин отозвал одного из студентов и задал ему этот вопрос.

– Империалисты отдали Японии наш Шаньдун. А Ленин – вождь всех трудящихся. Теперь мы видим, кто нам друг, а кто враг.

Ерошенко радостно закивал головой.

Китайские власти строго запрещали любые собрания, где могли обсуждаться политические проблемы. Однако русский писатель и его товарищи нашли повод для встречи. 16 декабря 1922 года они сняли зал одной из гостиниц под, казалось бы, нейтральным предлогом – для празднования годовщины со дня рождения доктора Заменгофа, создателя эсперанто. Власти не стали чинить препятствий. А между тем здесь, в этом зале, прозвучали далеко не нейтральные речи.

Свое выступление Ерошенко начал с рассказа о жизненном пути Заменгофа. Потом остановился на его предсмертном письме к европейским дипломатам – об устройстве мира. Это дало повод сказать и о том, что гораздо больше волновало китайских слушателей, – о западных политиках, которые на своих конференциях делили Китай.

– Кто такие дипломаты, все эти Ллойд Джорджи и Клемансо? – спрашивал Ерошенко. – Разве в их профессию не входят ложь и

обман? Разве их цель не состоит в том, чтобы натравливать народы друг на друга? Не нужно быть политиком, чтобы понять: отношение великих держав к народам побежденных стран основано на грабеже. Не нужно быть философом, чтобы увидеть: гнет Англии в Индии, действия японских милитаристов в Корее и на Формозе – преступления против человечности, которые не простят будущие поколения. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать: империалистический грабеж, эксплуатация народов бедных стран непременно отзовутся кровавой революцией угнетенных. Чтобы понять это, вовсе не нужно быть коммунистом или социалистом – достаточно быть просто честным человеком… Так разве можно, зная это, предоставлять решение международных вопросов продажным дипломатам?..

После этого выступления перед широкой аудиторией у Ерошенко появилось много друзей вне стен университета. В ночь под новый, 1923 год, они пригласили его с собой на праздник. Колонны студентов, подняв над собой факелы, шагали по Пекину. И до самой зари звучала ерошенковская гитара, слышались революционные песни.

В январе начались, наконец, занятия. Каждое утро Ерошенко входил в трехэтажное здание у храма Машимяо недалеко от дворца императора Пу И и проходил по узким коридорам в библиотеку университета. Все было здесь таким же, как и год назад. Только сами студенты стали осторожнее. Иногда они предупреждали слепого учителя, что в зале сидит шпик. Часто приходил полицейский в форме. Тогда аудитория Ерошенко таяла, как снег весной, – не всякому хотелось оказаться на подозрении у властей.

Ерошенко чувствовал, что между ним и студентами вырастает стена. Он пытался сломать ее. Такой попыткой была, по-видимому, нашумевшая в свое время дискуссия о китайском театре в январе 1923 года.

В те годы в Китае зарождался театр европейского типа. Процесс этот был нелегкий – ведь в стране существовал только традиционный театр. Послушав драму Л. Н. Толстого "Власть тьмы" в постановке студентов Пекинского университета, Ерошенко подверг спектакль критике. Он писал, что исполнители превратили сцену в "базар, где торгуют рыбой". Этой постановке Ерошенко противопоставил спектакль женской труппы двух пекинских институтов: "Много шума из ничего" Шекспира.

Против Ерошенко выступил в печати некий Вэй Цзянь-гун. Свою статью он озаглавил "Не будем слепо следовать", намекая на физический недуг своего оппонента. Резкую отповедь дал ему Лу Синь. Вместе с тем китайский писатель отмечал, что статья

Ерошенко вряд ли будет доброжелательно принята студентами университета.

Тем временем обстановка в стране ухудшилась, реакция подняла голову. По приказу правителя Северного и Центрального Китая У Пэй-фу 7 февраля 1923 года солдаты стреляли в рабочих. Власти распускали слухи, что рабочих подбивают на выступления "красные агитаторы". Теперь оставаться в Китае Ерошенко было уже небезопасно. К тому же, не сумев защитить университет от грубого вмешательства властей, подал в отставку и покинул страну либеральный ректор Цай Юань-пэй. Ерошенко решил уехать на родину, не дожидаясь конца учебного года.

В дни зимних каникул он прощался с Китаем – посетил Ханчжоу и Шанхай. Весной уладил все формальности и окончательно собрался в путь. Он знал, что навсегда расстается с пленившим его некогда Востоком. Слишком долго жил он вдали от родины.

"Жизнь в этих теплых краях, казавшихся мне поначалу сказочно-прекрасными, – писал Ерошенко, – под конец утратила для меня всякую прелесть. Розовые мечты рассеялись, я был по горло сыт тешившими меня когда-то золотыми снами и иллюзиями, в свете которых в юности представлял себе эти страны. Тогда я решил вернуться назад на свою родину, откуда холод и мрак заставили меня когда-то бежать".

Перед отъездом Ерошенко написал стихи "Весенние мотивы", посвященные братьям Чжоу. В них – предчувствие свидания с родиной и горечь от расставания с друзьями. А 15 апреля Лу Синь записал в дневнике:

"Провел вечер в ресторане вместе с Ерошенко". Это были проводы русского друга.

В этот вечер, откликаясь на просьбы друзей, Ерошенко прочитал им на прощание свою сказку "Падающая башня", маленькое повествование о китайских Ромео и Джульетте.

…Некогда в далекой стране жили два помещика, которые называли себя Великий Светоч Юга и Негасимое Светило Севера. Они так ненавидели друг друга, что ни один из них даже не смотрел в сторону соседа…

У Светоча была прекрасная дочь, которую молва нарекла именем – Нежный Цветок Юга. Его северное сиятельство имел сына, чье имя было – Гордость Небес Севера. Дети ни разу не пожелали увидеть друг друга.

Юноша называл девушку "калекой юга", она его – "чудовищем севера".

Вскоре оба помещика умерли. Цветок Юга и Гордость Севера сделались владельцами своих имений. Однажды они нарушили

завет отцов и, одновременно подкравшись к забору, разделявшему их владения, увидели друг друга.

Девушка была прекрасна, и юноша полюбил ее. Она также влюбилась в красивого и мужественного соседа. Будь они детьми крестьян, они знали бы, как поступить. Но это были напыщенные богачи, и каждый из них решил сразить другого своим могуществом.

Цветок Юга построила величественный дворец, кото-рый народ назвал Сном Южных Ночей. Гордость Севера приказал разбить сад с фонтанами и прудами, куда смотрелись бы звезды. Его имение назвали Мечтой Севера.

Однако и этого им показалось мало. Каждый из них решил построить такую высокую башню, чтобы она была много выше, чем у соседа.

…А между тем годы шли. Как-то, стоя на вершине башни, Цветок Юга увидела падающую звезду. Ей показалось, что это ее возлюбленный. Она потянулась за звездой и упала с башни.

Странное дело, но и юноша увидел в этой звезде свою любимую и, желая приблизиться к звезде, рухнул вниз.

А на следующий день состоялись похороны. Прекрасные дворцы оказались нужными лишь затем, чтобы в их справили тризны.

"Я знаю, многие загубили жизнь так, как они. И я один из них. Я тоже возводил башню, годную лишь на то, чтобы с нее упасть. Я возводил дворцы. Я упал, меня покрыли руины. Но я остался жив. Знаете, почему? Потому что и дворцы и башню я возвел лишь в своих мечтах" (16).

Ерошенко закончил рассказ, положил гитару, под аккомпанемент которой читал сказку, и грустно улыбнулся. На глазах у Лу Синя были слезы: он понимал, что расстается с другом навсегда.

На следующий день Лу Синь записал в дневнике:

"Ерошенко уехал на родину". Но китайский писатель не забыл о своем русском друге. Упоминания о нем постоянно встречаются в его статьях и оканчиваются лишь в 1935 году, за год до смерти писателя.

Светлую память оставил "слепой русский поэт Ерошенко" у китайского народа.

(16) Написана в Шанхае в 1921 г.

Глава VII. НА РОДИНЕ (1923 – 1952)

Поездка на конгресс

Весной 1923 года Ерошенко по мандату Пекинской эсперанто-лиги отправился на очередной, XV Международный конгресс эсперантистов, который должен был состояться в августе в Нюрнберге. Университет предоставил ему отпуск. Но Лу Синь (как следует из его дневника) знал, что его друг уехал из Китая навсегда… (1)

В мае 1923 года Ерошенко снова в Москве. Там он узнал, что Анна Николаевна Шарапова, которая когда-то проводила его в первую дорогу, работает в подмосковном интернате для одаренных детей. Ерошенко поехал к ней. Воспитанник интерната Д. Л. Арманд (2) вспоминает об этой встрече: "Анна Николаевна представила нам Ерошенко как своего лучшего ученика. Вышел на сцену высокий худой человек, глаза закрыты, волосы подстрижены "под горшок" – обычный слепец, которых в ту пору было немало. Но вот он заговорил о своих путешествиях по Востоку и как-то сразу преобразился, стал напоминать сказочного Леля… Весь вечер он рассказывал нам о своих путешествиях.

Эта встреча сыграла большую роль в моей судьбе. Я думал: он, слепой, сумел объездить полмира, так неужели не смогу этого я, зрячий? И эсперанто, которому и его и меня обучила та же А. Н. Шарапова, будет мне в помощь. В этот вечер я решил стать географом".

А. Н. Шарапова много лет прожила в Швейцарии и хорошо знала положение слепых за рубежом.

– Было бы неплохо, если бы ты мог поехать в Европу и установить связь с европейскими слепыми, – сказала она Ерошенко. – В Париже недавно образовалась международная организация слепых, которая, однако, отказывается помогать незрячим России.

– Но кто же меня туда пошлет?

– Ты еще меня спрашиваешь?! А разве ты забыл, что в августе в Нюрнберге будет проводиться эсперанто-конгресс…

– А я как раз и собираюсь в Нюрнберг! – подтвердил Ерошенко.

– Что ж, значит, договорились… – улыбнулась в ответ Шарапова.

19 – 21 июля в Москве в клубе бывших политкаторжан

проходил учредительный съезд СЭСС – Союза эсперантистов советских стран (3). Здесь Ерошенко познакомился с Эрнестом Дрезеном, избранным президентом СЭСС, который вместе с товарищами отправлялся в Нюрнберг. Ерошенко присоединился к советской делегации, и на всем пути в Германию этот необычный "китаец" вызывал добродушные шутки наших эсперантистов. Настроение у Ерошенко было великолепное.

…В Нюрнберге Ерошенко встретил старых знакомых. Но поговорить с ними как следует не удалось: Ерошенко заседал в лингвистических комиссиях, выступал в концертах. Неожиданно обнаружил, что популярен. Даже открытку напечатали к конгрессу: идет по миру Ерошенко с мешком и гитарой за плечами.

Однажды к нему подошел незнакомый человек и сказал:

– Я вас знаю, вы – Ерошенко.

– Да, вы не ошиблись.

– А я Интс Чаче из Латвии. Работаю учителем в школе для слепых, хотя сам вижу хорошо. Я читал ваши сказки и стихи на эсперанто.

– Ну, что о них говорить, ведь известно, что литератор я неважный.

– О, как вы несправедливы к себе! Но я к вам по делу: мне поручили организовать международный конкурс поэтов. Неужели вы откажетесь? Многим бы хотелось услышать, как вы читаете свои стихи.

Ерошенко не заставил себя упрашивать. Он прочитал "Предсказание цыганки".

Барышня, дай погадаю,
Стой, красавица моя,
Лишь цыганка знает правду
Все расскажет, не тая.
Знаю я девичьи грезы,
Те, что в сердце прячешь ты.
Мне самой немало горя
Принесли мои мечты.
Веришь ты в свою фортуну
И что ты ей всех милей,
Что прекрасной и любимой
Будешь до окончанья дней…
Счастье вечным не бывает -
Не надейся, не ищи.
Все меняется, проходит,
Тонет, словно тень в ночи.

Мил изменит, друг покинет.
Страсть коварна, жизнь зла;
В сердце, где любовь пылала,
Остается лишь зола.
Все возьмет судьбина злая,
Унесет веселье прочь.
Я, цыганка, правду знаю,
Только как тебе помочь?
От измены и обмана
Не бывает ворожбы,
Нет на свете талисмана
Против горестной судьбы…

За эти стихи Ерошенко был удостоен на конгрессе международной премии.

Председатель жюри, венгерский поэт Кальман Калочай, сказал, что "приз получает не только поэзия, но и вся подвижническая жизнь Ерошенко". Зал встретил эти слова аплодисментами.

К тому времени Ерошенко сложился как самобытный поэт. В молодой литературе на эсперанто утвердились две тенденции. Первую представлял Кальман Калочай, автор теоретического труда "Путеводитель по Парнасу". Целью его поэзии было совершенствование языка, он экспериментировал, и стихи его зачастую были рассчитаны лишь на избранных. Ерошенко же развивал демократические традиции, старался писать понятно и доступно. Именно это имел в виду югославский литературовед Драго Краль, отмечавший, что стихи Ерошенко не находятся на уровне "поэзии Парнаса". Зато их понимали и заучивали наизусть читатели.

…В Нюрнберге Ерошенко познакомил слушателей с "Рассказами увядшего листка". Особенно любил он выступать с чтением своих сказок и стихов в клубах немецких эсперантистов, в которых бывал вместе с Интсом Чаче.

Из Нюрнберга он поехал в Лейпциг, на всемирно известную ярмарку.

Сопровождавший его Альфред фон Хайд вспоминает, как Ерошенко покупал вещи на ощупь и стремился представить себе окружающее, задавая ему, Хайду, вопросы. А после того как профессор Диттерле из Лейпцигского Эсперанто-института попросил всех гостей поделиться впечатлениями о ярмарке, выяснилось, что "наш слепой друг Ерошенко увидел много больше, чем все мы, зрячие".

Ерошенко продолжал удивлять друзей своей неуемной

энергией: то осматривал музей графики, то отправлялся на целый день в знаменитую Лейпцигскую библиотеку или же уезжал на озеро вместе с Мартой Бунге, в доме которой он поселился. А затем он отправился в Геттинген, где выдержал приемные экзамены в университет.

Интс Чаче также вспоминает, что сразу после Нюрнбергского конгресса он вместе с Ерошенко несколько недель путешествовал по Германии: Лейпциг, Геттинген, снова Лейпциг… Весной 1924 года Ерошенко приехал в Париж. Об этом мы узнаем из его статей "За что борются слепые за рубежом?" и "Под дубиной миллиардеров", где рассказывается о встречах с Ж. Ревератом, лидером всемирной организации слепых.

…Тысячи людей в разных странах оказывали материальную помощь рабочим и крестьянам России, пережившим разрушительную войну и голод. Ерошенко приехал в парижскую контору всемирного филантропического общества, которое помогало слепым. Однако уже в первом разговоре с Жоржем Ревератом он понял, что мир для этого общества ограничен лишь Америкой, Англией и Францией. Тогда русский слепой заявил, что не следует забывать и о такой стране, как Советский Союз, где слепых не меньше, чем в странах Запада.

– Да, да, к сожалению, Советская Россия существует, – цинично ответил Реверат. – Только напрасно вы надеетесь получить что-нибудь от нас для ваших слепых. Ведь среди них есть, наверно, и большевики. Неужели вы воображаете, что мы будем кормить красных?

– Извините, господин Реверат, вы, кажется, отлично различаете цвета. Теперь я понимаю, почему во главе вашего общества стоят зрячие. Когда они собирают деньги, из которых слепым передают лишь гроши, то кричат о помощи всему миру. А потом этот мир сужается до нескольких стран.

– У нас, на Западе, слепые работают, а не живут подаянием.

– То-то они устраивают демонстрации в Лондоне, Бухаресте, Вене… Да, я знаю, что благодаря разделению труда вы ставите слепых даже у конвейеров…

– Однако много ли можно получить от слепого?

– Вы, капиталисты, не гнушаетесь и малым. С миру по копейке – богачу на шубу.

Ерошенко писал: "Буржуазия держит в своих когтях пролетария не только тогда, когда он является доброкачественным товаром на рынке рабочей силы, но и тогда, когда рабочий в результате беспощадной эксплуатации выбит из колеи трудовой жизни и является инвалидом… К числу особенно "нежно опекаемых" буржуазия отнесла слепых…". Он считал, что

слепота, прежде всего, болезнь социальная, ибо ее, как правило, порождают тяжелые условия жизни и труда. Поэтому он отвергал буржуазную благотворительность. Конечно, слепому на Западе нужна государственная пенсия, такая же, какую он получает, например, в СССР. Но ведь капиталисты ничего даром не дают, поэтому слепые должны объединяться в самостоятельные союзы, где не будет опекунов – богачей и филантропов, этих "паразитов во имя человечности", как называл их Ерошенко.

Летом 1924 г. он поехал в Вену на Международный конгресс слепых, где под руководством Д. Крейца и старого лондонского знакомого Ерошенко В. Меррика была основана Универсальная ассоциация слепых эсперантистов.

Братство слепых, по замечанию И. Всеволодова и А. Никифорова, "виделось ему не каким-то обособленным союзом отверженных, а объединением равноценных членов человеческой семьи". Но как создать такой союз в мире, разделенном на нации и классы, Ерошенко не знал. Он, мечтатель и утопист, надеялся, что путем к такому объединению станет эсперанто.

Ерошенко возлагал большие надежды на Ассоциацию слепых эсперантистов.

– Как сделать, чтобы все слепые были братьями и никто из них не пытался нажиться за счет другого? – мечтательно спросил Ерошенко Меррика.

– А мы будем принимать в ассоциацию только ангелов, – улыбнулся мистер Меррик.

– Слепые ангелы – в этом что-то есть, – подхватил шутку Ерошенко.

Верность своим незрячим товарищам он пронес через всю жизнь. Сведения о нем можно обнаружить в брайлевских журналах чуть ли не за любой год. Там же он напечатал свои рассказы и сказки, которые лишь через несколько десятилетий стали известными его зрячим читателям.

(1) В книге участников XV Международного конгресса эсперантистов В. Ерошенко записан как представитель Китая – Bazilo Erosxenko (Pekino).

Живущая ныне в ГДР Марта Бунге писала автору книги, что во время конгресса в Нюрнберг пришла телеграмма из Пекинского Университета с предложением вернуться после конгресса в Китай (к телеграмме был приложен денежный перевод – оплата дорожных расходов).

(2) Д.Л.Арманд (1905 – 1976) – профессор, доктор географических наук, известный путешественник. В 1957 – 1958 гг. был в командировке в Китае. Рассказывал автору книги о большой популярности, которой пользовались в этой стране

сказки Ерошенко.

(3) СЭСС впоследствии был переименован в СЭСР – Союз эсперантистов советских республик. Союз проводил большую работу по интернациональному воспитанию трудящихся и налаживанию связей между пролетариями разных стран. В 1926 г. в Ленинграде состоялся всемирный съезд рабочих-эсперантистов, в котором принял участие В. Я. Ерошенко

.

Трудное возвращение

В сентябре 1924 года Ерошенко возвратился на родину. Советский пароход доставил его из Гамбурга в Ленинград. Но домой вернулся не известный писатель (сказки его знали только на Востоке), не путешественник, повидавший мир (рассказы о его странствиях хранили лишь японские и эсперантские журналы), а просто слепой человек, ничем не отличавшийся от других таких же, как он.

Прямо с парохода Ерошенко заехал к товарищам в артель "Ослепленный воин". Слепые собрались послушать его в красном уголке, расспрашивали о путешествиях, о жизни на Востоке. О себе Ерошенко говорил мало, зато, как вспоминал Э. Галвин, охотно отвечал на деловые вопросы. Так, он обещал слепым выписать из Индии рисовый корень – отличное сырье для щеток, которые изготовляли в этой артели. – Чем вы собираетесь заняться в Москве? – спросил его Галвин.

Ерошенко только улыбнулся в ответ. Не мог же он сказать, что будет… изучать Японию. Три года, прошедших после его высылки из этой страны, он очень скучал по друзьям, от которых его оторвали. На родине он решил заняться работой, которая хоть как-то была бы связана с этой далекой страной.

Приехав в Москву и рассказав о своих хлопотах в Париже по делам советских слепых, Ерошенко вдруг услышал вопрос, от которого у него забилось сердце:

– А не знаете ли вы незрячего японца по имени Тории Токудзиро?

– Это мой друг. А что именно вас интересует?

– Вот его письмо и денежный перевод: слепые японские эсперантисты посылают 450 рублей своим советским товарищам. Спрашивают, какая помощь от них еще требуется… Дело, конечно, не только в деньгах. Но в то время, как лидеры западных

организаций для не-зрячих полностью игнорируют нужды наших слепых, японцы выразили свою солидарность с ними…

– Пожалуйста, если будет еще что-нибудь из Японии, сообщите мне, – сказал Ерошенко, поборов волнение. – Я помогу перевести, написать ответ. Вот мой адрес.

Он был уверен: это письмо из Японии не последнее. Ерошенко знал – раз друзья нашли его, значит вспомнят и еще раз. Он почти не удивился, когда, придя домой, обнаружил там бандероль: свои книги ("Песнь предутренней зари" и "Последний стон"), изданные в Японии три года назад, и сборник "Во имя человечества", вышедший в Токио в 1924 г. Ерошенко радостно улыбнулся: значит, там в Японии, его помнят, читают. Письма, горкой лежавшие рядом с пакетом, не оставляли в этом никакого сомнения. Знакомые и незнакомые японцы писали, что стараются не терять его из виду и надеются вновь увидеть его: ведь нормальные отношения между Японией и новой Россией, наконец, налаживаются. Акита писал о приезде в Токио первого советского посла, которого он приветствовал от имени друзей Советского Союза.

Среди писем Ерошенко нашел весточку и от рабочего коммуниста Осано (это был псевдоним Ватанабэ Масаноскэ – одного из лидеров молодой японской компартии). Ватанабэ беспокоился о Ерошенко, спрашивал, как тот привыкает к новой жизни, и сообщал, что напишет о нем Сэн Катаяма.

После этого письма Ерошенко ждал еще один приятный сюрприз: его пригласил к себе Сэн Катаяма. "Старик", как называли Сэн Катаяма друзья, сидел, как обычно, за пишущей машинкой. Он расспросил Ерошенко о его высылке из Японии, о товарищах, с которыми тот встречался (Катаяма они были известны только по переписке: вот уже много лет он не мог вернуться к себе в страну).

– Мне трудно овладеть русским языком, – сказал Катаяма, – не могли бы вы помочь на первых порах?

Ерошенко охотно согласился. Он заметил также, что может печатать на машинке по-русски, по-английски и еще на нескольких европейских языках.

В. Ерошенко вспоминал: "Сэн Катаяма помогал мне разобраться в классовой борьбе Японии того времени. Захватывающе интересно рассказывал он о своих встречах с Лениным. Я, в свою очередь, делал все, чтобы как можно больше перевести с русского языка на японский книг и брошюр, которые рассказывали правду о Советской России, выполнял много других поручений товарища Сэн Катаяма".

После первых же встреч они подружились. Однажды Катаяма

нашел Ерошенко слушающим граммофон – звучали японские стихи. За окном шумела Москва, а сюда, в комнату, казалось, вошла Япония.

– А я вам принес добрую весть, – сказал Катаяма. – Из Японии приехала группа наших товарищей. Они будут заниматься в КУТВе.

КУТВ – Коммунистический университет трудящихся Востока – был партийной школой, где посланцы советских республик Востока и стран зарубежной Азии знакомились с трудами К. Маркса и В. И. Ленина, изучали революционную теорию.

Об этих событиях вспоминал полвека спустя японский коммунист Касуга Сёдзиро. Девять молодых рабочих по одному тайно выбрались из Японии и, достигнув Шанхая, на советском пароходе отправились во Владивосток. Добравшись, наконец, до Москвы, они горели желанием начать занятия в КУТВе. Но русского языка не знали, а переводчика с японского в университете не оказалось. И вот тогда, писал Касуга Сёдзиро, "мы вспомнили о Ерошенко… Не случайно именно его имя всплыло в нашей памяти: он был широко известен в прогрессивных кругах Японии и, вероятно, все социалисты и коммунисты знали его лично или слышали о нем. Была еще одна причина, почему мы хотели работать именно с ним: он был открытым человеком, быстро сходился с людьми, любил общаться… с рабочими. Мы обратились к руководству университета с просьбой разыскать Ерошенко… И вот однажды, в очень радостный для нас день, Василий Ерошенко появился на пороге нашей комнаты…"

За четыре года, что они не виделись, Ерошенко мало изменился: он был таким же, каким привыкли видеть его в Японии, – немного грустный, но, как всегда, энергичный. Разумеется, он согласился быть переводчиком. Не расставался он с друзьями и после занятий.

Ерошенко не просто переводил и обучал японских товарищей; он знакомил их с Россией – знакомил с русскими семьями, водил в театры. Один из его учеников вспоминал, как они вместе были в опере; Ерошенко, возбужденный спектаклем, много аплодировал и кричал "браво", что скупым на выражение эмоций японцам казалось довольно странным.

Отпуск они проводили вместе. Так, летом 1925 года Ерошенко вместе со студентами отдыхал на даче КУТВ под Москвой, в Малаховке. Их домик утопал в лесу, и учитель, счастливый тем, что жил в местах, напоминавших ему Обуховку, рассказывал друзьям о деревьях, которые различал по шороху листвы.

Прогулки перемежались у Ерошенко с занятиями. Когда его ученики отдыхали где-нибудь на полянке, он просил кого-либо из них почитать вслух "Правду", при этом постоянно поправляя произношение. "Ерошенко, – отмечал Касуга Сёдзиро, – помог нам изучить русский язык – язык Ленина".

Однажды японские коммунисты спросили Ерошенко, как тот относится к Советской власти. Этот вопрос был не случайным: когда в 1919 году Ерошенко вынужден был вернуться в Японию, кое-кто из недоброжелателей поговаривал, что вот, мол, Эро-сан не едет на родину, потому что в чем-то не согласен с большевиками…

"Несколько минут, – вспоминал Касуга Сёдзиро, – он молча ходил по комнате, нагнув голову. Потом крепко сжал мою руку и сказал:

– Я уверен, что советское правительство – лучшее из тех, которые правили нашей страной за всю историю. Я полностью за большевиков. Более того, я считаю, что поддерживать их – прямой долг всех нас, рабочих и крестьян. Никто, кроме большевиков, не способен привести народ к новой жизни, к свету…".

Часто японские товарищи собирались в гостинице у Сэн Катаяма, приходил сюда и Ерошенко. Он брал в руки гитару, и тогда в номере, откуда обычно слышался лишь стук машинки, звучали русские и японские песни.

Касуга Сёдзиро писал: "…Есть еще память сердца, которую не выразить словами. И вот когда я пишу эти строки, перед моими глазами предстает высокий человек с русыми волосами, лицо его грустно, и, кажется, вот-вот раскроются его лучистые глаза. Он нетерпеливо стучит тростью. Я вспоминаю его голос, высокий, чуть женский, я словно слышу его правильную ясную речь. Дорогой Эро-сан!.. Юноша из далекого 1925 года приветствует тебя. И милые дни той далекой поры всплывают один за другим из глубин любящего тебя сердца".

…Весной 1927 года ученики Ерошенко, окончив КУТВ, возвратились домой, на партийную работу. С их отъездом прервалась связь слепого писателя с Японией – новой группе японских коммунистов выбраться из страны не удалось. Ерошенко оставил преподавательскую работу и занялся переводами на японский язык трудов В. И. Ленина и материалов съездов партии. Для него самого работа эта оказалась очень полезной. Учительница Ф. Бурцева, познакомившаяся позднее с Ерошенко, вспоминала, что он знал наизусть целые страницы из книг В. И. Ленина и мастерски использовал свои знания в пропагандистской работе.

Пока Ерошенко жил на Востоке, в России произошли большие перемены. Он приехал в новую, по сути, еще неизвестную ему страну. Мечтатель, поэт, – он представлял, что социализм расцветет в одну ночь (как цветок Справедливости из его сказки). Столкнувшись с суровой революционной действительностью, он растерялся, так как не сразу смог найти свое место в этой новой жизни.

Друзья в далекой Японии тревожились о нем. Так, в 1930 году Хираока Нобуру писал: "По слухам, Эро-сан принял участие в строительстве нового общества. У меня это вызывает сомнение: Эро-сан слепой, к тому же сентиментальный фантазер. Во всем ощущается его личность искалеченного ребенка… Я смотрю на судьбу Ерошенко сквозь призму его книги "Стон одинокой души"". По мнению Хираока, Ерошенко – это большой наивный ребенок, который должен жить в собственном мире.

Однако на деле Ерошенко всегда тянулся к людям. Сочиняя свои сказки, он как бы строил дорогу из тьмы в царство солнца. Все свои творения слепой писатель создавал во имя мечты, нередко неясной, но всегда зовущей к лучшей жизни. И он не жаловался, если рушились построенные им воздушные замки и приходилось больно ударяться о землю, а вновь возводил радужный мост между мечтой и жизнью. Его судьба сложилась парадоксально. Русский человек, он пробовал сочинять на родном языке, но почему-то именно по-русски писалось трудно, возникали какие-то экзотические образы, которые не удавалось выразить. А может, он был просто слишком строг к себе?..

Некоторые из своих сказок Ерошенко перевел на русский язык, показал молодому слепому писателю В. Рязанцеву. Тот привел Ерошенко на знаменитые "никитинские субботники". У Евдоксии Федоровны Никитиной был не только салон, где собирались известные писатели, актеры, художники, но и своего рода музей; в нем хранились рукописи, картины, скульптуры. Хозяйка позволила Ерошенко потрогать экспонаты.

"Он мне сказал тогда: "Спасибо, вот я и увидел ваш музей", – рассказывала автору Евдоксия Федоровна Никитина в 1970 году. – После этого он часто бывал у нас. Особенно нравились ему выступления актеров. Однажды разгорелся спор между А. Я. Таировым и В. Э. Мейерхольдом о спектакле "Горе уму" в постановке Мейерхольда. Ерошенко был на стороне Таирова, ему не нравилось, когда на сцене появлялись герои в красных, зеленых и синих париках" (4). "Слепец, – вспоминал В. Першин, –

вступал в спор сидя, но постепенно распаляясь, вставал и, заканчивая речь, пританцовывал, обрушивая на противника яростные доводы. У Мейерхольда как-то вырвалось: "Господи, да что может увидеть слепой?". Ерошенко нагнул голову и серьезно ответил: "А он может заметить то, что видно не всякому зрячему"".

Иногда Ерошенко читал свои сказки. "После одного такого чтения; – говорила Никитина, – мы приняли его в наше литературное объединение. Его рекомендовали В. Рязанцев, Ф. Шоев и я. Одна его сказка, кажется, называлась "Грушевое дерево"".

Сейчас, читая эту сказку в переводе, с трудом представляешь себе, что она была написана по-японски. В ней рассказывается о том, как к трем братьям, не имевшим ничего, кроме грушевого дерева, явился странник, которого каждый из братьев накормил плодами своего дерева. В благодарность волшебник подарил одному из братьев винный завод, другому бесчисленные стада коров, а третьему красивую добрую жену (ничего другого тот брать не хотел). Богатство испортило двух старших братьев, и когда к ним снова пришел странник, они отказались его накормить. Приют и кров волшебник нашел в доме бедняков – младшего брата и его доброй жены. Старик одарил добрых людей, превратив их лачугу во дворец, а старших братьев наказал за жадность, оставив им лишь грушевое дерево.

"Грушевое дерево" имеет подзаголовок – "сербская сказка". Пожалуй, впервые слепой сказочник обратился к фольклору славянского, а не восточного народа. Но пересказал он сказку по-японски. Содержание здесь как бы спорит с формой: славянские персонажи выступают в японских одеждах. Автор, как ни странно, остается в плену поэтических образов Востока даже в славянской сказке.

Возникает вопрос: русский или японский писатель Василий Ерошенко? Такасуги Итиро писал, например:

"Ерошенко числится в ряду японских писателей. В Японии вышли три его книги… продиктованные им по-японски Акита Удзяку и еще двум литераторам. Он был признан как поэт и принят в японском литературном мире. Ему уделено место в "Энциклопедии современной японской литературы" издательства Синдайся".

К этому можно добавить, что сказки Ерошенко вошли в многотомник "Библиотека японской детской литературы", выпущенный издательством Каведа Сёбо в 1953 году, и в сборник рассказов, опубликованный в том же году университетом Синдзуоки. Его произведения, по мнению Хираока и некоторых

других литературоведов, имеют неоспоримое значение для японской пролетарской литературы. Хираока подчеркивает и значение Ерошенко как "создателя классических произведений на языке эсперанто".

Так значит ли это, что соотечественники Ерошенко тоже должны считать его японским писателем (5)? Однако нельзя забывать и о том, что Ерошенко приехал в Японию сложившимся двадцатичетырехлетним человеком. В своих произведениях он изображал Восток с позиций русского человека, оказавшегося за рубежом. Отсюда и тема родины, звучащая во многих его сказках. К тому же он создавал свои произведения не только по-японски, а также на эсперанто и по-русски. Не случайно Лу Синь называл его: "слепой русский поэт Ерошенко" и не раз говорил друзьям о его широкой, как степь, русской душе.

И все же судьба Ерошенко-писателя сложилась парадоксально – русский человек, творивший на чужих языках, которые стали для него родными… Академик Н. И. Конрад в одной из бесед заметил, что все написанное Ерошенко по-русски кажется переведенным с восточных языков. Отмечая, что он ближе любого другого русского писателя по своему стилю к восточной прозе, ученый говорил, что именно поэтому манера письма Ерошенко может показаться его соотечественникам упрощенной, сентиментальной и даже менторской. Этим Н. И. Конрад объяснял тот факт, что слепой писатель не стал у себя на родине столь же популярным, как в Японии или в Китае (6).

Итак, пути в русскую литературу Ерошенко пока не нашел. Он должен был снова, уже в который раз, искать новую дорогу в жизни. А это было непросто: ведь ему исполнилось тридцать семь лет. И снова судьба оказалась милостивой к нему: в 1927 году в Москву приехал Акита Удзяку, – об этом Ерошенко мог только мечтать.

Поезд еще только подходил к Ярославскому вокзалу, а Акита уже заметил на платформе высокую фигуру своего друга. "Эро-сан!" – крикнул он. Ерошенко вздрогнул. Через минуту он оказался в объятьях друга.

– Здравствуй, малыш! Все-таки приехал. Не сон ли – это? Не могу в это поверить!

– Это я, Эро-сан, я!

Вокзал был украшен красными флагами. На платформе играл оркестр. Сотни людей встречали делегации, приехавшие на празднование десятилетия Великого Октября. У Акита перехватило дыхание: наконец он среди своих.

– Ты помнишь, ты, конечно, помнишь? – повторял он.

Ерошенко кивнул: да, он хорошо помнил ту демонстрацию в Японии 1 мая 1921 года, когда они шли в колонне под красным знаменем, пробиваясь сквозь оцепления полиции. Здесь все было иначе, ибо люди, несущие знамена, были веселы и свободны.

На следующий день Акита и Ерошенко встретились на гостевых трибунах Красной площади (7). Сдерживая волнение, японец описывал другу все, что видел вокруг себя, – парад, демонстрацию, ликование сотен тысяч людей.

– А знаешь, почему я взял такой странный псевдоним – "Удзяку" (8)? – спросил Акита, когда они возвращались с Красной площади. – Однажды после дождя я увидел воробышка. И он показался мне символом незаслуженно обиженного слабого существа. У Льва Толстого есть великая мысль, что если злые люди объединяются, то добрые должны сделать то же самое, и они будут непобедимы, так как добрых – больше. Вот я и занимаюсь тем, что помогаю им объединиться. Конечно, делаю я немного, да и сил у меня не больше, чем у "удзяку" – воробышка.

– А ты не скромничаешь, милый Акита-сан? Ерошенко приготовил Акита сюрприз: в руках он держал последний номер "Информационного бюллетеня ВОКС" (9); на обложке журнала портрет японского писателя, а в журнале – статья о его приезде в СССР. Увидев журнал, Акита покраснел, смутился, он не мог даже представить себе, что его скромную работу так высоко оценили. В статье с похвалой говорилось о созданном Акита Японо-советском литературно-художественном обществе, объединившем писателей – друзей СССР, о его последней пьесе "Два солнца", защищавшей принципы революции. "В лице Акита Удзяку, – писал журнал, – трудящиеся Советского Союза имеют одного из самых чистых, самых искренних и самых преданных друзей".

– Спасибо, – сказал Акита. – Мои предки были айны – смелые и настойчивые люди. Я тоже, если что-то задумаю, никогда не отступаю. Идея о дружбе наших двух народов появилась у меня не вчера. – Ерошенко кивнул, он помнил повесть Акита "Первая заря" и его пьесу "Похороненная весна", написанные еще до революции о России; в них звучал призыв к дружбе между русскими и японцами. – А сейчас я хочу написать книгу о новой России, – продолжал Акита, – и ты, Эро-сан, Должен поближе познакомить меня со своей страной. Как это говорят русские, "долг платежом красен".

– О, да ты уже, можно сказать, хорошо знаешь наш язык.

– Немного, совсем немного… – засмущался Акита. В конце года они отправились в поездку по стране. " Ленинграде, Нижнем Новгороде, Минске и Казани Акита рассказывал о Японии, Ерошенко переводил. Акита много писал о нашей стране,

показывая наброски своему русскому другу. В 1929 году в Японии вышел сборник очерков Акита "Молодая Советская Россия", в которых он (одним из первых среди японских писателей и журналистов) рассказал о строительстве социализма в СССР.

Ерошенко же во время этих поездок ничего не писал. Акита, привыкшему, что его друг в Японии то и дело что-то записывал, это показалось странным.

– Ты что же, больше не сочиняешь сказок? – спросил он.

– Чтобы писать, я должен попасть в новый, необычный для меня мир – такой, каким была для меня, например, Япония, – ответил Ерошенко.

– И что же ты надумал?

– Я бы хотел поехать на Север, но пока не знаю – куда именно.

Распрощались они летом 1928 года. И, как оказалось, – навсегда. Ерошенко не знал, где Акита, в тюрьме или на свободе – ведь друг его был профессиональным революционером; в 1946 году Акита стал членом Коммунистической партии Японии.

(4) Об этом писал также В. Першин.

(5) Два советских востоковеда замечают: "Ерошенко сегодня объективно скорее писатель японский и китайский, нежели русский… видимо, жизнь Ерошенко делится на несколько весьма различных этапов, из которых этап японский – это этап писательский" (И. Всеволодов, А. Никифоров. Настоящая радуга. М., 1973, с. 125). Но эти строки написаны до того, как стали известны новые произведения Ерошенко, созданные на родине.

(6) Сведения И. Всеволодова и А. Никифорова почерпнуты из бесед с академиком Н. И. Конрадом, который был хорошо знаком с творчеством В. Ерошенко.

(7) Об этом событии Акита писал: "Тридцать лет я уже знаю Россию по литературе и десять лет как неустанно думаю о Москве. Но разве я когда-нибудь предполагал, что буду в Красной столице накануне великого юбилея советской власти? Не хочу говорить напыщенно, но новая Москва – Москва всего человечества". (8) Удзяку – букв. "мокрый воробей".

(9) ВОКС – Всесоюзное общество культурных связей с зарубежными странами.

Здравствуй, Филипп Онкудимов!

Прохладным июньским днем 1929 года пароход "Астрахань"

отошел от причала владивостокского порта и, выйдя из бухты Золотой Рог, взял курс на северо-восток, к проливу Лаперуза. Путь предстоял далекий – мимо Курильских островов на Камчатку, оттуда к устью реки Анадырь, и еще дальше на север, до самой кромки полярных льдов, к мысу Дежнева.

Отчего не сиделось Ерошенко дома? Что опять влекло его, незрячего, в дальние края? Почему он отправился теперь на Чукотку, в один из самых холодных краев нашей планеты? "Я, кажется, махну на Колыму, а потом в Якутск", – говорил Ерошенко своему товарищу, слепому писателю Ф. Шоеву. Собравшись на скорую руку, он тут же уехал. "Охота к перемене мест" была для Ерошенко естественной, органичной: ощутить, вобрать в себя новый, неведомый мир – значило для него, слепого, то же, что для зрячего – увидеть его.

Мысль об этом путешествии зародилась у Ерошенко еще в Обуховке, где он гостил, как обычно, весной. Мать как-то пожаловалась ему, что нет вестей от Александра – как уехал на Чукотку, так словно в воду канул. Жена брата, Галина, услышав эти слова свекрови, прижала к себе детей и заголосила по мужу, как по покойнику.

Василий стал ее успокаивать, сказал, что разыщет брата среди чукчей, и вдруг замолчал, покоренный самой этой идеей – уехать на край света, на Чукотку. И вот Ерошенко на палубе корабля, идущего на Чукотку. Но поездка к брату, стремление помочь слепым чукчам – все это было лишь одной из нескольких, но не единственной причиной столь далекого путешествия. О мотивах своего решения сам писатель рассказал в цикле очерков "Из жизни чукчей", написанных в 30-х годах на эсперанто (10).

"Чем больше разбухают города-гиганты, тем меньше становится в них человек, – писал Ерошенко. – Наконец он делается таким обыкновенным и тривиальным, маленькой букашкой, жизнью и смертью которой уже не интересуется никто… Все иначе в арктической тундре на северо-востоке Азии. Несмотря на то, что чукчей всего двенадцать тысяч и живут они небольшими группами за сотни верст друг от друга, на Чукотке умеют ценить человека. Чукча интересуется своим соседом, близким или далеким, из своего племени или из чужого. Всегда готовый прийти на помощь, он стремится узнать жизнь обитателей тундры во всех подробностях и даже гордится таким знанием.

Так, я еще был за сотни миль от Чукотки, а там уже, казалось, знали обо мне все. И о том, что я еду к ним навестить своего брата, ветеринара Чукотской культбазы, и о том, что брат мой был тогда в тундре. И чукчи сообщили ему о моем прибытии

быстрее, чем это смогли бы сделать все радиостанции Севера. Чукчи с энтузиазмом рассказывали Саше, что я, слепой, обыграл в шахматы на корабле всех зрячих, что я посетил много стран, но стремлюсь в никому не известную страну Эсперантиду; что я знаю много языков и среди них даже "американский", но больше всего мне нравится международный язык эсперанто; что я повидал много народов, но больше всего полюбил их – чукчей, луораветланов…".

По пути на Чукотку пароход бросил якорь недалеко от Анадыря, который в 1929 году был уже не малым по северным масштабам городом с населением в тысячу человек. Расположен он в устье могучей реки, от которой и получил свое название. Ерошенко приехал туда в самую страду: из океана в устье Анадыри на нерест шла кета.

Стоял долгий полярный день – тот самый, что год кормит. Ерошенко решил познакомиться с жизнью в этих краях. Вместе со своим новым приятелем, анадырцем, он отправился на лов кеты.

Ерошенко не случайно остановился в Анадыре. Еще на пароходе он узнал, что в этом городке живет слепой юноша по имени Филипп Онкудимов. И вот сейчас, присматриваясь к жизни рыболовов, Ерошенко хотел узнать, а может ли вместе с ними работать незрячий. Он расспрашивал рыбаков о Филиппе, которого все на Анадыре хорошо знали. Но, странное дело, никто не считал Филиппа слепым. Конечно, рыбаки замечали, что у Онкудимова не все благополучно со зрением, и сам он жаловался, что какая-то пелена с каждым днем все плотнее застилает ему глаза. Однако ни родные, ни соседи не считали, что это дает парню право уклоняться от работы.

Но Филипп видел все хуже и хуже. Наконец, он обратился за помощью к русскому священнику. Тот дал ему святой воды и масла из лампады, висевшей перед главной иконой в маленькой бедной церкви.

– Молись Христу, – посоветовал священник, – богоматери и святым. Целуй иконы.

И Филипп молился, веря в чудесное исцеление. Но иконы вовсе не собирались совершать чуда. Да и сам священник едва ли ожидал от икон чудес: они были такие старые и прокопченные. И все-таки Филипп продолжал надеяться: ведь он совсем плохо видел.

– Если бы ты мог отправиться в Россию! – вздыхал священник. – Тогда, конечно, ты бы исцелился. Там есть очень чудотворные иконы: они не гниют, как наши, а покоятся в ризах, украшенные золотом и каменьями…

Друзья-язычники посоветовали Филиппу наказать иконы

розгами. Но он не стал этого делать: слишком уж жалкими казались ему эти черные доски. Тогда он пошел к шаману. Тот бил в бубен и толковал о "келе" (11). Но не помог Филиппу ни шаман с бубном, ни принесенный в жертву олень. И тогда Филипп пошел за помощью к русским. Они посоветовали ему поехать в Россию: там, во Владивостоке и еще дальше – в Москве есть необыкновенные доктора, которые лечат глаза, они-то ему непременно помогут.

Но для поездки в Россию нужны были деньги, много денег. И Филипп решил их заработать. Многочисленные родственники и друзья охотно шли Филиппу навстречу, уступая ему самые выгодные для ловли места, приглашая в прибыльные рыболовные артели. И Филипп хорошо зарабатывал. Но все его деньги, замечает Ерошенко, "как-то сами собой просачивались сквозь пальцы, просеивались сквозь многочисленные карманы родичей". К началу новой рыболовной кампании Филипп всегда оставался без денег. Его охотно приглашали в артель: Филиппа уважали – работал он за десятерых.

В 1929 году, когда Ерошенко приехал в Анадырь, Филипп было совсем уже собрался в Россию. Но тут он узнал, что у них, на Анадыре, появился слепой из Москвы. Это и смутило и напугало незрячего чукчу.

Едва Ерошенко появился среди рыбаков, как к нему подбежал какой-то юноша. Это был Филипп.

" – Ты, мальце, из Москвы?

– Из Москвы.

– Из самой настоящей?

– Из самой настоящей.

– И слепой?

– Слепой.

– А правда ли говорят, что у вас там есть доктор, который лецит только глаза?

– Лечит всякому, но не всякому вылечивает.

– А мне, мозет вылецить?

– Может и это случиться.

– А что делают слепые в Москве?

– Работают на фабриках, заводах, в артелях. Он не понял: фабрики и заводы были для него непонятные слова. Он испугался и шепотом спросил:

– А рыбу ловят?

– Некоторые ловят удочками.

– Удоцками не годится, надо неводом в артели.

– Ну, прощай, мальце!

– Прощай".

Филиппа позвали работать… Встретил он Ерошенко радостно, а уходил грустный и подавленный. Обо что-то споткнулся, что-то перевернул. Весь день потом ему не везло – он упустил сеть, поскользнулся в лодке и упал в воду, а когда сушился у костра, сел так близко к огню, что у него загорелись штаны. Сначала он рассердился, а потом тихо заплакал. В этот день и ему самому, и всем вокруг стало ясно, что он слепой.

(10) Слепой педагог из Кисловодска А. Масенко разыскал эти произведения в журналах для незрячих и вместе с А. Панковым перепечатал на эсперанто. Очерк "Филипп Онкудимов" был напечатан по-русски в журнале "Жизнь слепых" (1930, N 7 – 8).

(11) Келе – по чукотскому поверью, легендарное злое существо, обитающее у Ледовитого океана.

Фатальная мудрость

На Чукотскую культурную базу (по местному "кульбач") Ерошенко приехал в конце июля 1929 года. Всего за год до этого ее основала группа энтузиастов во главе с Тихоном Семушкиным, ставшим впоследствии известным писателем. На краю света, у самого Берингова пролива, Ерошенко нашел настоящий культурный центр: больницу, школу, факторию, ветеринарный пункт – одиннадцать домов вдоль единственной улицы, которую назвали Ленинским проспектом.

Приехав на "кульбач", Ерошенко попросил одного из помощников брата подробнее рассказать о базе, показать все пути и тропки, ведущие как к морю, так и в тундру. Вечером он уже один свободно гулял по "кульбачу", лишь иногда нащупывая себе путь палкой. Чукчам это казалось чуть ли не сверхъестественным. Глядя ему вслед, они в замешательстве повторяли:

– Какомэй, какомэй (12). Так и стали называть его в тундре. Чукчи наблюдали за необычным слепцом, а тот искал случая узнать их поближе. Вот как он писал об этом в очерке "Шахматная задача":

"Немногие чукчи жили на самой базе или вблизи от нее, но они часто приезжали туда – то в больницу, то в факторию, то в школу к своим детям; ведь ребенок – это божество тундры, вокруг которого сосредоточена вся ее жизнь. Нередко чукчи появлялись на базе и просто так – проветриться, поразвлечься, увидеть гостей и чужестранцев.

Боязливые, как оленята, и любопытные, как полярные

лисицы, они бродили группами по нашим общежитиям и квартирам, всем интересуясь, ничего не оставляя без внимания. Скромные и вежливые, чукчи осматривали фотографии и картины, знакомились с нашими шкафами и чемоданами, с удивлением заглядывая во все углы комнаты и ощупывая каждый предмет. И хотя они многим восхищались, в наших комнатах ничего не пропадало: чукчи – исключительно честные люди.

В столовой они подолгу пристально рассматривали нас, наблюдали, кто как ест и пьет. У них очень развито чувство юмора, – они беззлобно потешались над тем, что находили смешным. И Тундра нередко знала о каждом из нас такие подробности, о которых мы сами и не подозревали".

Ерошенко нравилась такая жизнь – в открытую, на людях. Свою комнату он никогда не запирал и радовался, когда, придя домой, находил там нового гостя. Особенно полюбился ему смышленый чукотский юноша Нерултенг. Вместе со своим младшим братом Таурулкотлом Нерултенг обучал Василия Яковлевича чукотскому языку, учил его ориентироваться в тундре.

Как-то юноша спросил русского гостя, знает ли он, как чукчи сами себя называют. Ерошенко отрицательно покачал головой.

– Так вот, – сказал Нерултенг, – мы называем себя лиги-оравилли, что означает "настоящие люди". Остальных же мы называем просто людьми.

Ерошенко сдержанно улыбнулся: ему не нравилось, когда какой-либо народ считал себя исключительным, особым. Но чукчи так мало знали о других племенах, народах, расах…

– Почему Какомэй улыбнулся? Он мне не верит? Разве он сомневается, что мы – лиги-оравилли?

– Ты прав, друг мой, – сказал Ерошенко. – В таких суровых условиях могут жить только настоящие люди. Но ты должен узнать и о жизни других народов. Обо всем этом написано в книгах.

С этого дня Нерултенг, хорошо знавший русский язык, стал читателем походной ерошенковской библиотеки. Как-то раз он попросил у Ерошенко книгу о Севере, и тот дал Нерултенгу томик Джека Лондона. Прочитав очередной рассказ, юноша приходил и спрашивал, правда ли все, что в нем рассказано. Ерошенко отвечал, что Джек Лондон – настоящий писатель и ему можно верить.

– Золото, кровь, убийства – зачем все это, Какомэй? Ведь в тундре всем хватит места?

Нерултенг не мог поверить ни Джеку Лондону, ни слепому писателю. Ерошенко не думал, что книга об американском Севере

так потрясет молодого чукчу.

Нерултенг захотел узнать о жизни людей и в других цивилизованных странах. Ему попалась на глаза книга о первой мировой войне 1914 – 1918 годов. Он взял ее, ничего не сказав Ерошенко, – видимо, в книге его привлекли иллюстрации из фронтовой жизни.

Однажды Ерошенко застал юношу у себя. Тот сидел с подавленным видом, держа в руках книгу. В его голосе слышались отчаяние и боль.

– Вероятно, вы, европейцы, умные, очень умные, намного умнее нас, – сказал он Ерошенко. – Вы придумали охотничье ружье, моторную лодку, граммофон и тысячи других полезных вещей. Все это прекрасно, многое из этого пригодилось и нам, и за это тундра говорит вам спасибо и восхищается вами. Но вы придумали и такое, что убивает не одного человека, а сразу многих людей. – Нерултенг раскрыл страницу с изображением пулемета. – Вот этой машины достаточно, чтобы убить весь наш народ, все население тундры. Разве мы можем ею восхищаться? А вы этим, кажется, гордитесь. Давным-давно, когда мы были еще дикарями, мы тоже убивали друг друга. Правда, без этих приспособлений. Но те времена прошли, теперь среди нас вы не услышите об убийствах. Кто же глупее, мы или вы? Нет, все-таки мы – настоящие люди, лиги-оравилли. Ерошенко обнял Нерултенга и сказал:

– Мальчик мой, ты видишь, я слепой. Я не различаю цвета и не знаю у кого – желтая, а у кого – белая кожа. Я объездил мир, дружил с японцами, бирманцами, индийцами и могу тебе сказать – цвет кожи еще ни о чем не говорит. Никогда не верь, мой мальчик, что одни народы лучше других. Хорошо, что здесь в тундре живут мирные люди. И плохо, что людям в других краях приходится убивать друг друга. Все войны до сих пор велись простыми людьми по указке богатых и за их интересы.

– Но почему же они не отказывались убивать друг друга?

– Потому что не было такой страны, которой не нужна война, не нужны чужие земли. А когда появилось первое в мире государство рабочих и крестьян, буржуи послали против него свои армии, пулеметы, пушки. И рабочим пришлось тоже взять в руки оружие… Скажи, хорошо иметь ружье, если на тебя напал волк? А если волчья стая, тут ведь не откажешься и от пулемета, не так ли? Ерошенко трудно было понять, согласился ли с ним юноша – тот молчал. На прощанье Василий сказал:

– Приходи вечером в кино – сам все увидишь. Перед началом сеанса Ерошенко произнес небольшую речь. Он говорил, что мир разделен на два враждебных лагеря, которые объявили друг другу

беспощадную войну; что враги ненавидят нашу страну и каждый может стать невольной жертвой этой ненависти даже здесь, в тундре.

– Быть может, – сказал он, – фильм, который мы вам сейчас покажем, поможет каждому осознать эту всемирную опасность.

Кинокартина началась с эпизодов гражданской войны. На экране отряды Красной Армии шли в атаку на последний, неприступный бастион контрреволюции. Белые бомбили их, обстреливали с кораблей. Красноармейцы погибали, но в строй становились новые бойцы. Вот появилась кавалерия. Ерошенко заиграл на гитаре "Марш Буденного". В зале кто-то крикнул "Ура!".

В этот момент Нерултенг вскочил. Схватив Ерошенко за руку, он громко закричал:

– Это невероятно! Невозможно!

От неожиданности Василий выронил гитару.

После этого случая Нерултенга словно подменили: он перестал смеяться, шутить, вид у него был всегда какой-то печальный. Ерошенко замечал состояние молодого друга, но думал: молодо-зелено – пройдет. Как он ошибся!

Однажды к Ерошенко пришел Таурулкотл и шепотом сообщил:

– Мой брат сошел с ума. Он сидит все время у моря, грустный, и не хочет ни с кем говорить. Но самое главное… он бросил в море ту самую книгу… которая про Север. О, Какомэй, не ругайте его! Я вам дам за нее все, что захотите – мех белого медведя, тюленью куртку, нарты…

А через день ужасной силы взрыв потряс базу. Мимо окон с криком и шумом мчались люди. Выбежав на улицу, Ерошенко схватил за локоть Таурулкотла. Мальчик плакал и причитал по-чукотски. Василий понял: произошло непоправимое.

– Говори по-русски! Говори по-русски! Я не понимаю тебя, говори по-русски!

– Нерултенг… бомба… больница…

Василий обомлел. Медленно побрел он к больнице, передвигая одеревеневшие ноги. Поднялся на второй этаж. Сестра встала у двери, сказала, что доктор не велел никого пускать. Ерошенко молча отодвинул ее в сторону. Нерултенг узнал его шаги и закричал:

– Какомэй, Какомэй! За что они ослепили меня?

– Кто, Нерултенг, кто ослепил тебя?

– Ваши цивилизованные, по-европейски воспитанные люди, которые выдумали эти бомбы.

Что мог ответить своему другу Ерошенко? Какие найти слова,

чтобы тот все понял? Теперь Нерултенг не верил всем "таньга" – белым. А на следующий день в больницу пришли чукчи, и, не обращая внимания на медсестру и врача, унесли больного в тундру.

Узнав это, Ерошенко растерялся. Он хотел увидеть Нерултенга, помочь ему, но не знал, доверяет ли тот ему теперь. Но вот к Ерошенко пришел Таурулкотл и сказал, что брат его почти здоров, только в него словно вселился какой-то бешеный келе: Нерултенг рассорился с друзьями, выгнал из яранги родителей, а его, Таурулкотла, бьет.

– Помоги нам, Какомэй, – попросил чукча. Ерошенко отправился в ярангу к юноше. Нерултенг, услышав шаги Василия, как-то сразу успокоился, взял его за руку и сказал, что благодаря снадобьям и травам раны его почти зажили, только… он уже никогда не сможет видеть.

– По чукотскому обычаю очень старый или больной человек, – сказал Нерултенг, – может сам, по собственному желанию покинуть Тундру живых и уйти наверх, в Тундру мертвых. Зачем быть в тягость другим?.. – Он помолчал. – Хороший обычай, не правда ли?

Ерошенко не отвечал; он не сразу понял, куда клонит юноша. Но Нерултенг принял его молчание за согласие.

– Однако наложить на себя руки нельзя: это – грех, плохо. Такую услугу человеку оказывает тот, кого он больше всех любит. И тот, кто очень любит его, – сказал Нерултенг, многозначительно пожимая руку друга.

И тут Ерошенко понял, к чему клонит его приятель. Он вздрогнул, словно по его телу прошел электрический ток, и закричал:

– Ты не смеешь, не смеешь просить меня об этом. Нерултенг! Я не хочу и не могу этого сделать!

– О, Какомэй, – запричитал Таурулкотл,- – скажи моему брату, что я сам сделаю это ради него. Неужели не я люблю его больше всех на свете?

Но Нерултенг не слушал его и, обращаясь к Ерошенко, продолжал.

– Зачем ты кричишь? Зачем волнуешься так, Како-мэй? Давай обсудим все спокойно… Это ведь всего лишь дружеская услуга.

– Но ведь это – убийство. – Ерошенко говорил взволнованно, торопливо… – Я сам слепой и знаю – незрячий может жить, трудиться, иметь друзей. Я увезу тебя в Москву, ты будешь работать, у тебя будут жена, дети. Ты еще найдешь свое счастье. Не опускай руки, брат мой!

– Скажи мне, о Какомэй, скажи откровенно, как брат брату и

слепой слепому – ты живешь и работаешь в Москве и ты счастлив, да?.. Скажи тогда, почему ты один?

– Почему я один… – как эхо повторил Ерошенко. – Тебе я отвечу на этот вопрос… Я много путешествовал по Востоку, был в Японии, Индии, Китае. Обо всем, что увидел там, что пережил, я написал в своих сказках. Сказки эти были подобны воздушному замку, уходящему в небеса. И замок этот рухнул – я упал, но не разбился, потому что воздушные замки существуют только в воображении…

Не знаю, Неруптенг, понял ли ты меня. В Европе жил когда-то один добрый человек, чудесный сказочник. Так вот он сказал такие слова: "Я заплатил за свои сказки большую, я бы сказал, непомерную цену. Я отказался ради них от своего счастья и пропустил то время, когда воображение, несмотря на всю свою силу и весь блеск, должно было уступить место действительности. Умейте же владеть воображением и для счастья людей и для своего счастья, а не для печали". А я не сумел и, как он, тоже пропустил свое счастье, свою любовь. Поэтому мне часто бывает грустно…

Но я знаю, есть люди, с которыми я мог быть счастливым. У меня были друзья, но мне рано или поздно приходилось с ними расставаться. И все-таки я всегда буду стремиться к ним.

– Вот почему ты оставил Москву, бродишь по миру, приехал сюда, на край света? Ладно, можешь не отвечать – мне и так все ясно…

Ерошенко собрался уходить. Прощаясь, Неруптенг был весел и даже рассмеялся, впервые с того дня, как ослеп. Ерошенко обнял его и зашагал к базе.

Нужно было что-то предпринять. О своем разговоре с юношей Ерошенко рассказал начальнику базы Тихону Семушкину. На следующий день тот созвал общее собрание работников базы. На нем было решено на общественный счет послать Неруптенга лечиться в Москву. Но вечером к Ерошенко прибежал Таурулкотл и сказал, что его брат покончил с собой по чукотскому обычаю. Для того, чтобы узнать, был ли он хорошим человеком, труп его положили на вершине холма и спустили собак. Труп плохого человека они бы есть не стали, и тогда чукчи, чертыхаясь, долбили бы мерзлую землю, чтобы положить в нее тело. Но тут собаки понеслись на холм, как дьяволы, разорвали тело слепого, и все узнали, что Неруптенг был очень хорошим человеком.

Смерть юного друга потрясла Ерошенко. Он размышлял о том, что же собственно погубило способного юношу. Чрезмерная впечатлительность? А может, знакомство с так называемым цивилизованным миром, с убийствами и кровью, которые вдруг

неожиданно вошли в жизнь чукчей? Но как добиться того, спрашивал себя Ерошенко, чтобы чукчи, познавая плоды культуры, не вкусили и их горечи?

Однако тогда он еще не мог ответить на этот вопрос. Ерошенко не представлял всей сложности жизни тогдашней Чукотки, народ которой готовился к невиданному переходу из эпохи первобытного общества в социализм. Ему казалось, что цивилизация и чукчи – две вещи несовместимые. Ему нравились "люди, для которых холод был стихией, океан – нивой, а ледяная равнина – поприщем жизни, вечные борцы с природой, тело которых было закалено как сталь… воины, привыкшие считать естественную смерть постылой и бессильную старость – наказанием судьбы, которую следует сокращать добрым ударом ножа или копья".

Эти слова известного исследователя Севера В. Богораза-Тана появились тогда в записной книжке Ерошенко. А рядом с ними – белые стихи, названные им "Чукотская элегия".

"…Все спит под сияющим небом – и я, и земля, и море. Но, чу – раздался выстрел! И от горя крякнули утки. И от боли заплакала чайка. И каркнул от радости ворон – злая черная птица. Не спишь ты, жестокость людская. Под солнцем нежится море, во сне что-то шепчет тундра. Усни же, жестокость людская!

Но сел комар мне на руку, сосет меня деловито. Не может он жить без крови. Без крови не могут и люди. Об этом ты каркаешь, ворон? Ты – злая черная птица.

Я трогаю камни у моря, что были скалой когда-то, что станут со временем пылью и вдаль унесутся с ветром.

Мы все во прах обратимся – я сам, и моя собака, а с ней и моя байдара… Об этом ты каркаешь ворон? Ты – злая черная птица…".

(12) Какомэй – "диво", "чудо" (чукот.).

Кейгин – Черный Медведь

Минуло лето. Наступила долгая полярная ночь. Ерошенко чувствовал, как на него навалилась тьма, и ему, как двум бабочкам из сказки "На берегу", хотелось остановить заходящее солнце.

Но на этот раз солнце и впрямь зашло надолго, Ерошенко казалось – навсегда. На сердце у него было тяжело: он все время думал о своем безвременно погибшем друге, о смерти, которую так и не смог предотвратить. Что значили его опыт, ум перед

вековечной мудростью тундры? "Слепой ведет других к солнцу! Не правда ли, смешно?" – говорил он себе.

От этих дум не отвлек его даже приезд брата Александра. Рассказав о домашних делах и узнав, что тот опять не собирается в отпуск, Ерошенко больше не говорил с ним на эту тему. Обычно Василий у себя в комнате что-то писал, нередко к нему заходили чукчи, и между ними начинался оживленный разговор.

Однажды он спросил брата:

– Ты встречал слепых в тундре?

– Да, и не раз.

Василий оживился:

– И что же они там делают?

– То же, что и другие. Вот Кейгин, к примеру, мастерит самые лучшие в этих краях нарты.

– Он что, родился слепым?

– Да.

– Но как же ему при рождении сохранили жизнь? Ведь по законам тундры он должен был умереть.

– И все же Кейгин остался жить, – сказал Александр, и поведал брату историю об оленеводе Умке и о его слепом сыне, Кейгине.

…В нашем северном краю от маленькой Калучинской бухты до большой реки Колымы, от мыса Рыркарпий (13) и до бухты Провидения – все вокруг хорошо знают оленевода Умку. В хозяйстве его уйма оленей, "клитку-клитку, нет таузенд" (14). Живет он с семьей в просторной яранге, где в пологе (15) из медвежьих шкур в глиняном сосуде всегда горит тюлений жир. Но безрадостно в доме Умки: четырех жен имеет богатый оленевод, однако нет у него ни сына, ни дочери. Печалится Умка, грустят его жены. Каждый вечер садятся они у входа в ярангу, бьют в бубен и напевают печальную песню: "Много еды в нашем доме, вдоволь и русского чая и американского табака. Но некому отведать это вместе с нами. Приходи же, гость, к нам, приходи скорей, мы так тебя ждем!"

Там, вдали, где кончается Тундра живых, начинается другая страна – Тундра мертвых. Их разделяет страшное бездонное озеро вечности. Сторожит его неумолимая и безжалостная старуха, еще более древняя, чем сама тундра. Каждую вновь преставившуюся чукчанку она вопрошает: "Оставила ли ты хоть одного ребенка там, в Тундре живых?". Если женщина отвечает "да", старуха пропускает ее в Тундру мертвых, к родственникам и друзьям усопшей, которые продолжают жить все вместе и на том свете. Но горе той, которая вынуждена ответить "нет": грозный страж бросает ее в страшное озеро и лишает загробной жизни.

Все это хорошо знает каждая чукчанка и, конечно же, все четыре жены Умки – Белого Медведя. И горе их неутешно, потому что ни у одной из них нет ребенка.

…Наступил осенний праздник молодого оленя. Кочевники-оленеводы перегнали свои стада ближе к морю, а поморы пошли навстречу оленеводам, нагрузившись рыбой, мукой, порохом – всем тем, без чего не может жить человек в тундре. Началась торговля, обмен, а закончив торговать, забили они молодых оленей и устроили пир. Во всех ярангах было много гостей, но ни у кого не собралось их так много, как у Умки, потому что оленей у него тьма-тьмущая, "клитку-клитку, нет – таузенд".

Вот, окруженный восторженными взглядами гостей, Умка приближается к своему стаду. За поясом у него – нож, в руке – аркан. Сейчас петля упадет на рога того оленя, которому суждено умереть, – такова воля неба, выбор судьбы. Но Умка – хороший хозяин, и он помогает судьбе, чтобы она не сделала неверного выбора.

Уверенный взмах руки… Но что это? Роковая петля опутала рога красивого и грациозного олененка. Обрадованные гости закричали: "Тот, кого выбрало небо, сейчас умрет!" Но что случилось с Умкой, почему он вдруг задрожал? "Обреченный на смерть, должен умереть". Зачем они орут? Умка не хуже их знает законы тундры. Но почему выбор пал на его любимца: молодой олененок так прекрасен и силен… Небо ошиблось, подумал хозяин стада. Обреченный олененок подошел к Умке и уткнулся головой в его колени, словно понимая, что ему предстоит сейчас умереть. Умка медлил, но кто-то вложил в его руку нож. Нож выпал из безвольной руки. Все знали, что этот олененок был для Умки словно родной сын.

"Неужели обреченный на смерть не умрет?" – зашипела тундра. Кто-то снова вложил нож в руку Умки. Хозяин поднял глаза к небу и проговорил слова привычной молитвы: "О ты, живущий на небеси, взгляни на грешную землю. Знай, я убиваю этого олененка не потому, что жажду его смерти. Таков закон тундры и выбор судьбы. Но я молю тебя – пошли мне другого оленя взамен этого, убитого моей рукой".

И Умка ударил ножом в самое сердце своего сына-оленя. Тот безмолвно рухнул у ног хозяина. И здесь все услышали крик: это выл и катался по земле сам Умка – Белый Медведь. Напрасно пьяные гости кричали ему прямо в уши, что молитва его услышана небом – олень упал раной вверх, а это – хорошее предзнаменование, – Умка ничего не слышал. "Хозяин много выпил", – беззлобно шептала тундра.

Ровно девять месяцев минуло после того праздничного дня.

Была ночь. Тундра таинственно молчала. Пугливо прижимались друг к другу олени, замолкли колымские собаки. Все чего-то ждали. А в пологе, внутри яранги, боясь шелохнуться, сидели жены Умки. Сам хозяин был мрачнее тучи. У него родился сын. Сын его был слепой. Весть эта быстрее ветра облетела тундру. Все ждали – вот сейчас Умка стиснет пальцами горло слепого младенца и заставит его вернуться туда, откуда тот пришел – в вечность. И в самом деле, зачем незрячий сын оленеводу? Что делать слепому в тундре? Одно движение Умки, и тогда… Но, словно разбуженный голосом мальчика, Умка сказал: "Плитку (хватит), мой олененок". Потом обратился к той, которая подарила ему сына: "Возьми ребенка, ему суждено жить. А звать его будем Кейгин – Черный Медведь. Пусть он носит имя сильного и гордого зверя". Так началась жизнь маленького слепого "медвежонка", и тундра с любопытством начала следить за каждым шагом того, кому суждено было жить.

Слепой мальчик рос непросто. Казалось, всюду его подстерегали враги, даже в родной яранге. Жерди преграждали ему дорогу, огонь искал случая ожечь пальцы, чайник норовил ошпарить, а в мягких шкурах поджидали мальчика острые иглы. И Кейгин стал бояться всего и всех, даже верных колымских собак. Обычно слепой чукча лежал, закутавшись в шкуры, и плакал, и его четыре матери решили: видимо, тот, кому суждено жить, должен плакать.

Но Умка думал иначе. Оставив оленей под охраной собак и поручив хозяйство женам, Белый Медведь занялся воспитанием своего медвежонка. Умка объяснил Кейгину, что огонь не враг, наоборот, нет у человека в тундре лучшего друга, чем огонь. И кипящий чайник – верный товарищ в этом ледяном краю. Просто в обращении с ними нужна сноровка и осторожность. Тот, кому суждено жить, должен быть умелым и осторожным, сказал отец. И Умка научил сына разводить огонь, кипятить воду, ставить ярангу, развешивать в ней мясо и шкуры оленей – повыше, чтобы не дотянулись собаки. Он подружил мальчика с верными колымскими псами, научил узнавать их по лаю и на ощупь. А когда Кейгин подрос, отец показал ему, как обращаться с молотком, топором и шилом.

И мальчик понял, что человек в тундре должен окружить себя послушными ему вещами, оленями и собаками, и тогда он сможет жить в столь суровом краю. Уразумев это, Кейгин перестал плакать и научился смеяться.

Со временем отец научил Кейгина обрабатывать оленьи шкуры, выделывать из них ремни, а из жил животных – веревки. Он показал сыну, как мастерить чукотские нарты, чтобы они были

легкими и гибкими. А так как при их изготовлении приходится иметь дело не с железом, с разными там скобами и гвоздями, а только с деревом и кожей, то работа эта так понравилась слепому, что он отдавал ей все свое время и стал вскоре лучшим мастером во всей Чукотке. Так Черный Медведь нашел свое место в жизни. Тундра признала его, дала ему настоящее дело.

Шло время. Слепой мальчик стал высоким и красивым двадцатилетним юношей. Все хвалили его золотые руки. Однако Кейгин все больше становился хмурым, грустил, тосковал, а однажды сказал родной матери, что больше не хочет жить. И вновь на помощь сыну пришел Умка. Он сказал: "Тот, кому суждено жить, должен иметь жену". И снова, как в первый раз, поручив все дела женам, а оленей оставив под охраной верных собак, Умка занялся сыном. Он увез Кейгина к старому приятелю, который жил далеко, на берегу моря.

Приятель Умки был отцом юной красавицы Вингеут, на которой Белый Медведь решил женить своего сына.

По обычаю тундры жених, прежде чем получить согласие на свое предложение, должен несколько месяцев, а то и лет, жить и работать в доме будущего тестя. Вот почему Кейгин остался в яранге Вингеут. Он сразу же влюбился в юную красавицу (хотя и говорят, что для слепых, мол, не так уж важна внешняя красота).

Никогда еще Кейгин не работал так упорно и настойчиво, как в доме будущего тестя, – ведь его ждала великая награда. Но девушка не дарила юношу вниманием. И вот однажды Кейгин подкараулил свою любимую, как и требовал обычай, в самом темном углу яранги и спросил, прижимая ее руку к своему лицу, долго ли она еще будет мучить его и сжалится ли когда-нибудь над ним ее сердце.

Гордо рассмеялась в ответ красавица Вингеут и сказала:

– Возвращайся домой, Черный Медведь, не работай зря на моего отца: никогда я не стану женой слепого. Тот, кто не видит, никогда не станцует танец моржа, не станет каюром, не побежит на соревнованиях во время большого праздника в Уэллене, и никогда ему не выиграть первый приз – патефон или часы с музыкой…

Александр закончил рассказ. Его слепой брат сидел, глубоко погрузившись в свои думы. За окном завывала пурга, стояла длинная полярная ночь. А его ночь была бесконечной, она всегда оставалась с ним. О ком был этот рассказ, о Кейгине и Вингеут или о нем самом и его возлюбленной Камитика Итико? Чужая боль всегда была и его болью, и он решил как-то помочь слепому чукче – если это вообще было возможно.

Ерошенко вспоминал: "Я повстречался с Умкой и его сыном в

ноябре 1929 года… Они как раз возвращались домой после неудачного сватовства и заехали на Чукотскую культбазу, чтобы немного отдохнуть и накормить собак… И мы познакомились". Ерошенко стал рассказывать, как живут слепые в Москве, как они работают на заводах.

" – Да, на кой ляд им все это нужно? – перебил его Умка.

А Кейгин сказал:

– Скажи мне, Черному Медведю… – Голос его от волнения задрожал. – А могут ли московские слепые сплясать танец моржа?

– В Москве слепым не приходится плясать танец моржа, – ответил он Кейгину. – У нас девушка выходит замуж за того, кто лучше работает. Впрочем, я уверен, что если бы нашим девушкам понравился танец моржа, московские слепые наверняка бы научились его танцевать.

– И у них это получилось бы? – спросил Кейгин.

– Можешь не сомневаться.

Черный Медведь улыбнулся. Быть может, это была его первая улыбка после разговора с Вингеут. А Умка обрадованно сказал:

– Ты прав, московский товарищ. И я тебе скажу:

Кейгин научится танцевать танец моржа. Я сам займусь с ним. И еще: он будет бегать так же быстро, как любой юноша-чукча, и станет отличным каюром. Он смастерит себе нарты, легкие, как крыло чайки, я дам ему лучших оленей из моего стада. Мы приедем на большой праздник в Уэллен, Кейгин победит там всех в соревнованиях и получит первый приз. И тогда мы посмотрим, устоит ли перед ним гордая красавица Вингеут.

Кейгин рассмеялся".

(13) Теперь мыс Шмидта.

(14) Клитку-клитку – букв. "двадцать на двадцать". Тау-зенд (от англ. thousand) – означает здесь любое очень большое число.

(15) Полог – жилое помещение в яранге.

Чукотская идиллия

Рассказывая о поездке Ерошенко на Чукотку, так и хочется представить его каюром, мчащимся сквозь сумасшедшую пургу, бесстрашным путешественником, который и на севере чувствует себя так же хорошо, как некогда на юге – в Японии, Индии и Китае. И основания для этого как будто бы есть: ведь ездил же он зимой в тундру на собаках, а оставшись там летом – охотился, стрелял уток по слуху, влет. Сестра Ерошенко Мария вспоминает,

что в 1934 году Василий собрался на собаках на льдину, где погиб "Челюскин" – на этом корабле плавал его брат.

Впрочем, легенд о жизни Ерошенко на севере сложилось немало. Некоторые из них, как, например, о поездке на льдину, похожи на явный вымысел. Во всяком случае, Ерошенко на севере задержался недолго – он не мог сидеть без дела. Слепых в этих краях оказалось меньше, чем предполагалось (об этом писал и он сам), что же касается зрячих детей, то ими занимались русские учителя, приехавшие туда вместе с Тихоном Семушкиным (16).

Неуютно было писателю на холодной Чукотке. Ерошенко, вспоминая свое пребывание на культбазе, писал: "Там я провел несколько очень тоскливых месяцев моей богатой приключениями жизни". И это не оговорка, ибо "Шахматная задача", из которой взята эта строка, была написана в 1938 году, а напечатана в 1947 – девять лет спустя автор мог бы исправить свои записи, если бы стал думать о своей поездке иначе.

Пробыл Ерошенко на Крайнем Севере около года (17). Срок немалый: слепой писатель сам приравнивал год путешествий к десяти годам спокойной, оседлой жизни. За это время он многое успел сделать – разыскивал слепых, старался им помочь, приободрить, кое-кого переправил лечиться на Большую землю; собрал народные сказания, написал цикл рассказов "Из жизни чукчей".

Он как-то сказал о себе: "Когда умру, пусть на могиле напишут всего три слова – жил, путешествовал, писал". Писал, путешествовал – значит жил.

Однажды, придя домой, Ерошенко застал у себя Таурулкотла. Веселый некогда мальчик сидел подавленный, грустный. Ерошенко пожал ему руку.

– А Таурулкотл к тебе не просто так, – сказал Александр. – Он подарок привез: нарты от Кейгина, а от себя – собачью упряжку.

– Собаки Нерултенга. Это – подарок брата, – сказал Таурулкотл.

Всем стало грустно. В этом подарке для Ерошенко было нечто символическое: хотя ему и не удалось спасти слепого юношу, но в его помощи и поддержке нуждались другие. И не только потому, что он владел приемами восточной медицины, но был у него еще и талант человеческий: только он мог, например, уговорить чукчей отпустить слепых в далекий Владивосток.

Теперь каждое утро Василий и Таурулкотл уезжали на собаках в тундру. Чукча учил его запрягать и выпрягать собак, собирать их в упряжку. Это была особая наука. Ведь разные и по выносливости, и по характеру, и по силе собаки любят либо повелевать, либо подчиняться, – и далеко не все равно, кого и с

кем ставить рядом.

Ерошенко научился различать собак по голосам, реже определял их на ощупь, по шерсти, так как не каждому животному это нравилось. По рыку, лаю, взвизгиванию он догадывался о настроениях и намерениях собак не хуже зрячих каюров. Но настоящая дружба установилась у него с вожаком стаи, могучим колымским псом, которому он дал имя Амико (Друг). Его он первым кормил юколой, в мороз очищал лапы от намерзшего на них льда. И грозный колымский пес благодарно лизал ему руки. Это было, как говорится, против всех правил, но, видимо, животное понимало, что его упряжкой правит какой-то необычный каюр.

Через несколько недель Таурулкотл уехал. Больше учить Ерошенко не имело смысла – слепой полностью овладел искусством каюра. На прощание чукча потрепал вожака по спине и сказал: "Этот не выдаст". Василий благодарно кивнул ему в ответ.

С этого дня Ерошенко начал ездить по тундре один. Вначале он добирался до ближайших яранг, держась поближе к океану, чтобы его ледовитое дыхание помогало ориентироваться в полярной ночи. Потом научился понимать голос ветра, который, отражаясь от холмов, подсказывал слепому дорогу. За много километров улавливал он запахи жилья. Но ему было все же трудно ориентироваться в тундре, и тогда он давал Амико волю; опытный колымский пес неизменно находил дорогу.

Появления Какомэя в глубине тундры всегда были неожиданными. Как только "телеграф тундры" передавал от яранги к яранге весть о том, что кто-то заболел, Ерошенко тут же устремлялся на помощь.

Слава о слепом враче разнеслась по тундре. Желающих лечиться у него было так много, что он не успевал объезжать всех больных. Однажды его позвали к тяжелобольному после очень нелегкого дня. Ерошенко быстро собрался, но руки его дрожали, и он не так прочно, как всегда, закрепил постромки, которыми собак привязывают к нартам. Закутавшись в медвежью шкуру, Василий вспомнил, что не успел даже выпить чаю, а в такую вьюгу тепла хватит ненадолго. Да и путь для слепого был нелегкий: чтобы добраться до яранги, где жил больной, нужно было ехать не вдоль берега океана, а напрямик через тундру.

Каюр отдался на волю вожака. Он даже задремал, пристроившись на нартах. И вдруг Ерошенко почувствовал, что нарты стоят, а собак не слышно. Он втянул в себя морозный воздух и ощутил только запах снега. Ерошенко понял: постромки соскочили и собаки убежали, оставив его одного в ледяной

пустыне.

Ветер крепчал. Что оставалось делать слепому? Он поставил нарты с наветренной стороны и зарылся в снег. Вскоре Ерошенко почувствовал, что ветер намел над ним сугроб; темнее ему от этого не стало, зато сделалось тепло и уютно. Теперь он был двойным заложником – вечной ночи и одиночества.

Сколько он протянет так – несколько дней или недель? Какое это имело значение? Время для него остановилось.

"Глупая смерть", – подумал Ерошенко и тут же улыбнулся нелепой мысли: разве смерть может быть умной? Он нащупал одно из тех лекарств, которое в больших дозах могло послужить ядом, и немного успокоился: теперь от него самого зависело жить или умереть.

"Главное – не спать. Только чем заняться?" Он вспомнил трехходовую шахматную задачу, над решением которой много дней билась вся база. За верный ответ начальник обещал приз – две бутылки французского коньяка. "А коньяк был бы сейчас в самый раз, – подумал непьющий Ерошенко. – Ради такого можно делать исключение". Он не додумал – ради чего такого.

Холод пробирался под кухлянку и чижи, и только олова все еще была горячей. "Думай, думай", – подхлестывал он себя, словно, призом за решение задачи была жизнь. Долго ничего не получалось. И вдруг он понял, что нашел решение: пешка проходит на крайнюю линию и превращается в коня, который объявляет королю шах и мат. Ерошенко улыбнулся: "Вот она, ваша знаменитая трехходовка. Выпейте за мое здоровье, товарищ Семушкин. Нет, пожалуй, теперь уже за упокой".

Но что это – ему слышится лай? Не может быть, просто он бредит. Но лай все ближе. И вот уже когтистая лапа просунулась под его кухлянку. Ерошенко решил – волки и выхватил нож. Здесь он почувствовал на своем лице шершавый и теплый язык собаки: Амико слизывал с него льдинки слез.

"Не спи, не смей спать!" Ерошенко встрепенулся. Умный пес покусывал хозяина, не давая ему замерзнуть. Человек выбрался из-под сугроба. Ветер, к счастью, затих. Отогрев дыханием пальцы, Ерошенко закрепил ремни упряжки. Нарты тронулись в путь. Пришлось вернуться на базу. После этого случая Ерошенко заболел воспалением легких.

Начальник базы созвал собрание. Было решено: доставить с Большой земли аэросани, чтобы вовремя помогать больным, а всякую "самодеятельность" (в том числе и поездки Ерошенко) строго-настрого запретить. Дел у Василия Яковлевича поубавилось.

Летом 1930 года, оправившись от болезни, Ерошенко

собрался домой. Он ждал открытия навигации, чтобы уехать во Владивосток. И здесь судьба преподнесла ему подарок: красавица Вингеут согласилась выйти замуж за слепого Кейгина. Ерошенко обрадовался так, словно решилась его собственная судьба.

Молодые приехали отпраздновать свадьбу на Чукотскую культбазу. Ерошенко был почетным гостем на праздничном застолье. Поднимая бокал за счастье Кейгина и Вингеут, Василий рассказал о том, как он чуть было не погиб в тундре:

" – … Там, лежа в сугробе, – заметил он, – я решил одну шахматную задачу. И тогда я подумал, что жизнь каждого человека похожа на шахматную партию в три хода. Первый – рождение, второй – юность и зрелость, третий – смерть. Так вот, никогда, как бы ни было трудно, не надо спешить делать третий ход. Из любого положения можно найти выход… За тебя, Кейгин, – за то, что ты не спешил. За тебя, Вингеут, что ты нашла самый лучший для вас обоих ход!"

За столом зааплодировали, и кто-то попросил, чтобы Ерошенко рассказал одну из своих сказок – недлинную, негрустную, такую, которая понравилась бы молодым. Ерошенко взял в руки гитару, согнулся, присел, изображая старого мудрого чукчу, и начал декламировать.

"… Дремлет под солнцем океан-великан. Рядом, на берегу, прилег человек. Снится великану сон, и входит этот сон в человека. Снится им обоим: по морю без руля, без ветрил плывет байдара. Сидит в ней человек, курит трубку, улыбается.

Не нравится все это океану. Как же так – байдара без руля, без весел, без ветрил? А человеку хоть бы что – сидит, улыбается, курит.

Вот зашумел океан в гневе и послал байдаре волны. А человеку хоть бы что: слушается его байдара. Куда покажет рукой, туда она и плывет. Как же так, без руля, без весел, без ветрил, а плывет по воле человека?

Тут океан пуще прежнего разбушевался. Шлет волну за волной на утлую байдару. А та, знай себе взлетает на волнах, как на качелях. И человек в ней сидит, трубку курит.

Тогда океан позвал ледяную гору. И байдара к той горе пристала, и вдвоем они послушны человеку: куда покажет рукой, туда и плывут они оба. Что поделать с человеком океану?

Разбушевался он еще сильнее, разверзлись его глубины. Выплыло оттуда чудо-юдо – морж огромный, клыки торчат. Вот сейчас он растерзает байдару. А человек, знай себе, улыбается, дым из трубки в моржа пускает. Глядь, а морж скрылся под волнами. Что теперь океан предпримет?

Ходят по океану не волны – горы. Вновь разверзлись глубины

океана, выплыл кит величиною с гору. Вот ударил он своим хвостищем, и байдара скрылась под волнами. И лежит она на дне океана. А на дне ее трубка дымится. Только нету там человека. Удивляюсь я – куда он делся?

Нет его на дне – на берегу он. Так ведь это ж я сплю у кромки прибоя: вижу сон один на двоих с океаном.

Но вздохнул океан и проснулся. Я вскочил и закричал от горя: вдаль умчалась моя байдара, только нет в ней меня, человека.

Испугался я, заметался. Только вдаль плывет моя байдара. Как теперь мне без нее рыбачить?

И в отчаяньи сказал я океану: "Ты океан – великан. По сравнению с тобой я – кроха. Ты могуч и силен, я песчинки слабей. У тебя – несметные богатства. У меня – только эта байдара. Зачем же тебе мой челн? Верни его мне, человеку!

Или мало кораблей лежат в твоих глубинах? Так зачем тебе еще моя байдара? Разве сильный должен быть жестоким, а богатый скупым, загребущим? Так зачем тебе еще моя байдара?"

И затих океан, размышляя. Долго думал, потом отозвался: "А ведь правду ты сказал, человек. Я и впрямь великан, ты же – кроха. Я силен и богат, а ты беден и слаб. Так зачем же мне твоя байдара? На – бери, получай ее обратно".

И случилось чудо – поднялся ветер и пригнал ко мне мою байдару. Богач оказался щедрым, великан – добрым, сильный – не жестоким.

Байдара пристала и шепчет: "Иетти" (18). И все это было не во сне, а взаправду. Вы не верите, вы все смеетесь? Клянусь вам клювом ворона и головой белого медведя. Приходите в мой дом. Как войдете, они висят у входа – направо…".

(16) О встречах с Ерошенко Т. Семушкин рассказывал Н. Н. Матвееву-Бодрому.

(17) В очерке "Шахматная задача" автор говорит о нескольких месяцах пребывания на севере; однако он не мог покинуть Чукотку до начала новой навигации.

(18) Йетти (букв. "ты пришел") – "здравствуй" (чукот.)

"Урус-ата"

Как уже отмечалось, путешествие Ерошенко на север породило множество легенд, догадок, слухов. Японский биограф Ерошенко Такасуги писал еще в 1956 году, что жизнь Эро-сана

"закрыла чукотская вьюга". Последняя глава его книги "Слепой поэт Ерошенко" так и называется "Гибель". Описывает она события начала 30-х годов.

Ошибался не один Такасуги. Из Японии приходили письма от друзей слепого писателя. "Сообщите нам хотя бы дату его смерти, чтобы мы могли торжественно отмечать этот печальный день", – просили они. А в конвертах были фотографии Ерошенко, под портретами даты его жизни: 1890 – ?

А ведь на самом деле связи Ерошенко с Японией не оборвались окончательно, и он интересовался жизнью своих японских друзей еще много лет спустя после путешествия на Чукотку…

После возвращения с Чукотки Ерошенко снова оказался на распутье. "Оседлая" жизнь, работа где-нибудь в городе была ему не по душе, а новых планов путешествий он, видимо, еще не строил. Два года Ерошенко преподавал в Понетаевской школе слепых неподалеку от Нижнего Новгорода. Осенью 1932 года он переехал в Москву и поступил корректором в типографию рельефного шрифта на Арбате.

В 1932 году Ерошенко отправился в Париж на очередной Всемирный эсперанто-конгресс. Осуществить такую поездку по ряду причин было тогда не просто, и все же Ерошенко попал в Париж. Его привлекала возможность повстречать там японских эсперантистов, об участии которых в конгрессе было заранее известно. И действительно такая встреча состоялась. Делегат Японии Мито вспоминал, что за одиннадцать лет, прошедших после высылки Ерошенко из Японии, Эро-сан почти не изменился: он был все таким же молодым и веселым и, казалось, носил ту же русскую косоворотку, что в Японии, а через плечо его был переброшен плащ, подаренный некогда Сома.

Эту встречу вспоминает в своей книге и Такасуги, но он ошибочно полагал, что путешествие на Чукотку состоялось уже после поездки Ерошенко в Париж. А между тем Ерошенко многие годы после возвращения с севера давал знать о себе японским друзьям – через эсперантские журналы, которые, как он считал, непременно должны были читать в Японии.

В 1933 – 1934 годах в издающемся в Швеции журнале для слепых "Эсперанто лигило" одна за другой появились статьи Ерошенко "У слепых Узбекистана", "Советская Армения", цикл рассказов и стихотворении "Из жизни чукчей". В 1934 году его рассказ о слепом Кейгине перепечатал японский журнал, который издавался не только по Брайлю, но и обычным шрифтом, так что его вполне могли прочитать зрячие друзья Ерошенко. и 1947 году Ерошенко напечатал очерк "Шахматная задача", посвятив его

своим друзьям на Дальнем Востоке.

Но интересы Ерошенко, как всегда, не ограничивались этой работой. Из письма от 16 марта 1933 года мы узнаем, что Ерошенко редактировал "Альманах" слепых литераторов, а летом во время отпуска много путешествовал по стране. "Я живу в Москве, – сообщал он в письме, – но всегда готов ускользнуть куда-нибудь в деревню, на простор". Жизнь в городах всегда была для него неприятной необходимостью. Он воспринимал ее лишь как отдых между двумя путешествиями.

Ерошенко мысленно путешествовал всю жизнь. Даже его комнатушка в Москве напоминала купе вагона – он смастерил в ней подвесные нары, на которых часто отдыхали его гости, знакомые, а иногда и мало знакомые люди. Здесь, в Москве, Ерошенко снова чувствовал себя маленьким кораблем, застоявшимся в гавани: казалось, ветер странствий рвал его паруса, и он ожидал лишь команды.

И вот однажды… Это было осенью 1934 года, в типографию зашел незнакомый человек. По его гортанному выговору Ерошенко догадался, что гость приехал из Средней Азии.

– Салям, дорогой, – сказал приезжий. – Дело у меня к вам, от туркменского Наркомпроса, – он тщательно выговорил два последних слова. – Хотим мы в республике создать школу слепых. Но… деньги йок, дети йок, книги йок (19). Гость печально улыбнулся. Ерошенко тоже улыбнулся в ответ, но не столь печально.

– А желание есть?

– Бар (20), – ответил гость. – Наркомпрос деньги дает, говорит: весна… школу открывать. Директор – йок. Где взять такого, чтобы по-туркменски говорил?

– Есть у меня один такой на примете. Пойдем ко мне, я тебя с ним познакомлю, – сказал Ерошенко.

Эту ночь гость провел на нарах в комнате Ерошенко, а на другой день хозяин вместе с гостем уже ехали в поезде "Москва – Ашхабад". Туркмен пытался объяснить, что средства на школу выделят только весной, что директор должен говорить по-туркменски, но Ерошенко, казалось, не слушал его.

– Ладно, ладно, по-туркменски мы с тобой весной поговорим. А школа, значит, будет в Кушке. Самый юг страны. Отличное место…

Еще будучи на севере, Ерошенко решил в следующее свое путешествие отправиться на милый его сердцу юг.

Как провел Ерошенко в Ашхабаде эту осень и зиму, мы не знаем, не удалось пока установить, где он жил эти месяцы, чем занимался (21).

С апреля 1935 года Ерошенко заведует детдомом и даже берется преподавать там туркменский язык и литературу. Очевидно, все это время он посвятил изучению туркменского языка. Летом Ерошенко (вместе со зрячим помощником Татищевым) поехал по аулам. Заходили в юрты, здоровались и начинался неторопливый разговор за пиалой чая.

Детей в школу отдавали неохотно. Нередко родители ворчали: "Беда наша – сами и присмотрим за ребенком. А грамота слепому ни к чему". Одним из первых учеников Ерошенко стал Дурды Питкулаев, которого Василий Яковлевич нашел в инвалидном доме. Приодетый и приободренный, Дурды стал помощником Ерошенко и вместе с ним уговаривал родителей отпустить детей на учебу. Как бы то ни было, но 1 сентября 1935 года первая в Туркмении школа слепых детей начала учебный год.

Как следует из заметки Ерошенко "Счастливое детство", школа эта была небольшой – вначале в ней насчитывалось 10 – 12 учащихся. Ерошенко преподавал там литературу, историю и языки: русский, туркменский, английский. Здесь все приходилось начинать сначала. Так, в ту пору не был разработан даже брайлевский алфавит для слепых туркмен. Ерошенко его создал, и Наркомпрос республики утвердил. Вскоре выпуклым шрифтом были напечатаны первые учебники на туркменском языке.

Свою небольшую школу Ерошенко строил с размахом. Дети здесь не только учились, но и получали специальность, причем помимо традиционных занятий слепых (изготовление щеток, гамаков, мешков) они пасли скот, работали в огороде, ухаживали за пчелами.

Научить всему этому слепых детей было нелегко; ведь многие из них, встречаясь с невниманием окружающих, давно уже потеряли интерес к жизни. Так, например, Дурды Питкулаев целыми днями сидел в комнате, не желая из нее выходить. Однажды Ерошенко разбудил его рано утром.

– Вставай, дружок, солнце уже встало.

– Мне не нужно солнце, мне и у печки хорошо.

– Пойдем, пойдем. Человек создан для того, чтобы шагать. Идем к солнцу.

Когда они пришли в горы, Ерошенко сказал Дурды:

– А ну крикни во весь голос, по-орлиному.

– Дурды!!! – закричал мальчик.

– "Рды-рды!" – ответили ему горы. И маленькому слепому показалось, что горы приветствуют его.

С тех пор и Дурды и его товарищи не раз вместе с учителем совершали прогулки в горы, и постепенно они поверили в

доброту огромного мира, в то, что в нем есть место и для них, незрячих.

И снова, как когда-то в Бирме, Ерошенко повел маленьких слушателей в сказку. Далеко-далеко, рассказывал он им, среди пустынь и недоступных гор, жило племя, все люди которого были от рождения слепые. Они не знали о том, что на земле есть другие, зрячие люди; им вообще ничего не было известно об остальном мире. И вот однажды к ним случайно забрел зрячий человек. Он стал рассказывать им о большом мире, о горах и реках, о далеких селах и городах. Но слепые его не понимали. Более того, пришелец казался им ненормальным. В конце концов ему пришлось бежать.

История понравилась детям – они весело смеялись (Ерошенко не сказал, что сочинил эту историю известный английский писатель-фантаст Герберт Уэллс).

– Теперь вообразим, что мы с вами живем в долине слепых, – продолжал учитель. – Давайте возделаем эту долину, а потом уже будем знакомиться со зрячими.

В пустыне они нашли воду, вырыли колодец. Потом разбили вокруг детдома сад, огород, завели коров, овец, кур, пчел. Директор научил детей "зрячей" походке – без палки, помогал им ориентироваться в пустыне и в горах – по солнцу и по движению воды в ручьях. А весной 1936 года Ерошенко вывел питомцев из "долины слепых" – из детдома. Они отправились на производственный комбинат слепых в Байрам-али.

– Да ты, Василий, просто чудотворец какой-то, – сказал, встречая их в Байрам-али, слепой товарищ Ерошенко Д. Алов. – Этой дорогой ведь и зрячие не ходят – опасаются заблудиться.

Ученики, совершившие долгий переход, чувствовали себя героями.

Ерошенко учил детей самостоятельности. Он говорил: "Слепому поводырь не нужен. Его поводырь – солнце". Хорошо развитый физически (Ерошенко отлично плавал, бесстрашно нырял в ледяной горный поток), он стремился увлечь детей спортом, хотя большинство из них сначала считали, что слепым это ни к чему.

– Ерунда, – сердился учитель. – Не плавают только куры. А вы люди, человеки! Завтра же начну учить всех желающих.

Дурды выучился плавать одним из первых, и это вскоре спасло ему жизнь.

Как-то, запасая дрова, он упал в горный поток вместе со срубленным тамариском. Мальчик очень испугался и закричал. Ерошенко бросился в воду.

– Ты вопи, вопи, – успокаивал он Дурды, – я плыву на твой

голос. Только не бойся. Вытащил его на берег и сказал:

– А теперь кончай вопить, а то реку испугаешь. Мальчик дрожал от холода и страха, зубы его выбивали дробь, словно азбуку Морзе. Тогда Ерошенко спросил Дурды:

– Ты что, – телеграфист?

"Утопленник" засмеялся. Захохотали и ребята, наблюдавшие эту сцену. Теперь плавать учились все.

Ерошенко хотел, чтобы его воспитанники были сильными, умелыми, не пасовали перед трудностями. Однажды весной горный ручей, протекавший вблизи школы, превратился в бурный, все сметающий на пути поток. Он уже подобрался к скотному двору и огороду, и преподаватели стали поговаривать, что детей неплохо бы эвакуировать в город. Ерошенко собрал учеников и сказал:

– Стихия слепа, так же, как и мы. Но в отличие от нас она еще и глупа. Так неужели мы отдадим ей дело наших рук?

И ребята принялись за работу. Под руководством директора они набили мешки песком и соорудили запруду, направив поток в безопасное для школы место. Дети были счастливы – еще бы, они укротили стихию!

Ерошенко воспитывал в учениках любовь к свободе – и когда знакомил их с героями туркменского эпоса, и когда играл на своей старенькой, залатанной гитаре, той самой, что пытались сломать и британские полицейские, и японские кейдзи.

Слушая музыку, ребята и сами захотели учиться играть. Тогда Василий Яковлевич написал в Москву преподавателю музыки З.И. Шаминой, а в 1937 году, возвращаясь из Обуховки в Кушку, заехал за ней и за ее мужем.

– Едем, вы только посмотрите, как мы живем! – уговаривал Шаминых Ерошенко. – Не понравится, сразу вернетесь.

Шамины долго колебались: очень уж далека от Москвы Кушка. Но потом решили съездить – ненадолго. А дети с таким восторгом встретили "тетю Зину и дядю Сашу" и так охотно занялись музыкой, что Шамины остались в Кушке на несколько лет.

Эти годы были едва ли не лучшими в жизни Шаминой. Ее поразила необыкновенная, дружеская атмосфера детского дома. Ерошенко был для детей не столько начальником, сколько умным, доброжелательным товарищем. Ученики любили его самозабвенно и почитали, словно отца, называя по-туркменски "урус-ата" – "русский отец". И Ерошенко никогда не чувствовал себя здесь ни директором, ни даже просто старшим. Он играл с детьми, как с равными, обедал с ними за одним столом, ночевал в общей спальне. Как-то Шамина спросила, не мешают ли ему дети,

на что Ерошенко, пожав плечами, ответил:

– Как же они могут мне мешать, если ночью спят, а я в это время работаю, пишу. Это я стараюсь вести себя потише, чтобы не потревожить их сон.

Ерошенко был вместе с детьми и ночью и днем. Часто он вывозил их в ближайший город Мары – там они ходили в кино или совершали прогулки в окрестные деревни, знакомились с природой, с людьми. Однажды ребята загорелись идеей сделать сюрприз своим друзьям, украинским переселенцам из соседнего с детдомом села Моргуновки.

– Давайте, – предложил Ерошенко, поставим для них детскую оперу "Коза-дереза" украинского композитора Лысенко.

– Но как – ведь никто же из нас не знает украинского языка? – усомнился Александр Шамин.

– Так уже прямо никто, – улыбнулся Ерошенко. И закипела работа. Ерошенко, вспоминала Шамина, режиссировал, давал рекомендации по декорации и гриму, а во время спектакля суфлировал, производил все шумы за сценой, руководил освещением.

Успех оперы был грандиозный, "актеров" и директора вызывали по многу раз. Крестьяне не хотели верить, что все дети, занятые в спектакле, слепые.

– Вот мы и вышли из своей страны слепых, – пошутил в тот вечер Ерошенко.

Но если детдомовские ребята в своем директоре не чаяли души, то некоторые сотрудники относились к нему иначе. Он был мягок с людьми и доверчив, как ребенок. Когда нечистый на руку завхоз оставил детдом без хлеба, учителя предложили директору немедленно прогнать вора с работы.

– Ну, поймите, – ответил Ерошенко, – я не могу его уволить: у завхоза семья.

– Вы бы еще покрыли недостачу из своего кармана.

– Спасибо за совет – я уже так и сделал. Неважно у него складывались отношения и с начальством. Он терпеть не мог, когда в детдом приезжал кто-либо из инспекторов. Не нравился ему их тон, неуместное проявление жалости или же, наоборот, подчеркнутое восхищение достижениями слепых детей. Однажды, вспоминает бывший инспектор Наркомпроса Г. Реджебова, я стала сюсюкать с детьми, восторгаться ими, но Ерошенко меня остановил: "Ну зачем вы так? Мы, слепые, ничем не хуже зрячих!"

Как-то в детдом приехала комиссия из центра. И здесь произошел такой случай. Во время обеда в столовую вошел… ишак. Нет, дети нисколько не удивились, это был их любимец, ручной ишачок, которого они всегда подкармливали. Но

комиссия пришла в ужас и записала в протокол "факт антисанитарии". Ерошенко объявили выговор. Вообще личное дело директора так и пестрит выговорами – в основном за несвоевременно сданные отчеты, счета. И если бы не приехавшая в Кушку его сестра, Нина, опытный бухгалтер, неизвестно, как бы он вообще справился с накатившей на него бумажной волной.

Что и говорить, администратор он был неважный. Но ведь он стремился создать не обычный детдом для слепых, а маленькую детскую республику в горах, чтобы воспитать там настоящих людей, у каждого из которых было бы любимое дело на всю жизнь.

Ерошенко настойчиво выявлял способности каждого ребенка. Чтобы дать слепым разнообразное образование, директор детдома вслед за музыкальной группой создал в школе "литературную мастерскую": здесь Ерошенко учил детей писать, облекать свои мысли в слова. Дети и не подозревали, что их учитель – писатель. И только в 1945 году, провожая в самостоятельную жизнь свой первый выпуск, Ерошенко открылся им как литератор. Он стал читать одну из своих лучших сказок – "Сердце Орла".

"… На самой высокой вершине горной страны счастливо жили орлы. С древних времен орлы хранили одну заветную мечту. Им хотелось долететь до теплого и вечно светлого солнца. И они верили, что если тысячу лет изо дня в день упражняться в полетах, то потомки их долетят до солнца. Из поколения в поколение мечтали об этом орлы, и поэтому крылья их становились крепче и выносливее, чем у предков.

Мы любим солнце!
Мы мчимся к солнцу!
Не надо спускаться вниз.
И вниз не надо смотреть!
В мечте о солнце мы ищем силы,
Достигнуть солнца – мечта орла!
Не надо спускаться вниз
И вниз не надо смотреть:
Внизу – мир несчастных и слабых.
Внизу – мир жестоких людей.
Не надо спускаться вниз
И вниз не надо смотреть!

Эту песню издавна пели орлицы своим птенцам. Не знаю, с каким чувством слушали сказку бедняки – жители гор? У людей ведь все иначе, чем у орлов – царем или владыкой считается

совсем не тот, кто сильнее и смелее всех. Предавать слабых, угнетать их, грабить – все это знакомо только людям. У птиц же все иначе…

Итак, орлы учили своих птенцов летать. Но однажды, обессилев, орлята упали в ущелье, и там их изловил охотник. Орлам не удалось отбить своих птенцов, и те стали воспитываться в доме человека. Однако птицы отомстили охотнику: уже через неделю они унесли к себе в гнездо его младшего сына, а еще через три дня – старшего.

Шли годы. Орлята выросли и окрепли, но продолжали тосковать по родному гнезду. Поэтому, когда однажды охотник снял с них цепи, они полетели домой, в горы. Орлы ответили на это благодарностью и через несколько дней в долину спустились повзрослевшие сыновья охотника. Но до чего же они изменились! Одежды на них не было, волосы отросли, тело стало жилистым, мускулы – стальными, носы вытянулись и напоминали клюв орла. Они легко лазали по скалам и больше всего любили волю. Произнося слово "свобода", юноши сопровождали его орлиным клекотом. Они пели песню о солнце, которой обучили их орлы, и их прозвали "Орлиными сердцами".

Недолгой была радость в доме охотника, но недолго радовались и орлы. Птицы пытались научить своих орлят летать к солнцу, но хотя те и парили в горах, сердце их оставалось в долине.

Однажды старший орленок сказал отцу:

" – Отец, я думаю, что вековая мечта орлов о солнце – глупость. Бессмысленно надеяться, что птица может достичь солнца. Да если бы мы и долетели до него, это не принесло бы нам счастья… Поэтому бесцельно стремиться к солнцу.

– "Человеческое сердце"! – воскликнул орел-отец и своими железными когтями схватил сына за горло. – Молодой орел издал горький и беспомощный крик, который можно услышать только среди людей, и упал замертво.

В тот же вечер из полета вернулся младший сын и сказал матери:

– Я отказываюсь лететь к солнцу. Это бесполезно. Спущусь в долину и совью гнездо на Дереве. Там буду жить в мире с людьми… Услышав это, мать воскликнула:

– Презренное "Человеческое сердце!" – и вонзила свои железные когти в горло сына".

А наутро у дома охотника люди нашли трупы орлов и перепугались, считая это плохим предзнаменованием

Тем временем дети охотника научили людей петь орлиную песню. Призыв к солнцу будоражил народ и беспокоил

завоевателей, захвативших горную страну. И те решили убить людей с орлиными сердцами. Они поймали юношей и решили их казнить.

И вот народ собрался на площади, а "Орлиные сердца" взошли на эшафот. Но в это время послышался шум крыльев и победный клич орлов. Две могучие птицы опустились на место казни, схватили юношей и унесли их в горы. А сверху донеслась лишь гордая песня о солнце.

И тогда народ поднялся против своих поработителей. Матери вели сыновей в горы, учили их быть смелыми, презирать трудности. Они молились, чтобы их дети тоже стали "Орлиными сердцами", и, собравшись с силами, обрушились на врагов…

Ерошенко кончил читать. Ребята сосредоточенно молчали. О чем думали они, быть может, о войне, которая продолжалась уже четвертый год, о том, что смелые и сильные советские люди защищают свою страну и они, дети, тоже должны с годами стать "Орлиными сердцами"? Возможно. Но вряд ли кто-либо из них догадывался, что слушают они известного писателя, сказки которого переводил на китайский язык Лу Синь. Да и самому Ерошенко его молодость – Япония и Китай – казались чем-то нереальным, словно и не он, а другой человек путешествовал, любил, писал.

В 1945 году Ерошенко минуло пятьдесят пять. Приступы малярии вынудили его покинуть юг и вернуться в Москву.

(19) Йок – "нет" (туркм.).

(20) Бар – "да" (туркм.).

(21) З. И. Шамина вспоминает, что в Ашхабаде Ерошенко жил у брата Александра, который переехал туда с Чукотки.

Шахматы

От первых зрелых лет и до самой смерти Ерошенко всегда оставался писателем, путешественником и педагогом даже в те времена, когда не писал, не учил, – все его качества всегда были проявлением цельного и сильного характера.

Биография писателя не только в его произведениях. И жизнь путешественника состоит отнюдь не из одних путешествий. Да и что считать путешествием? Годы, проведенные вне дома, в чужих краях? Но Япония для Ерошенко не была чужой. А собственного дома у него, скитальца, так никогда и не было. Бросив якорь в каком-нибудь городе, он устраивался там на работу, но всегда

был готов уехать, чтобы шагать с мешком за спиной и с палкой в руках по городам и весям. Сестра его Мария вспоминала, что в 1933 году Ерошенко прошел с ней и ее мужем по всей Военно-Грузинской дороге. А о скольких его путешествиях мы еще не знаем.

Конечно, не так уж сложно заняться арифметикой, суммировать годы, проведенные в дороге, сравнить их с общим числом прожитых лет. Однако вряд ли такой подход поможет читателю лучше понять Ерошенко.

Но как рассказать о тех годах жизни Василия Ерошенко, когда он выражал душу свою не пером, а сямисэном, гитарой, скрипкой? Или же о временах, когда, словно оказавшись на душевном распутье, молчал годами?

Здесь можно лишь строить догадки, собирая по крупицам все сведения о писателе, воспоминания людей, встречавшихся с Ерошенко. Была в его жизни одна страсть, которая так же, как поэзия, выражала его душу. Это – шахматы, мудрая древняя игра. Любовь к ней Ерошенко пронес через всю жизнь. И если бывали годы, когда он оставлял на время скрипку или гитару, то с шахматами Ерошенко не расставался никогда. Еще семилетним мальчишкой он выигрывал у многих своих товарищей в Обуховке, а уже шестидесятилетним стариком принимал участие во всесоюзных турнирах слепых шахматистов.

Ученик и партнер Ерошенко по этой игре В. Першин замечал: "Сказать, что Василий Яковлевич любил шахматы самозабвенно, мало. Шахматами он наслаждался, как эстет картиной любимого художника или как гурман изысканно приготовленным и красиво поданным блюдом. Начиная партию, он дрожал, как завзятый книголюб, открывающий редкую, принадлежащую только ему книгу. Без преувеличения можно сказать, что к шахматам он относился, как скупой рыцарь к своим богатствам. Шахматы он боготворил, обожествлял, фетишизировал, возводил в абсолют" (22).

Рассказывая о своем путешествии на Чукотку в 1929 году, Ерошенко вспоминал, что две вещи вызывали у его друзей-чукчей недоумение, уважение, восторг и. пожалуй, даже страх – тетради из плотной бумаги, сплошь исколотые выпуклыми точками, и шахматы, всегда стоявшие на столе.

– Не шахматный ли ты шаман, Василий? – спрашивали они осторожно.

Ерошенко рассказывал, что он произнес как-то довольно длинную и бестолковую речь о шахматах как о великой культурной ценности, о настоящих игроках, которые никогда не расстаются с ними. Но так и не смог убедить чукчей, что

выигрывает без помощи шаманства.

В. Г. Першин вспоминал, что учитель его играл красиво и поэтично. Так, например, Ерошенко не водил, как многие слепые, по доске пальцами. Он не позволял себе этого не только потому, что превосходно помнил позицию и держал все варианты в уме, но еще и из-за того, что в шахматах для него смыкались воедино принципы этики и эстетики. Шарящие руки, говорил он, закрывают от зрителей доску, а зрячего противника ставят в неравное со слепым положение, вызывая у него чувство неловкости. И вообще, они мешают наслаждаться шахматной партией как высшим и неповторимым актом создания истинного произведения искусства.

Ерошенко играл не очень сильно, но партии его были всегда оригинальны, как и его сказки. Вокруг его столика в прокуренном шахматном клубе московских слепых на Волхонке, где он обычно играл в последние годы, собиралось много болельщиков. Об одном из таких вечеров В. Г. Першин вспоминает.

…В зале стояла напряженная, тугая тишина. Тихие возгласы вроде "конь е6 – с7" не разрушали тишины и не мешали думать.

Ерошенко сидел, опустив голову на руки. Ему нездоровилось, видимо, трудно дышалось. Закашлявшись в очередной раз, он устало попросил:

– Хоть бы ты не курил.

Першин положил в пепельницу только что зажженную папиросу.

Разыграли цвета – белые достались Ерошенко. Он начал партию своим привычным ходом королевской пешки на одно поле.

– Так, маэстро, – через несколько ходов констатировал Першин, – как и следовало ожидать, ваша излюбленная защита Колле! Но ведь она абсолютно не современна и не выдерживает критики…

Ерошенко улыбнулся: он понял, что подразумевал его противник – такое начало неплохо против пассивного, не уверенного в себе соперника, а его молодой друг предпочитал острую, комбинационную игру.

– Да?… – отозвался Ерошенко. – Защиту Колле я применил однажды против самого… Алехина.

– И выиграли?…

Вместо ответа Ерошенко закашлялся.

– Так вы были знакомы с Алехиным?

– Нет, я только раз играл с ним, а познакомиться так и не удалось.

Воспоминания, замечает Першин, преобразили его.

Оживление потихоньку смывало усталую подавленность и печаль с лица. Золотисто-рыжие брови разгладились, распустив бугристую складку на высоком матово-бледном лбу.

Было это, начал рассказ Ерошенко, в Париже, в 1932 году. Однажды, после заседания Эсперанто-конгресса, он заглянул в знаменитое в шахматном мире кафе "Рижане", расположенное на авеню Опера, которое в свое время посещали все чемпионы мира от Франсуа Филидора до Александра Алехина. Ему нравилась непринужденная атмосфера, царившая там.

Знакомый швейцар принял у Ерошенко трость и шляпу. Слепой писатель заказал кофе и апельсиновый сок, положил под шахматную доску пять франков (здесь играли только на деньги) и стал поджидать партнера. Вдруг он услышал веселый звучный баритон.

– Добрый день, – сказал незнакомец по-французски с заметным русским акцентом. – Не согласитесь ли сыграть со мной партию?

– С удовольствием.

– Таких шахмат я еще не встречал. О, в доске просверлены дырочки, а фигуры имеют выступы. Просто и остроумно, и очень удобно для незрячего противника. А как же быть с правилом "тронул фигуру – ходи"?

– "Вынул фигуру из гнезда – ходи" – так, кажется, записано в шахматном кодексе. Если вам нетрудно, называйте, пожалуйста, каждый ваш ход полной нотацией.

– Согласен, – ответил незнакомец и тоже положил под доску пятифранковую ассигнацию.

Ерошенко вспоминал, что его противник все время шумел: ронял с грохотом трость, сопел, стучал фигурами, видимо предполагая, что эти звуки помогают слепому представить ситуацию на доске.

Вокруг столика собралась толпа зевак. Но игра не была острой. После нескольких разменов фигур позиция так упростилась, что противник предложил ничью. Ерошенко согласился. Незнакомец пожал ему руку, забрал свою ассигнацию и ушел.

– А вам повезло, месье, – сказал официант. – Подумать только: сыграть вничью с самим чемпионом мира.

– Так это был Александр Алехин? – обескуражено произнес Ерошенко. Он собирался уходить и протянул свои пять франков официанту.

– Нет, месье, не надо, не возьму. Вы так редко у нас бываете, что я не сумею отплатить за вашу щедрость.

– Ничего, берите, дружище, на счастье. Со смешанным

чувством радости и горечи вспоминал Ерошенко свою партию с Алехиным. С годами ему все больше казалось, что великий маэстро просто пожалел его, слепого. А Ерошенко больше всего ненавидел жалость. К шахматной игре он относился исключительно серьезно и не терпел, когда даже очень сильный противник нарочно ему подыгрывал. Ерошенко всегда переживал свои поражения. Будучи уже тяжело больным, он каждый свой выигрыш в шахматы расценивал чуть ли не как еще одну победу над смертью.

Другой партнер Ерошенко, К. С. Куплинов, вспоминал, как зимой 1946 года он вместе с Василием Яковлевичем принимал участие во Всесоюзном шахматном турнире слепых в Ленинграде – городе, пережившем суровую блокаду. Ерошенко ходил в дырявом, насквозь продуваемом плаще, жил впроголодь. Но нужно было видеть, как вдохновенно играл этот шахматист – кстати, самый старый во всей команде, – словно ставкой в каждой партии была его жизнь!

Жили участники турнира в старом, изъеденном мышами доме. После упорных шахматных баталий все засыпали, как мертвые. Только Ерошенко всю ночь ворочался, что-то записывал в темноте – то ли стихи, то ли шахматные партии. Однажды ночью Куплинов проснулся и заметил, что его сосед кормит мышей.

– Василий Яковлевич, что же это вы паразитов разводите? – возмутился он.

– Ну и что здесь особенного! – отозвался Ерошенко. – И они живые, им тоже есть нужно, а кругом, сами знаете, – голод… Ничего, не волнуйтесь, вот выиграем турнир, кончится голодная зима – всем хорошо будет.

В этом эпизоде весь Ерошенко – мечтатель, поэт, шахматист… Одна из его учениц, З. Токаева, вспоминала: "В. Я. Ерошенко был человеком редкой доброты. Лу Синь в своей новелле это верно подметил. Он часами готов был возиться со всякими зверушками, птенцами, насекомыми. Так же чутко и осторожно обращался он и с человеческими душами".

И шахматы были отражением души Ерошенко, помогали ему сохранить мужество.

(22) В этом разделе с разрешения автора использована неопубликованная рукопись ученика В. Я. Ерошенко, старшего научного сотрудника Института востоковедения АН СССР В. Г. Першина.

Последний ход

Ерошенко жил – путешествовал и писал – чуть ли не до последнего дня своей жизни. И до конца дней своих он при любых обстоятельствах оставался человеком, чье призвание было вести людей к свету, к солнцу.

В июле 1945 года в дом Ерошенко в Обуховке постучался приезжий. Василий Яковлевич пригласил его в сад, заговорил с ним запросто, как со старым знакомым. История, которую рассказал о себе В. Богданов, была трагична. Почти всю войну он воевал, был танкистом, но незадолго до победы танк его загорелся. Танкист ослеп. Попал в госпиталь. Его оперировали много раз, но безрезультатно – зрение вернуть так и не удалось.

– Я не хочу больше жить, – закончил свой рассказ Богданов. – Поймите, мне всего двадцать лет!

– Когда я ослеп, мне было четыре года, – вздохнул Ерошенко. – А вы двадцать лет смотрели на мир, прошли войну, повидали Россию, Европу. Расскажите мне обо всем.

Ерошенко старался ободрить бывшего танкиста, вспомнил незрячих ученых – профессора Коваленко, академика Понтрягина.

– Слепой, если он трудится, может достигнуть очень многого, – сказал Ерошенко. – А вы еще не слепой, вы недавно ослепший, поэтому вам трудно. Но первая боль пройдет, и вы привыкнете к слепоте, ведь не один вы такой на свете.

Во время первой беседы, вспоминал В. Богданов, Ерошенко настойчиво советовал учиться. Он помог Богданову освоить систему Брайля, а потом содействовал ему при поступлении в Курскую музыкальную школу. И впоследствии, когда Богданов уже работал председателем Старооскольской организации Всероссийского общества слепых, Ерошенко продолжал ему всячески помогать. "Он пробудил во мне веру в жизнь", – сказал Богданов.

В жизни В. Богданова Василий Яковлевич сыграл такую же роль, как больной комиссар из "Повести о настоящем человеке" Б. Полевого в судьбе летчика Мересьева. Но встреча со слепым танкистом приободрила и самого Ерошенко, он понял, что, несмотря на недуг, который терзал его в последние годы, еще может быть полезен людям. В 1946 году он вернулся в Москву и начал работать учителем в школе слепых детей – той самой, которую в далеком уже своем детстве окончил сам.

Время было тяжелое, послевоенное, в школе обучались "трудные дети" – вчерашние беспризорники. Сказать, что они увлекались английским языком, которому их обучал Ерошенко, было бы большим преувеличением. А заставлять учить языки он не умел – для него, полиглота, овладение каждым новым языком

было радостью. И все-таки Ерошенко нашел путь к сердцам детей. Он гулял с ними вместе на переменах, учил плавать и нырять в Сокольниках, на Оленьих прудах, рассказывал о дальних странах, знакомил с языками, на которых там говорят – английским, французским, японским. Однажды он сказал:

– Есть у меня, ребята, мечта: вырастить овчарку и пройти с ней от Москвы до Владивостока, как один слепой американец, который пешком пересек Америку. Кто пойдет со мной?

Идея понравилась детям. Начались приготовления, больше похожие на игру. Среди учителей пошли разговоры о "несолидности" учителя, о том, что держит он себя с учениками запанибрата. Кое-кто стал поговаривать о необходимости подыскать другого педагога…

Возраст мало изменил Ерошенко. Жил он легко, переезжал с места на место, не было у него постоянной крыши над головой. Отправляясь в Туркмению, он пустил в свою комнату молодоженов, а возвратившись, увидел, что они вовсе не собираются потесниться ради него, и Ерошенко жил у друзей. Узнав об этом, один из учеников рассказал Василию Яковлевичу басню о скворце, который, обнаружив в своем гнезде нахальных воробьев, вытолкнул их оттуда.

– То птицы, – ответил Ерошенко. – А мы с вами – люди.

Трудности Василия Яковлевича не пугали, он привык к ним, как солдат в походе. Одевался просто, почти бедно, жил чуть ли не впроголодь, а солидные деньги, получаемые за переводы, вносил в фонд помощи слепым. "Как же я могу жить иначе, – говорил он, – если людям вокруг так трудно живется". А когда хлопотами друзей он вновь получил комнату в Москве, то вскоре оставил ее, отправившись в новое путешествие.

Какое-то время он жил под Москвой, в Загорске: ликвидировал неграмотность среди бойцов, ослепших на фронте. В 1948 году Ерошенко проехал через всю страну в Среднюю Азию. Там состоялся съезд слепых Узбекистана. На обратном пути он побывал в Ашхабаде и Красноводске, путешествовал по Каспию и по Волге. На старости ему хочется "увидеть" как можно больше. Через год Ерошенко уже работает в Ташкенте – и это несмотря на малярию! В 1951 году – новое путешествие, на этот раз по Якутии. У него была идея – поселиться там в колонии для прокаженных, остаток своих дней посвятить этим несчастным. Однако болезнь помешала осуществлению этих планов. Ерошенко мучали сильные боли в желудке.

Врач, осмотревший его, не предполагал, конечно, что больной знает латынь. Он сказал ассистенту роковое слово – рак. Операцию не предложил. "Значит уже поздно", – подумал Василий

Яковлевич и вышел на улицу. Был жаркий августовский день, солнце стояло почти в зените. "Сколько, – подумал он, – сколько раз я буду еще свидетелем его восхода?". Смерти Ерошенко никогда не боялся, ему нужно было лишь знать, сколько времени осталось, чтобы привести в порядок свои дела.

Новый 1952 год Ерошенко встретил в семье Шаминых в Москве. О болезни своей никому ничего не сказал, но все заметили, что он был бледен и очень худ. Когда его попросили спеть 'что-нибудь, запел: "Як умру, то поховайтэ мэнэ на могыли, сэрэд стэпу шырокого на Вкраини мылий". Хозяйка Зинаида Ивановна даже всплеснула руками:

– Не узнаю вас, Василий Яковлевич! Праздник сегодня или не праздник?

Ерошенко заиграл застольную, весело запел, а потом сказал, что задумал поездку: хочет повидать всех своих родных. Кто бы мог подумать тогда, что он едет прощаться?

В мае он заехал к сестре Марии в Харьков. Мужу ее, Дмитрию Ивановичу, рассказал обо всем. Из Харькова написал своей племяннице Вере Ивановне Серюковой, учительнице Обуховской школы, что болен и хотел бы умереть там, где родился.

Затем он поехал в Донбасс, в Холодную балку – там работала врачом другая его сестра – Нионила. Оттуда – в Карелию, к третьей сестре – Нине. Он ездил по родной стране в последний раз, даже сейчас набираясь новых впечатлений. Нет, он еще не сдался, и даже в одном из писем просил Д. Алова устроить его работать в Ташкенте, как только он справится с проклятой болезнью. Но болезнь не отступала. По пути в Обуховку Василий Яковлевич заехал в Москву попрощаться с товарищами. Вот как вспоминает одну из последних встреч с Ерошенко В. Г. Першин.

"…Сопротивление белых длилось недолго. Примерно через полчаса их позиция стала безнадежной.

– Мат, – объявил я тихо, но внятно, чувствуя, как приятная волна торжества обдает меня от висков до лопаток стягивающим кожу морозом.

Василий Яковлевич молча протянул мне руку. Пожимая ее, я невольно ощутил, как дрожат, словно от холода, его длинные пальцы. Во рту у меня вдруг стало сухо и горько.

Мы перешли в кафе, уселись на диване в дальнем углу. Торжество мое улетучилось как дым, оставив по себе лишь немую, безголосо кричащую пустоту.

Я поднялся с дивана и стал прощаться. Рука у Василия Яковлевича была уже теплой, пальцы не сильно, но крепко стиснули мою ладонь.

– Будь счастлив, – напутствовал он меня с обычной своей

ласковой грустью. – Всех тебе благ.

Тяжелый ком застрял в горле, слезы обожгли мои веки. Я сжал его ладонь задрожавшими вдруг мелко-мелко пальцами.

– Ну-ну, – только и сказал он, отпуская мою руку. У дверей толпились люди. Кто-то сказал вполголоса:

– А у Василия Яковлевича, ребята, рак.

– Да не болтай ты!

– Он сам сказал. Вот тебе и не болтай. Я вышел из прокуренного подвала на чистый воздух. Лил надоедливый мелкий дождь. На душе у меня было, как в заброшенной церкви, – неприбранно, пусто, уныло, голо. А в ушах еще звучал высокий хрипловатый ерошенковский голос".

"…Началась агония. Мучаюсь очень, и никто не скажет, когда это кончится: через день, неделю или, может, несколько месяцев", – писал Ерошенко из Обуховки.

Умирал он так же скромно, как жил, работал днем и ночью, стараясь причинить поменьше хлопот окружающим. Незадолго до смерти он сказал своей племяннице В. И. Серюковой:

– Вот эта книга – плоды моих раздумий, итог моей жизни. Теперь я могу спокойно умереть (23).

6 октября 1952 года Ерошенко написал одно из последних писем З. И. Шаминой:

"Дорогая Зина!

Внутри тетради, которую я посылаю, вы найдете мою фотографию. Все вместе отошлите в журнал "Эсперанто лигило" с заметкой о моем уходе из жизни. Конец ее, который был еще недавно так близок, неожиданно и не понятно для всех отдалился – болезнь приняла мучительный, затяжной характер.

В этом письме я посылаю окончание "Чукотской сказки", начало которой вы уже получили. Рукопись переписал начисто, поэтому прошу вас – посмотрите ее, выправьте все неясности, исправьте ошибки.

Бумага, на которой я пишу, очень толстая (24), и писать мне трудно. Пришлите мне более тонкую бумагу для писем. Я собираюсь написать "Корейскую сказку", но работа на толстой бумаге меня выматывает.

Сообщите мне сразу, получили ли вы этот пакет. Попробуйте продать мои пластинки с уроками японского языка – в институте есть отдел Японии…

Сердечный привет всем. В. Ер."

Осенью, вспоминает З. И. Шамина, Ерошенко прислал ей свою последнюю фотографию. На ней он сидит в глубоком плетеном кресле, устало откинувшись на подушку. Ссохшиеся узловатые пальцы держат тетрадь из брайлевских листов, словно

он боится выпустить то, что еще связывает его с жизнью. Лицо Ерошенко спокойное, сосредоточенное, кажется, он прислушивается к звукам прошлого, вспоминает пройденный путь… "Таким он и сохранился в моей памяти, – пишет Шамина, – влюбленный в жизнь и спокойный перед лицом смерти".

Умер Василий Яковлевич Ерошенко 23 декабря 1952 года. Похоронили его на сельском кладбище в Обуховке. И словно эпитафия на могиле Ерошенко звучат слова Лу Синя: "Я понял трагедию человека, который мечтает, чтобы люди любили друг друга, но не может осуществить свою мечту. И мне открылась его наивная, красивая и вместе с тем реальная мечта. Может быть, мечта эта – вуаль, скрывающая трагедию художника? Я тоже был мечтателем, но я желаю автору не расставаться со своей детской прекрасной мечтой. И призываю читателей войти в эту мечту, увидеть настоящую радугу и понять, что мы не сомнамбулы".

(23) К сожалению, пакет с книгой не дошел до адресата. Другая рукопись писателя, которую получила В. А. Лукашева из Петрозаводска, по свидетельству ее сестры Ф. А. Бурцевой, была утеряна.

(24) Речь идет о бумаге для письма по Брайлю.

"ЕРОШЕНКО ПРОМЕЛЬКНУЛ, КАК ЗВЕЗДА"

Время размывает тени, ослабляет свет. Быть может, поэтому, образ человека, воспринятый через призму времени, кажется не столь рельефным, а подчас даже и окруженным радужным ореолом. Думается, каждый биограф хотел бы повернуть время вспять, чтобы встретиться со своим героем лицом к лицу, поговорить, задать мучающие его вопросы.

К сожалению, мне не довелось встретиться с Ерошенко. Когда я впервые услышал о нем в августе 1957 года, моего героя уже не было в живых. И многие годы собирая материалы для книги, я не раз сетовал, что узнал о Василии Яковлевиче слишком поздно: сколько интересного он мог бы о себе рассказать.

Но рассказал бы? Встречаясь с друзьями и близкими слепого писателя, с людьми, которые общались с ним на протяжении десятилетий, я удивлялся, как мало они узнали от Ерошенко о нем самом. Он почти не говорил о своих путешествиях по Востоку, никогда не рассказывал о дружбе с Лу Синем. Неизвестен был даже сам факт их знакомства. Ерошенко был исключительно скромен и сразу же пресекал любые разговоры о себе. Об этом свидетельствуют и Д. Алов, и З. Шамина, и В. Першин, и многие другие.

Беседуя со своими друзьями, Ерошенко пусть неохотно и коротко, но все же отвечал на те самые вопросы, которые волновали и меня. И вот я позволил себе пофантазировать – представить свой разговор с Василием Яковлевичем Ерошенко.

Итак, Обуховка, лето 1952 года.

– Василий Яковлевич, говорят, вы побывали во многих странах. – Да, я видел Лондон, Париж, Токио, Калькутту, Пекин.

– "Видел"?

– А как, по-вашему, я должен говорить "слышал Пекин" или, того хуже… "чуял"? У меня есть свое, быть может, непохожее на ваше, представление о краях, где я побывал. Поэтому я имею право говорить "видел".

– Все это должно быть очень интересно. Расскажите, пожалуйста, о вашей жизни в Японии.

– Не думаю, что это вас заинтересует. Моя жизнь вообще не может представлять интереса для зрячего. Что значит сумрачный мир слепого по сравнению с тем буйством красок, которое видите вы? Конечно, я понимаю, вы выслушаете меня. Но сделаете это из жалости. А жалости я не терплю.

– Однако вот вы – слепой, а объездили полмира…

– А если бы я был зрячий, вас это не удивило бы, не так ли? Для того, кто видит, это в порядке вещей?

– Расскажите о вашей литературной работе.

– Громко сказано – работе! Так, записывал восточные сказки. А вообще-то я очень слабый, посредственный литератор.

В этом диалоге выдуманы только вопросы. Ответы взяты из беседы Ерошенко с директором школы в Обуховке В. С. Мозговым и с Интсом Чаче.

А теперь судите сами, имел ли я основание в выдуманном мной диалоге более подробно говорить о Ерошенко, о его творчестве? Конечно, он при желании мог бы на многое ответить, но о чем его расспрашивать? Какие вопросы можно было бы задать тогда, летом 1952 года, задолго до того, как Ерошенко "открыли" историки и литературоведы?

Конечно, при большом усилии, имя Ерошенко можно было бы разыскать в трудах о социалистическом движении в Японии 20-х годов. Но для этого необходимо было знать, что речь идет как раз о том человеке, с которым шла наша воображаемая беседа.

Имел ли я право спросить Ерошенко об "Утиной комедии"? Вряд ли! Первый русский перевод этой новеллы появился в 1949 году в Шанхае и был почти неизвестен в России. В СССР эта новелла увидела свет лишь в 1952 году, незадолго до смерти Ерошенко. Но о том, что герой "Утиной комедии" – реальное лицо, даже ее переводчик В. Рогов узнал лишь шесть лет спустя. А лусиневеды, что они знали об отношениях Лу Синя с Ерошенко, о переводах сказок русского писателя на китайский язык, об "Утиной комедии"? В 40-е годы и в начале 50-х, видимо, немного.

Правда, академик В. М. Алексеев, задолго до появления статьи В. Рогова в журнале "Знамя", перечисляя имена русских писателей, которых переводили в 20-е годы в Китае, писал о "некоторой популярности, которой пользовался Ерошенко", относя эту популярность за счет пропаганды Лу Синем творчества слепого писателя. К сожалению, статья В. М. Алексеева "Горький в Китае", в которой он делает это замечание, появилась в печати лишь в 1968 году, двадцать восемь лет спустя после ее написания. По свидетельству Р. С. Белоусова, в рукописи этой работы возле фамилии Ерошенко в скобках стоял знак вопроса. Видимо, в то время у автора статьи не было даже точных данных о жизни и творчестве В. Я. Ерошенко.

Пожалуй, впервые имя Ерошенко в европейской печати назвала чешская исследовательница Берта Кребсова. Она писала, что "мосье Ай-ло" из лусиневского цикла "Клич" и есть тот самый Ерошенко, чью пьесу "Персиковое облако" перевел Лу Синь. Но и

после этого минуло пять лет, прежде чем В. Рогов своей статьей обратил внимание литературоведов на то, что герой "Утиной комедии" – реальная личность.

Более раннему "открытию" Ерошенко на родине помешало то, что "Утиная комедия" вплоть до 1960 года находилась вне поля зрения советских лусиневедов (впервые ее проанализировал В. В. Петров). В монографии Л. Д. Позднеевой говорится: "Интересно отметить, что незнакомый ни в дореволюционной, ни в послереволюционной России писатель Ерошенко вдруг становится известным в Японии и Китае, где появляется целый ряд его произведений, над которыми работают видные писатели – Эгути Кан и Лу Синь…" Тепло отозвался о реальном герое "Утиной комедии" В. И. Семанов.

В 60 – 70-е годы у нас в стране и за рубежом публикуются сказки Ерошенко, статьи о его жизни и творчетве. Но означает ли такой интерес к жизни и творчеству слепого писателя, что нам уже известны все его произведения и все факты его жизни? Разумеется, нет!

Настоящая книга – только первый, робкий подход к теме, рассказ о человеке, который недавно был еще совсем незнаком советскому читателю.

Работа над этой книгой уже подходила к концу, когда в Японии вышли еще два сборника Ерошенко – "Персиковое облако" и "Высылка из Японии" (1974). Наконец, в 1977 г. в Москве вышло "Избранное" Ерошенко. А сколько стихов, сказок, пьес слепого скитальца рассеяно в журналах, которые трудно разыскать даже в лучших библиотеках мира!

Я уже писал о работах Ерошенко, которые считаются пропавшими. Родственники рассказывают, что после смерти писателя в архив была отправлена целая кипа его рукописей, разыскать которые пока не удалось. И кто знает, не обнаружим ли мы со временем новые, созданные на родине произведения Ерошенко?

Мы еще мало знаем о жизни слепого писателя. Безусловно, серьезного исследования заслуживают отношения Лу Синя и Ерошенко, Ерошенко и Акита Удзяку, Ерошенко и классика японской литературы Арисима Такэо, Ерошенко и пролетарской писательницы Миямото Юрико. Не получил еще должной оценки вклад русского писателя в японскую литературу. А какой благодатной темой для исследования является роль Ерошенко в укреплении культурных связей народов России с народами Японии, Таиланда, Бирмы, Индии, Китая? Историки, этнографы, лингвисты найдут здесь ценнейший материал для своих исследований. Но это будет нелегкая работа: очень многое из

написанного Ерошенко хранится в личных архивах или же в полицейских управлениях (как, например, его письма, задержанные в Индии и Бирме).

Наша задача – собрать все написанное Ерошенко и о нем самом на многих языках и вернуть это народу, чьим сыном он был (25). Можно не сомневаться, что в будущем мы узнаем о нашем замечательном соотечественнике много больше того, что известно сегодня.

Лу Синь писал: "Жизнь человека, как падающая звезда, – сверкнет, привлечет внимание других людей, промчится следом, исчезнет и будет забыта всеми… Ерошенко промелькнул, как звезда, и, может быть, я скоро забыл бы о нем, но сегодня мне попалась его книга "Песнь предутренней зари", и мне захотелось раскрыть сердце этого человека…".

Этой же цели служит и настоящее повествование. Пусть со страниц этой книги Василий Ерошенко придет к своим читателям, товарищам, друзьям, "как живой с живыми говоря". Пусть перешагнет он границы времени, отпущенного ему жизнью, так же, как шагал он когда-то через барьеры, разделявшие людей, народы, страны, – слепой человек, увидевший мир и отразивший его в своих удивительных сказках!

(25) Кое-что в этом направлении уже делается. Так, этнограф. И. Мороз в диссертации о русских путешественниках в Индокитае Уделил внимание Василию Ерошенко. И. Можейко и А. Узянов дали оценку деятельности русского писателя, собиравшего бирманский фольклор.

ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. Я. ЕРОШЕНКО

1890, 12 января (1889, 31 декабря) – В селе Обуховка Старооскольского уезда Курской губернии родился Василий Яковлевич Ерошенко.

1894 – Зима. Ерошенко ослеп.

1899 – 1907 – Обучение в Московской школе слепых детей.

1907 – 1914 – Работа в оркестре слепых в Москве.

1911, лето – Поездка на Кавказ.

1912, февраль – сентябрь – Поездка в Англию. Учеба в Королевском институте слепых.

1914, апрель – Уезжает в Японию.

1914,. сентябрь – 1916, июнь – Ерошенко учится в Токийской школе слепых.

1915, июль – Поездка на остров Хоккайдо.

1916, июль – Отъезд в Юго-Восточную Азию.

1916, июль – 1917, январь – Попытка основать в Таиланде школу слепых. Путешествие по стране.

1917, январь – ноябрь – Работа директором школы слепых в Моул-мейне (Бирма).

1917, ноябрь, – 1918, март – Жизнь в Калькутте.

1917, март – Возвращение в Бирму.

1918, сентябрь – 1919, июнь – Ерошенко в Индии. Арест и высылка. Побег с корабля в Шанхае.

1919, 3 июля – Возвращение в Японию.

1921, 1 мая – Участие в первомайской демонстрации. Первый арест Ерошенко.

1921, 9 мая – Участие в работе II съезда Японской социалистической лиги. Второй арест Ерошенко.

1921, 28 мая – 4 июня – Третий арест и высылка Ерошенко из Японии.

1921, 6 июня – Прибытие во Владивосток.

1921, июнь – Поездка по Приморью.

1921, июль – октябрь – Жизнь в Харбине.

1521, 7 октября – 1922, 17 февраля – Работа в Институте языков мира (Шанхай).

1922, 24 февраля – Приезд Ерошенко в Пекин.

1922, февраль – 1923, 16 апреля – Преподавательская деятельность в Пекинском университете и Женском педагогическом институте.

1922, июль – ноябрь – Поездка в Финляндию.

1922, 4 ноября – Возвращение в Пекин.

1923, 16 апреля – Отъезд из Китая на родину.

1923, июль – август – Участие в XV Международном конгрессе эсперантистов в Нюрнберге.

1923, август – 1924, август – Путешествие по Европе. Ерошенко живет в Париже, Геттингене, Лейпциге.

1924, июль – август – Участие в XVI Международном конгрессе эсперантистов и в съезде слепых эсперантистов в Вене.

1924, 20 декабря – 1927, июнь – Работа в Коммунистическом университете трудящихся Востока (Москва).

1927, 15 сентября – 1932 – Работа в Центральном правлении Всероссийского общества слепых.

1929, июнь – 1930, лето – Путешествие на Чукотку.

1930 – 1931 – Преподавательская деятельность в Нижегородской профтехшколе слепых.

1932, 10 сентября – 1934 – Работа в типографии рельефного шрифта в Москве.

1935, 1 апреля – 1942, 19 июля – Ерошенко – директор первой в Туркмении школы слепых.

1942, июль – 1945, 1 июля – Преподаватель той же школы.

1946, 1 октября – 1948, 16 апреля – Работа в Московской школе слепых детей.

1949, 12 декабря – 1951, 7 июля – Работа в школе ликбеза слепых в Ташкенте.

1951 – 1952 – Последние поездки в Якутию, на Донбасс, в Карелию.

1952, август – Приезд в Обуховку. Работа над последней книгой.

1952, 23 декабря – Смерть В. Я. Ерошенко.